

Антуан Про

**Двенадцать
уроков
по
истории**

ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ

Издание осуществлено
при финансовой поддержке
министерства иностранных дел Франции
и Посольства Франции в Москве

*Ouvrage réalisé dans le cadre du programme d'aide
à la publication Pouchkine avec le soutien du Ministère
des Affaires Etrangères français et de l'Ambassade
de France à Moscou*

Перевод с французского Ю.В. Ткаченко
Художник Михаил Гуров

© Le Seuil, 1996
© Ткаченко Ю.В. — перевод, 2000
© Российский государственный
гуманитарный университет, 2000

Если верно утверждение, что история зависит от общественного и институционального положения того, кто ее пишет, что мы и собираемся здесь показать, то было бы странно обойти молчанием контекст, в котором появилась данная книга. Дело в том, что она родилась из курса лекций, и потому ее название — “Двенадцать уроков по истории” — имеет буквальный смысл.

В университете, где я работаю, как и во многих других университетах, подготовка студентов-историков непременно включает в себя курс историографии или эпистемологии, цель которого — разнообразными способами выработать у учащихся критический взгляд на то, что они делают, когда полагают,

что занимаются историей. Причем преподавание этого курса имеет вековую традицию: еще до Пьера Вилара и Жоржа Лефевра, прославивших себя в свое время на этом поприще, он был впервые прочитан в 1896–1897 гг. в Сорбонне такими известными историками, как Шарль-Виктор Ланглуа и Шарль Сеньобос, чьи лекции были опубликованы в 1897 г. под названием, которое прекрасно могло бы подойти и для нашей работы: “Введение в изучение истории”¹.

И все же эта традиция была и остается довольно хрупкой и уязвимой. До самого конца 1980-х гг. методологическое осмысление истории считалось во Франции бесполезным. Конечно, кое-кто из историков, например Ш.-О. Карбонель, Ф. Досс, Ф. Артог, О. Дюмулен и некоторые другие, проявляли интерес к истории истории, но при этом они оставляли осмысление проблем эпистемологии философам (Р. Арон, П. Рикёр). Показательно, что инициатива создания тех немногих обобщающих работ, которые можно найти сегодня на прилавках магазинов, исходила из-за рубежа. Так, “История и память” Ж. Ле Гоффа сначала вышла на итальянском языке, а учебник Э. Карра основывается на кембриджских чтениях памяти Джорджа Маколея Тревельяна, так же, как и до сих пор не утратившая своей ценности замечательная книжка А.-И. Марру — на лекциях, прочитанных в Лувенском университете (Бельгия) на кафедре имени кардинала Мерсье. Вожди “Анналов” — Ф. Бродель, Э. Ле Руа Ладюри, Ф. Фюре и П. Шоню — умножили число сборников статей и осуществили издание коллективных трудов, таких, как совместная работа Ж. Ле Гоффа и П. Нора, но только Марк Блок в своей незаконченной, к сожалению, “Апологии истории” сделал попытку объяснить, что же представляет собой ремесло историка.

И это не случайно, ибо здесь просматривается вполне сознательная позиция. Дело в том, что до сих пор французские историки уделяли мало внимания теоретическим вопросам. Так, Л. Февр считал “философствование” “тяжким преступлением”². “У историков, — отмечал он в своей вступительной лекции в Коллеж де Франс, — нет сильной потребности в фи-

лософии”. И в подтверждение своих слов он приводил “ехидные высказывания” Пегги:

Обычно историки занимаются историей, не слишком размышляя над пределами и условиями истории; и они, несомненно, правы: пусть лучше каждый занимается своим делом. В общем и целом историку лучше приступить к изучению истории без лишней волокиты: иначе он так никогда ничего и не сделает!¹

Речь в данном случае идет не только о разделении задач. Будь на то их воля, многие историки и вовсе отказались бы от систематического осмысления своей дисциплины. Ф. Арьес видит в подобном отказе от разработки философских проблем истории “невыносимое чванство”:

Она (философия истории. — Пер.) решительно игнорируется или отстраняется пожатием плеч как теоретическая болтовня некомпетентных любителей: таково невыносимое чванство специалиста, пребывающего внутри своей технической специальности и никогда не пытающегося взглянуть на нее со стороны!²

В заявлениях, подтверждающих обоснованность этого мнения, нет недостатка. П. Рикёр, который усердно поддерживал тесные отношения с французскими историками, но не считал нужным с ними особо церемониться, с некоторым злорадством приводит в этой связи высказывание П. Шоню:

Эпистемология — это поползновение, которое надо уметь решительно пресекать [...] В крайнем случае этому еще могли бы посвятить себя некоторые из лидеров научных школ (которыми мы ни в коем случае не являемся и на звание которых ни в коей мере не претендуем) для того, чтобы лучше предохранять неутомимых тружеников постоянно развивающегося познания (единственное звание, на которое мы претендуем) от опасных искушений этой разлагающей моральной дух Капуи³.

Дело в том, что французские историки охотно принимают позу скромного ремесленника. Для семейного альбома они по-

¹ Чтобы не отягощать понапрасну текст, мы не даем в сносках полные выходные данные работ, которые фигурируют в библиографическом указателе (см. с. 319 настоящего издания).

² [Доклад об “Апологии истории” Марка Блока в журнале *Revue de métaphysique et de morale*. [№] 57. 1949.] “Мы вовсе не собираемся обвинять ее автора в философствовании, что в устах историка означает — и тут мы несколько не ошибаемся — тяжкое преступление” (*Combats pour l'histoire*. P. 419–438).

¹ *Péguy Ch.* De la situation faite à l'histoire et à la sociologie dans les temps modernes (3^e cahier, 8^e série). См. лекцию Люсьена Февра: *Combats pour l'histoire*. P. 3–17.

² *Ariès Ph.* Le Temps de l'histoire. P. 216.

³ *Ricoeur P.* Temps et Récit. I. P. 171. Ср. имеющийся перевод: Рикёр П. Время и рассказ. М., 1999. Т. 1. С. 280. Капуя — город в Италии. В 215 г. до н. э. была занята армией Ганнибала. По преданию, соблазненная роскошью города, армия потеряла свою боеспособность. — *Примеч. пер.*

зируют в своей мастерской и предстают в виде мастерских людей, овладевших после долгого учения своим искусством. Они хвалят красивую работу и ценят сноровку больше, чем теории, которыми, по их мнению, слишком перегружены их коллеги социологи. Большинство из них не утруждают себя определением в начале книги используемых в дальнейшем понятий и интерпретационных схем, в то время как, например, их немецкие коллеги считали бы себя абсолютно обязанными это сделать. Тем более претенциозным и опасным они полагают обращение к систематическому осмыслению своей дисциплины: это означало бы замахнуться на роль главы школы, вождя, что несовместимо с их, пусть напускной, скромностью, а главное — сделало бы их объектом далеко не всегда благожелательной критики со стороны коллег, которые могли бы усмотреть в этом желание поучать. Таким образом, обращение к эпистемологии рассматривалось как покушение на равенство “мэтров” сообщества. Вовсе не заниматься этим означало избежать, с одной стороны, напрасной траты времени, с другой — нелицеприятной критики своего брата историка.

К счастью, эта позиция в настоящее время меняется. Обращение к вопросам методологии стало теперь более частым явлением — как на страницах таких старых журналов, как *Revue de synthèse*, так и более молодых — типа *Genèses*. По случаю своего шестидесятилетия журнал “Анналы” возобновил публикации на эту тему, сделав их отныне постоянными.

Правда и то, что изменилась историографическая конъюнктура. Комплекс полноценности, свойственный французским историкам, которые гордятся тем, что принадлежат так или иначе к той самой Школе “Анналов”, чьи выдающиеся заслуги чтят историки всего мира, стал не просто раздражающим — необоснованным. Французская историография раскололась, и ее бывшая уверенность в себе трещит под напором трех новых факторов. Так, стремление к обобщениям отныне кажется иллюзорным и обреченным на провал; наступило время микроистории, монографий, посвященных темам, перечень которых можно продолжать бесконечно. С другой стороны, научные претензии, объединявшие, несмотря на их разногласия, Сеньобоса и Симиана, колеблются под ударами субъективизма, сближающего историю с литературой; вселенная представлений все больше дисквалифицирует вселенную фактов. Наконец, попытка унификации, предпринятая Броделем и поборниками тотальной истории, в рамках которой обобщались достижения всех других социальных наук, обернулась кризисом доверия: в результате заимствования из экономики, социологии, этнологии, лингвистики их вопросов, их понятий и их методов история переживает сегодня кризис идентичности, требующий серьезного осмысления. Короче говоря, прав Ф. Досс,

сделав из этой ситуации название для своей книги: сегодня история “раскрошилась”.

В этом новом контексте книга размышлений об истории не имеет ничего общего с манифестом школы. Это не заявление какой-либо теоретической позиции, призванной отстоять одни формы истории и развенчать другие, а скорее попытка внести вклад в общее осмысление проблемы, к которому приглашаются все историки. Ни один историк сегодня не может освободить себя от необходимости сопоставить свои представления о собственной деятельности с тем, что он фактически делает.

А посему мы не скрываем, что это осмысление приняло в данной книге форму учебного курса, предназначенного для студентов первых лет обучения. Я читал его неоднократно и с удовольствием, и у меня сложилось впечатление, что он отвечает ожиданиям и потребностям студентов. И поэтому я решил придать ему законченный вид, снабдить примечаниями, т. е. уточнить и отточить его, не теряя при этом из виду ту конкретную аудиторию, которой данный курс предназначался. Решение это предполагало некоторые ограничения: ведь читатель вправе ожидать вполне определенной и точной информации по тем вопросам, которые искушенным историкам и без того хорошо известны, например — историческая критика по Ланглуа и Сеньобосу или три времени истории по Броделю. К тому же письменное изложение такого курса должно быть ясным и понятным, что требует отказаться от некоторой кокетливости стиля и уж, конечно, от любых намеков.

Естественно, как всякий преподаватель, я построил свои лекции на размышлениях других. Мне доставило истинное наслаждение чтение Лакомба, Сеньобоса, Симиана, Блока, Февра, Марру или, из иностранцев, Коллингвуда, Козеллека, Хейдена Уайта, Вебера — всех не перечислишь. Желая разделить это удовольствие с читателем, я даю длинные выдержки из работ этих авторов и включаю их в собственный текст, ибо мне показалось бессмысленным пересказывать своими словами то, что уже сказано: одними — с блеском, другими — с юмором, всеми — со знанием дела. Отсюда и эти “рамки”, через которые я не советую читателю перешагивать, для того чтобы скорее добраться до заключения: нередко они представляют собой неотъемлемые этапы рассуждения.

Как видим, настоящая книга не является ни победоносным манифестом, ни блестящим очерком: это скромное размышление, которое желало бы быть полезным, что само по себе уже есть амбиция, в масштабах которой я отдаю себе отчет. Но это также один из возможных способов предстать в столь ценной французскими историками позе — позе мастерового, объясняющего ученикам премудрости своего ремесла...

История во французском обществе XIX–XX вв.

История — это то, что делают историки.

Дисциплина, называемая историей, не является некоей вечной сущностью, платоновской идеей. Она тоже реальность историческая, т. е. реальность, помещенная в пространство и время, представленная людьми, которые называют себя историками и таковыми признаются, и воспринимаемая как история самой разнообразной публикой. Нет Истории *sub specie aeternitatis*¹, чьи письма оставались бы неизменными, проходя сквозь горнило времени, но есть разнообразная продукция, которую люди, живущие в данную эпоху, договариваются счи-

¹ Подобной вечности (лат.).

тать историей. Это значит, что, прежде чем быть научной дисциплиной, каковой она себя считает и каковой она до определенной степени действительно является, история есть социальная практика.

Это утверждение может успокоить историка, который взялся бы размышлять о своей дисциплине: оно отсылает его к тому, что он обычно и делает — к изучению некоей профессиональной группы, ее занятий и ее эволюции. Есть историки, которые считают себя продолжателями традиций, образуют школы, признают неотъемлемые правила своего общего ремесла, соблюдают нормы профессиональной этики и практикуют обряды приема в свои ряды новых членов и исключения из своего состава. Люди, называющие себя историками и действительно объединенные сознанием принадлежности к этому сообществу, занимаются историей ради публики, которая слушает их или читает их труды, критикует или одобряет. Без сомнения, ими движет также интеллектуальное любопытство, любовь к истине, культ науки, но их общественное признание, как и их доходы зависят от общества, которое присваивает им определенный статус и обеспечивает вознаграждение за труд. Историк как таковой может состояться лишь при условии признания и со стороны публики, и со стороны себе подобных.

Вот почему историографический дискурс историков сам относится к истории, в которой социальное и культурное неразделимы. То, что историки такой-то эпохи или такой-то школы говорят о своей дисциплине, требует двойного анализа — первичный должен быть направлен на выявление концепции истории, заключенной в их текстах; более глубокий анализ, с привлечением контекста, позволит расшифровать их методологический дискурс и вскрыть вытекающие из него последствия. Так, например, знаменитое «Введение в исторические исследования» Ланглуа и Сеньобоса в первую очередь представляет собой дискурс о методе, и то, как в нем анализируются разнообразные формы исторической критики, уже само по себе интересно. Но в этой работе есть и второй уровень, дающий представление об интеллектуальном и даже политическом контексте эпохи (а он определялся экспериментальными науками, связанными с именем Клода Бернара), контексте, в котором появление социологии Дюркгейма создало, по существу, угрозу научным претензиям истории.

Таким образом, историки, пишущие об истории — и эту судьбу разделяют они все, — обречены определять свое место как по отношению к своим собственным предшественникам и современникам, так и по отношению к соседним научным корпорациям, с которыми история постоянно и неизбежно соревнуется за господство на научном и социальном поле. Более

того, они должны учитывать общество в целом и те его сегменты, к которым обращаются и для которых создаваемая ими история имеет смысл или не имеет смысла. Потому что история — это прежде всего социальная практика, а уж потом научная, или, точнее, потому, что ее научные цели являются в то же время способом выражения своего мнения и своего смысла в данном обществе, а эпистемология истории сама отчасти является историей. Эту ситуацию превосходно иллюстрирует пример Франции.

История во Франции: особое положение

История занимает в культурном и социальном универсуме французов поистине выдающееся место. Нигде в мире она не присутствует столь имманентно в речах политиков и комментариях журналистов, и нигде в мире она не пользуется таким почетом и уважением. История рассматривается как обязательная точка отсчета и необходимый горизонт всякого мышления. О ней говорят, что она является “французской страстью”¹; кто знает, может быть, даже ее можно считать национальной болезнью.

Посмотрим на витрины французских книжных магазинов. Исторических серий, предназначенных для широкого читателя, там гораздо больше, и они гораздо внушительнее, чем в других странах. История интересует не только университетские или специализированные издательства, но и крупные издательства широкого профиля. Все они издают по одной или по нескольку исторических серий: и *Hachette*, и *Gallimard*, и *Fayard*, и *Le Seuil*, и *Plon*, не говоря уже о *Flammarion*, *Aubier-Montaigne* и др. Некоторые из этих серий, например биографии, вышедшие в издательстве *Fayard*, имели настоящий успех, а такие работы, как “Монтайю, окситанская деревня” Э. Ле Руа Ладюри, были изданы тиражами, превышающими 200 000 экземпляров². Кроме того, историческая продукция хорошо раскупается в привокзальных киосках — речь идет об изданиях типа *Le Miroir de l'histoire*, *Historia* (в 1980 г. было продано 155 000 экз.), *Historama* (195 000 экз.), *L'Histoire* и т. д. Выходя общим тиражом 600 000 экз. против 30 000 для подобных изданий в Соединенном Королевстве, научно-попу-

¹ Joutard Ph. Une passion française: l'histoire. Автор, анализирующий всю имеющуюся историческую продукцию, относит формирование национальной памяти к XVI в. Наше же исследование, отводящее первостепенную роль образованию, напротив, в институализации этой памяти особо выделяет Французскую революцию и XIX в.

² По данным издателя, тираж этой книги в январе 1989 г. достиг 188 540 экз. На тот момент “Время соборов” Жоржа Дюби вышло тиражом 75 000 экз. См.: Carrard Ph. Poetics of the New History. P. 136.

лярные издания по истории, тематика которых не ограничивается одной лишь “малой” историей, пользуются большим спросом у публики, а Ален Деко, с 1969 г. “рассказывающий” историю по телевидению, имел такой колоссальный успех, что через десять лет смог стать членом Французской академии. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в ходе опроса, проведенного в 1983 г., 52% французов ответили, что они “интересуются”, а 15% — что они “увлекаются” историей¹.

Однако этот аргумент об успехе истории у публики нельзя считать решающим. То, что у истории больше читателей и сочувствующих, чем у социологии или психологии, устанавливает между этими дисциплинами количественное, а не существенное различие. Все это никак не доказывает того, что история имеет специфический статус, особое место на французском культурном поле. Но ведь в том-то и дело, что в нашей стране история играет совершенно особую, можно сказать, решающую роль.

Для иллюстрации этого утверждения я обращусь к одному высказыванию, на первый взгляд самоочевидному. Высказывание это вполне авторитетное, так как принадлежит высочайшему государственному лицу. В 1982 г. на одном из заседаний Совета министров, где встал вопрос о преподавании истории, президент Миттеран заявил, вызвав единодушную одобрительную реакцию присутствовавших: “Народ, не занимающийся изучением своей истории, — это народ, который утрачивает свою идентичность”.

Самое интересное в этом утверждении не то, что оно ложно, хотя это действительно так — достаточно бросить простой взгляд за пределы французского шестигранника: многие страны, начиная с Соединенных Штатов и Великобритании, демонстрируют очень сильное чувство национальной идентичности, в то время как преподавание истории занимает там третьестепенное место или даже вовсе отсутствует. В Соединенных Штатах, например, в начальной и средней школе место истории, как правило, ограничивается одним-единственным курсом, изучаемым в течение одного года. Таким образом, формирование национального самосознания может происходить и другими путями, а не только путем изучения истории. И наоборот, изучение истории не ведет автоматически к развитию желанного самосознания: достижение Алжиром независимости было делом рук людей, которые в детстве

¹ Опрос общественного мнения, проведенный журналом “Экспресс”, см.: Joutard P. Une passion française: l'histoire. P. 511.

изучали историю Франции, повторяя: “Наши предки галлы...”, и т. п. Иными словами, утверждение президента республики ошибочно именно в своей всеобщности.

Тем не менее оно весьма показательно, причем в двух отношениях. Во-первых, не нашлось ни одного, даже всеми уважаемого, человека, который указал бы президенту на его ошибку. Дело в том, что он высказал не свое личное мнение: это была широко распространенная точка зрения, так сказать, общее место. Французы действительно единодушно полагают, что их идентичность и чуть ли не само их существование как нации пролегают через преподавание истории: “Общество, которое незаметно убирает историю из школ, это общество-самоубийца”¹. Не больше и не меньше...

Мы не собираемся здесь оспаривать это убеждение: тот факт, что национальное самосознание в других странах формируется другими путями, не исключает того, что во Франции оно действительно укоренено в исторической культуре. Важно то, что единодушие — обоснованное или нет — французов в отношении идеологической функции истории как носительницы национального самосознания возлагает на историков, помимо всего прочего, важную и почетную миссию. Их общественный статус в связи с этим заметно повышается, каковы бы ни были издержки этого возросшего престижа.

Во-вторых, никто не удивился, что глава государства счел возможным высказать свое мнение об изучении истории. В глазах французов эти вопросы бесспорно входят в компетенцию президента. Франция — единственная в мире страна, где изучение истории считается государственным делом, выносимым в качестве такового на заседание Совета министров². Она также единственная страна, где премьер-министр не считает для себя тратой времени прийти в своем официальном качестве на конференцию по проблемам преподавания истории, чтобы произнести вступительную речь³. Если бы президенту США или британскому премьеру случилось сделать то же самое, журналисты удивились бы этому точно так же, как если бы те решились высказаться по поводу счета в футбольном матче. Во Франции же, наоборот, то обстоятельство, что преподаванию истории приписывается функция формирования национального самосознания, делает его важнейшей политической задачей.

¹ Цитата из передовой статьи журнала “L'Histoire” за январь 1980 г. Цит. по: *Historiens et Géographes*. 1980. № 277, févr.-mars. P. 375.

² Например, 31 августа 1982 г.

³ Мы намекаем здесь на речь Пьера Моруа во время Национальной конференции по истории и ее преподаванию в Монпелье в январе 1984 г. (*Colloque national sur l'histoire et son enseignement*. Ministère de l'Éducation nationale. Montpellier, 1984. P. 5–13).

Таким образом, нетрудно заметить, что особое место истории во французской культурной традиции тесно связано с ее местом в образовании. В самом деле, вряд ли есть в мире другая страна, где история составляла бы обязательный предмет во всех классах общеобразовательной школы¹. История преподавания истории во Франции позволит нам понять ту специфическую функцию, которую она выполняет в нашем обществе, и то место, которое она занимает в нашей культурной традиции².

С этой точки зрения очевидна разница, существующая между двумя образовательными ступенями — средней и начальной. Если в средней школе история становится обязательной с 1818 г., то в начальной — фактически с 1880 г. Это означает, что в XIX в. история не затрагивала народную школу. Она была делом высших слоев общества.

¹ Как правило, [в других странах] история является обязательным предметом только в некоторых классах средней школы, причем чаще в младших, чем в старших.

² В наши намерения не входит излагать историю истории в средней и начальной школе ради нее самой. Эта тема применительно к средней школе рассматривается Полем Жербо в его не потерявшей своей актуальности статье в журнале *L'Information historique* за 1965 г., а применительно к начальной школе — Жаном-Нозлем Люком в его статье в журнале *Historiens et Géographes*. № 306, sept.-octobre. 1985, с. 149–207, а также Брижит Дансель в ее диссертации.

Общественное применение истории в XIX в.

История в средней школе

Раннее введение истории в программу средней школы тем более примечательно, что при этом не делалось существенных различий не только между средней и начальной, но и между средней и высшей школой. История уже изучалась в лицеях и коллежах задолго до того, как ее стали изучать в университетах. На первый взгляд — поразительное несоответствие, но оно объясняется центральным местом среднего образования во французском обществе. Причем филологические факультеты вплоть до 1880-х гг. не были исключением в этом смысле, между тем их главная функция состояла в выдаче диплома бакалавра¹. Если там и читались курсы по истории, то они были рассчитаны на самую широкую публику, в них преобладала риторика, и читались они одним-единственным преподавателем, который одновременно вел и всеобщую историю, и всемирную географию. Лишь после поражения во франко-прусской войне (1870 г.) и прихода к власти республиканцев в университетах начинает складываться действительно научное преподавание истории с привлечением преподавателей, имеющих относительную специализацию, т. е. историков, которых в определенном смысле уже можно было назвать “профессиональными”².

Средняя же школа, наоборот, играла главную роль в образовании общественной элиты, и история проникла туда очень рано. Робко появившись в центральных школах в годы Революции 1789–1793 гг. и будучи формально включенной в программы лицеев при Наполеоне, она по-настоящему закрепляется в программах средней школы к 1814 г., а в 1818 г. становится обязательной дисциплиной, изучаемой с пятого по первый класс (нумерация классов обратная. — *Пер.*) из рас-

чета два часа в неделю. В дальнейшем преподавание истории претерпело немало трудностей, но исчезнуть совсем уже не могло. Все, кто пользовался в XIX в. влиянием во Франции, в том числе и те из них, кто ограничился лишь обучением в нескольких первых классах средней школы, не дойдя до бакалаврского экзамена, так или иначе изучали историю. По крайней мере, в принципе, ибо между программами и реальным обучением часто существует большой разрыв, а официально отводимое истории место вовсе не обязательно совпадает с тем, которое она фактически занимает в учебе лицеистов. Поэтому в каждом случае надо разбираться особо.

Второй важный для нас момент — в данной связи ясно вырисовывается следующая тенденция: преподавание истории постепенно освобождается от опеки классической филологии, стремясь завоевать автономию и довести хронологические рамки своего предмета до современности, а на смену заучиванию дат и перечислению правлений все больше приходит желание понять политические и социальные системы. Эта двойная эволюция содержания и методов явилась в значительной мере результатом постепенной специализации преподавателей истории. В 1818 г. устанавливается принцип, согласно которому историю ведет отдельный преподаватель. Этот принцип был подтвержден в 1830 г. учреждением профессионального конкурса “агрегация”¹ по истории, позволившего обучить и отобрать небольшое ядро квалифицированных историков. Отмена этого конкурса между 1853 и 1860 гг., в период Империи с ее авторитаризмом, была слишком кратковременной, чтобы свести на нет создание корпуса преподавателей истории.

Было крайне важно, чтобы история в средней школе преподавалась именно специалистами-историками. Пока этим занимались преподаватели литературы, она либо превращалась во вспомогательный метод изучения греческих и римских классиков — отсюда то значительное место, которое занимала в их курсах история античности, — либо представляла как сопутствующий и подчиненный предмет, опирающийся в своем изучении на обзорные учебники, такие, как “Основы хронологии” или Краткие курсы всеобщей истории и истории Франции.

Привлечение преподавателей-специалистов означало радикальное изменение системы исторического образования. История больше не находилась в услужении у классических текстов. Как раз наоборот, последние стали источниками на службе у истории — у такой истории, которая уже не доволь-

¹ Экзамен на степень бакалавра — квалификационный экзамен за курс средней школы, дающий право на зачисление в университет. — *Примеч. пер.*

² Об этом см. работы Ш.-О. Карбонеля и У.Р. Кейлора.

¹ Агрегация (фр. — *agrégation*) — профессиональный конкурс-экзамен на должность штатного преподавателя лицея или университета. — *Примеч. пер.*

ствуется установлением хронологии фактов, документов и монархов, но стремится понять исторические общности. В качестве показательного примера описываемого поворота приведем вопросы по истории Древнего мира, включенные в программу агрегации в 1849 г.:

- изменения в афинском обществе и конституции в период после окончания греко-персидских войн до эпохи Александра Македонского (на основе сравнительного изучения произведений античных авторов);

- история сословия римских всадников от Гракхов до смерти Августа;

- моральное и политическое состояние Галлии на момент первых нашествий германцев (по работам современных авторов)¹.

Между тем успешно выдержавшие агрегацию, независимо от того, готовились они к ней самостоятельно или в Эколь Нормаль (Высшей нормальной школе), отныне задают тон, несмотря на свою малочисленность — всего четыре-шесть человек ежегодно, 33 человека в 1842 г. Они преподают в крупнейших лицеях, а написанные ими учебники, такие, как серия, выпущенная накануне 1848 г. одним из выпускников Эколь Нормаль Виктором Дюрюи, содействуют утверждению более широкой концепции истории.

Те же процессы способствуют упрочению места современной истории в учебных программах. По правде говоря, она никогда из них и не исключалась. Список вопросов, которые в соответствии с программой 1840 г. разрешалось задавать на бакалаврском экзамене — причем экзаменаторы не имели права изменять их формулировку, — включал, например, 50 вопросов по древней истории, 22 — по истории Средних веков и 23 — по новой истории вплоть до 1789 г. В 1852 г. символическая граница Великой французской революции была преодолена, и античность потеряла свое привилегированное положение: теперь на нее приходилось лишь 22 вопроса против 15 по средневековой истории и 25 — по новой истории до Первой империи.

Но благодаря Виктору Дюрюи, занимавшему пост министра народного просвещения с 1863 по 1869 г., удельный вес последних веков истории резко возрастает. В 1863 г. программа первого класса лицея охватывает период с середины XVII в. до 1815 г., а программа последнего, выпускного класса² предпо-

¹ См.: Gerbod P. La place de l'histoire dans l'enseignement secondaire de 1802 à 1880. P. 127.

² Программа лицея (2-го цикла средней школы) рассчитана на 3 года, соответственно второй класс (15–16 лет), первый класс (16–17 лет) и выпускной

лагает более подробное изучение революции 1789–1793 гг. и доходит до 1863 г., создавая при этом неограниченную перспективу для изучения истории зарубежных стран и той истории, которую мы назвали бы социально-экономической.

Несколько вопросов из программы Виктора Дюрюи:

24. — Быстрый подъем американских колоний и его причины. — Открытие золотых месторождений в Калифорнии и в Австралии: последствия избытка золота на европейском рынке. — Война между Севером и Югом. — Положение бывших испанских колоний. — Экспедиция в Мексику. — Взятие Пуэблы и оккупация Мехико. [...]

26. — Новые черты современного общества:

1. Тесные связи, установившиеся между народами благодаря изобретению железных дорог и пароходов, проволочный телеграф, банки и новый режим торговли. [...]

2. Забота правительств о материальных и моральных интересах широких слоев населения.

3. Благодаря равноправию и свободе промышленной экспансии растет производство и улучшается распределение богатств [...]. — Величие и опасности современной цивилизации, необходимость всемерного развития моральных ценностей для приведения их в соответствие с небывалым развитием материальных интересов. — Вклад Франции в строительство современной цивилизации.

Piobetta J.-P. Le Baccalauréat, p. 834–835.

Несмотря на неоднократный пересмотр такая структура программы по истории просуществовала до 1902 г. Для нее было характерно последовательное изучение различных исторических эпох. Так, в программе 1880 г. с шестого по четвертый класс на историю отводилось два часа в неделю, а во всех последующих классах — по три часа в неделю. При этом ее изучение, начинаясь с истории Древнего мира в шестом классе, доходило до 1875 г. — в выпускном.

В довершение описанных процессов в последние десятилетия прошлого века республиканцами создается настоящее высшее гуманитарное образование. Агрегация стала естественным способом отбора преподавателей-специалистов, которых теперь готовили профессиональные историки на филологических факультетах. Она включала в себя первичные навыки ис-

класс *Terminale* (17–18 лет). В свою очередь, коллеж, или 1-й цикл средней школы, охватывает классы с шестого по третий (с 11–12 до 14–15 лет). — Примеч. пер.

следовательской работы и предполагала обязательное наличие диплома о высшем образовании (1894) — предшественника современного диплома *maîtrise*¹. Реформа 1902 г. завершила формирование характерных особенностей этого образования, разделив его на два цикла, в каждом из которых изучались все без исключения периоды истории, от первобытности до наших дней².

Третий существенный момент: эта эволюция в сторону более автономной, более современной и более синтетической истории не могла не сопровождаться конфликтами. То была не линейная эволюция, а чередование достижений и отступлений, связанных с политическим контекстом. Так, введение истории в качестве обязательного школьного предмета, осуществленное между 1814 и 1820 гг., было делом рук “конституционного” духовенства (сторонников Конституции гражданского духовенства 1790 г. — *Пер.*), вдохновляемого такими идеологами, как Ройе-Коллар. Период Июльской монархии ознаменовался учреждением и упрочением агрегации и ростом специализированных кафедр. Либеральная империя, а затем Третья республика подтвердили значение истории в учебных программах. И наоборот, такие периоды, как 1820–1828 гг., когда власть перешла в руки ультрароялистов, или годы авторитарной Империи, были для истории временем тяжелых испытаний.

Дело в том, что преподавание этого предмета не является политически нейтральным. Конечно, можно без устали повторять, что оно должно избегать далеко идущих обобщений и резких суждений; можно ссылаться на то, что оно помогает воспитать любовь к религии и верховной власти. Однако что бы ни говорилось, факт остается фактом: история, по определению, учит тому, что режимы и институты сменяются. История есть деятельность по десакрализации политики. Поэтому реакционные режимы еще могут допустить существование истории, сведенной к хронологии и занимающейся историей церкви и отдаленного прошлого. Но стоит ей обратиться к Новому времени, хотя бы и не переступая порога 1789 г., как ее начинают подозревать в сговоре с вольнодумством.

В противовес реакционерам сторонники преподавания истории сознательно принимают присущую ей политическую функцию, как мы видели выше на примере программы В. Дю-

рюи. Республиканцы же заявляют об этом еще четче: “История Франции, в частности, должна выявлять пути развития тех общественных институтов, из которых вышло современное общество; она должна воспитывать уважение и приверженность принципам, на которых основано это общество”¹. Место, занимаемое историей в системе среднего образования, отчетливо свидетельствует о выполнении ею определенной социально-политической функции: это — пропедевтика современного общества, каким оно оформилось в катаклизмах Революции, Консульства и Империи.

Историки и общественная жизнь

Таким образом, в лицеях и коллежах XIX в. история довольно рано становится обязательным предметом, преподавание которого благодаря предметной специализации преподавателей все больше тяготеет к современности и обобщениям. Подобные изменения сопровождаются конфликтами, сообщающими этому предмету политическую и социальную значимость. Но эти характерные черты исторического образования нельзя называть причинами, отвечая на вопросы: почему историческое образование стало обязательным? почему оно получило такое значение?

Ответ на эти вопросы не следует искать и в самом образовании, ибо педагогические заслуги, которые могли бы оправдать его, отсутствуют. То, в каком искаженном виде преподавалась история в начале XIX в., скорее могло бы скомпрометировать ее — ведь в списках дат или правлений как таковых не заключено никакого образовательного момента. Легитимность и необходимость истории проистекают совсем из другого. Они объясняются теми же причинами, что и значительное место историков в общественной жизни того времени.

В этом есть некий парадокс. Ведь на протяжении большей части XIX в. высшего исторического образования практически не существовало. Тем не менее именно в этот период можно было наблюдать, как историки становятся любимцами публики, участвуют в дебатах и завоевывают известность. Дело в том, что в Париже, в таких крупных учреждениях, как Коллеж де Франс, Эколь Нормаль и Сорбонна, существовало несколько кафедр истории, сильно отличавшихся в этом плане от фи-

¹ *Maîtrise* примерно соответствует нашему диплому о законченном высшем образовании. — *Примеч. пер.*

² См.: Dubief H. Les cadres réglementaires dans l'enseignement secondaire // Colloque Cent Ans d'enseignement de l'histoire. P. 9–18. Циклическая структура была временно отменена между 1935 и 1938 гг. Для систематического сравнения программ см.: Leduc J., Marcos-Alvarez V., Le Pellec J. Construire l'histoire.

¹ Постановление от 12 августа 1880 г.; см.: Gerbod P. La place de l'histoire dans l'enseignement secondaire de 1802 à 1880. P. 130.

логических факультетов провинциальных университетов. Профессора этих кафедр обращались не к студентам, а к просвещенной публике, которая в большом количестве стекалась на их лекции, ибо в то время проведение общественных собраний зависело от разрешения властей, а пресса находилась под строгим надзором. В таких условиях лекции по истории неизбежно приобретали политическое звучание, что порой подчеркивалось аплодисментами. Случалось, что правительство было недовольно и запрещало лекции, как это произошло с Гизо в 1822 г. Возобновление его лекций в 1828 г. приветствовалось как политическая победа.

Плеяда историков того времени поистине впечатляет. Наряду с Гизо, Мишле, Кине, а позже Ренаном и Тэнном необходимо назвать таких авторов, как Огюстен Тьерри, Тьер, Токвиль. Они занимают центральное место в интеллектуальных дебатах своего времени. История, которую они пишут, еще не является научной историей профессиональных историков конца века. Она основана больше на хрониках и компиляциях, чем на настоящей работе ученого-эрудита, и даже Мишле, полагавший, что его труды стали результатом прилежного изучения архивов, вряд ли почерпнул из них что-нибудь, кроме иллюстраций. С другой стороны, это очень литературная история, написанная в ораторском стиле, что легко объясняется теми условиями, в которых она развивалась. Профессора-республиканцы 1870–1880 гг., переживавшие по поводу отставания Франции на фоне немецкой “эрудиции”, упрекали своих предшественников в том, что они были не столько учеными, сколько художниками. Однако художественные достоинства произведений этих историков делают их читаемыми и по сей день. Тем более что их история отнюдь не страдает отсутствием размаха: тогдашняя публика не стала бы терпеть, если бы они разбрасывались на малозначительные детали. Этих авторов интересуют широкие хронологические полотна, охватывающие несколько веков в рамках нескольких уроков. Это позволяет им показать важнейшие общественные процессы. В то же время их история не является в строгом смысле политической. Они редко вдаются в подробности событий, предпочитая акцентировать внимание на их глобальном значении и последствиях. Их объект шире: это история французского народа, цивилизации (Гизо), Франции (Мишле). Они объясняют трансформации общественных институтов в свете социальных изменений. Короче говоря, это и социальная и политическая история одновременно.

В сущности, эти исторические произведения, порой похожие на философские трактаты или на то, что мы сегодня называем политологическими исследованиями, как, например,

работа Токвиля, вращаются вокруг одного центрального вопроса — вопроса, который ставит перед обществом XIX в. Французская революция¹. Отсюда и то недоверие, которым реакционеры окружают историю: ведь она с самого начала приналя Революцию и рассматривала ее как закономерный, объяснимый факт, а не как заблуждение, ошибку или кару божью. Раз историки — консерваторы или республиканцы — ищут ее причины и последствия, значит, они исходят из того, что Революция имела место.

Между тем главный вопрос, довлевший над французским обществом XIX в., был политическим вопросом, поставленным Революцией; он сводился к конфликту между Старым порядком и тем, что тогда называли “современным” или “гражданским” обществом, т. е. обществом без короля и без бога. Это не был вопрос обнищания, как в Соединенном Королевстве. Здесь, во Франции, рабочие выступления ставили на повестку дня не столько проблему экономического развития, сколько проблему политического режима, и рассматривались как новые проявления Революции. Но в этом политическом конфликте был заключен и подлинно социальный смысл: фактически речь шла о тех принципах, на которых надлежит строить общество в целом. Таким образом, история во французском обществе занимает то место, которое в британском обществе принадлежало экономике. По другую сторону Ла-Манша масштабы безработицы и нищеты вызвали к жизни подъем экономической мысли: интеллектуальная жизнь находилась под влиянием таких имен, как Адам Смит, Рикардо, Мальтус. Во Франции же Гизо, Тьер, О. Тьерри, Токвиль, Мишле оказались на интеллектуальной авансцене именно потому, что обратились к важнейшему вопросу о Революции и истоках современного общества.

Они объясняли французам, в чем состоят их разногласия, сообщая им смысл и тем самым позволяя обществу осознать и изживать их преимущественно не жестоким путем гражданской войны, а политическим и цивилизованным путем общественных дебатов. Посредничество истории помогло в результате сложной рефлексии усвоить, интегрировать то важнейшее событие, каким явилась Революция, и переосмыслить, исходя из этого, прошлое страны². Французское общество было представлено историей самому себе, через историю оно себя поняло и осмыслило. И в этом смысле глубоко верно то, что национальное самосознание французов зиждется на истории.

¹ Об этом см. приводимые в списке литературы работы Франсуа Фюре о восприятии Революции историками и политическими деятелями XIX в.

² См.: Joutard P. Une passion française: l'histoire. P. 543–546.

То, каким своеобразным способом французская историческая школа после 1870 г. переняла модель немецкой эрудиции, еще раз подтверждает сказанное. Сеньобос, например, высоко оценивая критическую эрудицию немцев, упрекал их в забвении “исторического сочинения”, в отсутствии обобщений и литературного построения. На первый взгляд, странный упрек со стороны историка, ставившего в вину Гизо, Тьеру и Мишле то, что они занимались литературным творчеством, но в нем выражена фундаментальная приверженность к социальной функции истории в том виде, в каком она утвердилась во Франции. История, говорит Сеньобос, “пишется не для того, чтобы рассказывать, и не для того, чтобы доказывать; она пишется для того, чтобы отвечать на вопросы о прошлом, которые напрашиваются при виде общества в его настоящем”¹. В той же статье он выражает мнение, что задачей истории является описание институтов и объяснение их эволюции в рамках контовской концепции чередования периодов стабильности и революций. Но это практически то же самое: ведь под институтом он понимал “любые обычаи, которые удерживают человека в составе общества”². Следовательно, центральной проблемой так или иначе является проблема общественной связи, которую должны обеспечивать различные институты, что, несомненно, указывает на хрупкость французского общества или, лучше сказать, на ощущение этой хрупкости современниками под впечатлением череды революций, которыми ознаменовался XIX век. Поэтому-то, кстати, в памяти, устроенной таким образом, нет места для параллельных видов памяти — идеологической, социальной или региональной³.

Итак, Сеньобос, бывший вместе с Лависсом одним из организаторов исторических исследований в университетах в конце века, ставит технические возможности немецкой эрудиции на службу концепции истории, унаследованной от первой половины XIX в., что позволяет истории продолжать выполнять свою социальную функцию и в то же время претендовать на статус современной и научной дисциплины.

В начале XX в. программы средней школы, за которыми стояли те же Лависс и Сеньобос, стали подтверждением такой направленности, начало которой было положено еще Дюрюи. Сеньобос говорил по этому поводу: “Историческое образование является частью общей культуры, потому что оно позво-

¹ L'enseignement de l'histoire dans les facultés. III. Méthodes d'exposition // Revue internationale de l'enseignement. 1884. 15 juillet. P. 35–60.

² Ibid. P. 37.

³ Как это отмечал тот же Ф. Жутар.

ляет учащемуся понять общество, где он будет жить, и делает его способным принимать участие в общественной жизни”¹. История служит здесь пропедевтикой социального, его разнообразия, его сложной структуры и эволюции. Она учит школьников тому, что изменения нормальны и их не нужно страшиться; она также показывает им, как граждане могут содействовать этим изменениям. Иначе говоря, в перспективе, связываемой с развитием по пути прогресса и реформ, позволяющим обществу балансировать между революцией и застоєм, из истории предполагалось сделать “инструмент политического воспитания”.

¹ L'enseignement de l'histoire comme instrument d'éducation politique. P. 103–104.

XX век: расколотая история

Начальное образование: другая история

Пока в политическом диспуте участвовали лишь избранные, история затрагивала исключительно образованную элиту и преподавалась только в средней школе. Но с ростом демократии политика становилась делом каждого, в результате чего встал вопрос об изучении истории в начальной школе.

Об этом красноречиво свидетельствуют даты. История становится в принципе обязательным предметом в начальной школе в 1867 г., когда происходит либерализация Империи. Но практически она утверждается в школе лишь после победы республиканцев: в 1880 г. вводится устный экзамен по истории, а в 1882 г. за ней окончательно закрепляется место в учебном расписании (два часа в неделю) и программах начальной школы. Одновременно разрабатывается методика преподавания истории младшим школьникам, с ее каноническими приемами и соответствующими пособиями, а с 1890 г. — и обязательным учебником. Своего апогея изучение истории в начальной школе достигает после Первой мировой войны, когда в 1917 г. принимается постановление о включении в аттестат о начальном образовании оценки за письменный экзамен по истории или по естественным наукам (на основе жеребьевки).

По сравнению с программой средней школы здесь хронологическое расхождение очевидно. Это расхождение еще больше усиливается фундаментальной разницей в духе и методах преподавания. В то время как существует полная преемственность между историей, изучаемой в средней школе, и историей, которую пишут профессиональные историки-республиканцы, в начальной школе все обстоит совершенно иначе. История там отличается и от лицейской, и от университетской.

Прежде всего она обращена к детям: нужно выражать свои мысли просто, чтобы тебя поняли, и не вдаваться в подробности. Но дело не только в педагогических трудностях. Республиканцы рассчитывают на историю в воспитании чувства пат-

риотизма и приверженности институтам власти. Ее целью не является одно лишь усвоение конкретных знаний — она должна также заставлять детей испытывать определенные чувства. “Любовь к родине не заучивается на память, она заучивается памятью и сердцем”, — говорил Лависс. И еще: “Не будем учить историю с тем же спокойствием, с каким мы учим причастия. Ведь здесь речь идет о плоти от нашей плоти и о крови от нашей крови”¹.

Данная задача предполагает обращение к образу, рассказу, легенде. Ничто не иллюстрирует лучше стремление республиканцев сформировать единое патриотически-республиканское самосознание, чем их усилия, направленные на то, чтобы история начиналась с детского сада². Они предполагали, что детям уже в пятилетнем возрасте будут рассказываться “анекдоты, истории, биографии, взятые из отечественной истории”. Имелось в виду создание некоего легендарного корпуса, где все время фигурировали бы одни и те же лица — от Верценгеторикса до Жанны д’Арк. Воспитатели, понимавшие чрезмерность этой затеи, не осмеливались выступать с критикой педагогических новшеств, на которых так настаивали политики. Лишь в начале XX в. изучение отечественной истории и географии в детском саду было отменено.

Достигло ли преподавание истории той цели, которую ставили ему республиканцы? Трудно сказать. Из диссертации Б. Дансель мы знаем, чем обеспечивалось это образование. Решающее место в нем занимала память, несмотря на все пожелания официальных педагогов. “Памяти доверять следует только то, что полностью постигнуто умом”, — напутствовал один из них (Компейре). Фактически урок по истории строился вокруг ключевых слов, написанных на доске и комментируемых учителем, после чего задавался ряд вопросов, из ответов на них составлялось резюме, которое, в свою очередь, надо было выучить и пересказать на следующем уроке. В программах не отводилось какое-то особое место Французской революции и истории XIX в. Но фактически эти темы занимали центральное место на экзаменах на аттестат о начальном образовании. Однако надо сказать, что работы 20-х гг., сохранившиеся в архивах департамента Сомма, не дают повода для торжества: едва ли половина из всех сдававших экзамен учеников, которые, в свою очередь, не составляли и половины всего класса, смогли безошибочно воспроизвести тот минимум знаний о

¹ Цит. по: Nora P. Lavis, instituteur national. P. 283.

² См.: Luc J.-N. Une tentative révélatrice: l’enseignement de l’histoire à la salle d’asile et à l’école maternelle au XIX^e siècle // Colloque Cent Ans d’enseignement de l’histoire. P. 127–138.

1789 г., взятии Бастилии или сражении при Вальми, который они получили в начальной школе. Но даже если один ученик из четырех хоть немного знал историю, это уже было кое-что...

Значит ли это, что начальная школа не сумела выполнить миссию, предназначавшуюся ей республиканцами? Вряд ли можно утверждать столь категорично, ибо представление о том, что революция конца XVIII в. установила границу между “до” и “после” — между предшествующим периодом, когда, конечно, короли немало сделали для объединения территории, но когда господствовали привилегии и отсутствовала свобода, и последующим периодом, когда была обеспечена свобода, установилось равенство граждан и благодаря школе стал возможен прогресс, — в конце концов распространилось повсеместно.

По крайней мере, историческое образование сумело прочно утвердиться: отныне французы не представляют себе ни начального, ни тем более среднего образования без истории. Независимо от его эффективности историческое образование воспринимается как совершенно необходимое. Это доказывают и те трудности, которые оно встретило в дальнейшем на своем пути.

Перипетии второй половины XX в.

Школьные реформы 1959–1965 гг., распространяя обязательное образование на коллеж, т. е. на 1-й цикл средней школы, меняют саму функцию начальной школы. Отныне она перестает быть единственной народной школой. Теперь уже не только она должна обеспечивать будущим гражданам необходимые для жизни знания. То, чего не сумеет сделать начальная школа, восполнит впоследствии общеобразовательный коллеж.

Это морфологическое преобразование школьной системы сопровождается новыми явлениями в области педагогики. В 1960-х гг. активно распространяются психосоциологические и психологические подходы к обучению. Если на предприятиях в этот период стали модными групповые игры и семинары по методике Роджерса¹, то в области образования начали прислушиваться к Пияже и другим психологам. Получила распространение идея о том, что демократизация образования предполагает серьезное обновление педагогических методов.

¹ К.Р. Роджерс (C.R. Rogers) — англ. психолог. Разработал психотерапевтический метод, основанный на отсутствии медицинского дистанцирования между больным и врачом. — *Примеч. пер.*

Все это привело к коренному пересмотру начального образования, затронувшему статус всех дисциплин. Фундаментальным предметам, французскому языку и математике, противостоят такие дисциплины, как история, география и естественные науки, которые, как гласят официальные инструкции, уже не являются обязательными для детей от 6 до 11 лет, так как входят в программу первого цикла средней школы. Педагогическая реформа 1969 г., разделившая дисциплины, изучаемые в начальной школе, на три категории, отводила пятнадцать часов в неделю на базовые предметы, т. е., как уже говорилось, на французский язык и математику, шесть часов в неделю — на физическое воспитание и шесть часов — на “занятия по развитию творческих способностей”, куда входила и история. “Чтобы способствовать интеллектуальному развитию”, начальная школа должна заниматься не заучиванием фактов, а “пробуждением любознательности и желания участвовать в выработке знаний”. Все это означало отказ от учебных программ в пользу педагогического творчества, призванного “использовать все возможности, предоставляемые жизненной средой — как непосредственно наблюдаемой, так и удаленной,” и уделять особое внимание индивидуальной работе, поиску и документальному исследованию¹.

Философия, которой вдохновлялись реформы, отнюдь не была абсурдной. Но так называемое развитие творческих способностей должно было бы по логике вещей сопровождаться какими-то параллельными мерами; однако на деле об этом никто не позаботился. В своем стремлении пробудить инициативу авторы идеи предоставили учителям самим искать способы применения заявленных принципов. А ведь это было куда труднее, чем следовать четким пунктам программы. Учителя, предоставленные самим себе, выходили из положения по-разному: одни — меньшая часть, порядка один из пяти, — вовсе убрали такие занятия, по крайней мере для самых маленьких; другие — их было чуть побольше — проводили подобные занятия лишь эпизодически; третьи же продолжали аккуратно преподавать историю, причем примерно половина из них, т. е. четверть от общего количества, работали по старой программе.

После нескольких лет борьбы за превращение истории в начальной школе в занятия по творческому развитию будущих граждан она подверглась еще одной реформе, но на этот раз — уже в старших классах начальной школы. Министр Рене Аби, весьма, впрочем, сдержанно относившийся к рвению реформаторов, решил объединить преподавание истории, географии и

¹ Об этом см. уже цитировавшуюся статью Ж.-Н. Люка в журнале *Historiens et Géographes*, № 306.

начатков социально-экономических наук в силу близости их подходов, объектов и тех задач, которые ставились перед ними на данном уровне обучения. Замысел автора был не лишен интереса: модная в то время междисциплинарность действительно позволяла рассматривать один и тот же объект под разным углом зрения. Да и среди историков новаторское течение, рожденное 1968-м годом, уже давно отстаивало отказ от междисциплинарных перегородок. Но министр вызывал у них подозрение в желании подчинить школу требованиям модернизированного капитализма. Поэтому он подвергся нападкам не только справа, т. е. со стороны консерваторов, но и слева, со стороны реформаторов, обвинивших его в измене.

Это была полная обструкция. В 1980 г. происходит небывалый рост интереса к истории со стороны средств массовой информации. Пресса комментирует парламентские запросы. С экранов телевизоров звучит брань. Кульминация кампании приходится на март этого года. Так, 4-го числа, по случаю выхода своего 400-го номера, иллюстрированный журнал *Historia* организовал день дебатов с участием министра, политических деятелей М. Дебре, Э. Фора, Ж.-П. Шевенмана, историков Ф. Броделя, Э. Ле Руа Ладюри, М. Галло, Э. Каррер д'Анкосс, а также президента Ассоциации преподавателей истории и географии (APHG). Ален Деко, который 5-го числа стал обладателем академических лавров, а 13-го был утвержден Институтом Франции в звании академика, обеспечил этим дебатам невиданный резонанс. 6-го и 7-го числа *Les Nouvelles littéraires* устраивают дни истории во FNAC¹. «История нашей страны преподается плохо либо вообще не преподается», — заявил А. Деко, потребовав от министра, чтобы Ватерлоо был наконец превращен в Аустерлиц. Президент APHG бил в набат: «В начальной школе — полный развал, в первом цикле — деградация, а второй похож на шагреновую кожу»². Развернувшаяся кампания обличения мало заботилась о доказательствах — впрочем, их практически и не было в тех немногих обследованиях, на которые можно было сослаться. Общий дух того момента нашел свое выражение на первой странице католического общественно-политического еженедельника *La Vie* в словах Бонапарта, сетующего: «Франция, ты остаешься без истории»³. В тех редких случаях, когда кто-то пытался, как это делал начальник Генеральной инспекции по истории Л. Жене, обратиться к фактам, показать на основе действующих про-

грамм, что хронология не нарушается, и напомнить о том, что преподаватели все еще работают, их бесцеремонно прерывали. Ясное дело: в наше время уже нельзя просто спокойно учиться. И вот общественное мнение требует принять меры, а министр не может дать ничего, кроме обещаний.

Кончилось тем, что из программ был убран пункт о «развитии творческих способностей», и с 1980 г. возобновилось изучение истории в последних классах начальной школы. Реформа Аби в первом цикле также не состоялась. Приход к власти левых в 1981 г. лишь способствовал усилению этого движения. Профессора Рене Жиро попросили представить доклад, который был опубликован в 1983 г.¹ В нем он подвел подробный итог ситуации, сложившейся в области преподавания истории, не идущий ни в какое сравнение с результатами более позднего исследования Б. Дансель письменных работ 1925 г. на аттестат об окончании начальной школы. И все же компромиссные предложения этого доклада, одобренные в следующем году национальной конференцией с участием большого количества профессиональных историков — преподавателей университетов, по-прежнему отводили так называемым активным методам слишком много места для того, чтобы новый министр Ж.-П. Шевенман мог принять их за основу. Новые программы восстановили изучение истории в начальной школе в ее традиционном виде.

Две последующие конференции на эту тему — в 1980 и в 1984 гг. — не только свидетельствовали о том значении, которое придается в нашем обществе историческому образованию, но и показали в действии две силы, которых в XIX в. еще не было: это СМИ и профессия историка.

¹ Система книжных магазинов. — Примеч. пер.

² Выдержки из отчета см.: *Historiens et Géographes*. 1980. № 278, avr.-mai. P. 556–561.

³ Номер за 7–13 февраля 1980 г.

¹ См.: *Girault R. L'Histoire et la Géographie en question*.

Профессия “историк”

Присутствие истории в нашем обществе — это не только существование некоей дисциплины, книг, нескольких известных имен. Это также, как показали дебаты 1980 г., наличие группы людей, которые называют себя историками — с согласия своих коллег и публики. Группа эта, будучи весьма разношерстной, включает в себя главным образом преподавателей и исследователей. Их объединяют общее образование, сеть ассоциаций и журналов, четкое сознание значения истории, единые критерии оценки исторической продукции, т. е. того, какую книгу по истории считать хорошей, а какую — плохой, что историк должен делать и чего не должен. Их объединяют общие нормы, несмотря на то что вовсе не исключаются внутренние разногласия. Короче говоря, мы имеем дело с профессией, можно даже сказать, с корпорацией — настолько большое хождение внутри этой группы имеют ссылки на ремесло, на мастерскую или на рабочий стол.

Организация научного сообщества

Профессия "историк" появилась на рубеже 1880-х гг., когда на филологических факультетах начали по-настоящему преподавать историю¹. До того времени были лишь любители, часто весьма талантливые, иногда даже гениальные, но не было такой профессии, т. е. не было организованного сообщества со своими правилами, своей процедурой профессионального признания, своими этапами профессиональной карьеры. Единственными специалистами-эрудитами, которых готовила основанная в 1821 г. Школа хартий, были архивисты-палеографы. Однако по большей части эти люди занимались изданием документов и описей, сидя в префектурах и не имея связей с лицами и университетами.

Пришедшие к власти республиканцы решили создать во Франции настоящее высшее образование по примеру Германии. Этот процесс происходил путем коренного реформирования университетского образования, в результате чего на филологические факультеты пришли настоящие студенты в прямом смысле этого слова, получавшие государственные стипендии, а наряду с публичными лекциями были введены "конференции" — или, как мы бы сейчас сказали, семинары, — чтобы студенты могли практически приобщиться к тем строго научным методам, которые отличали в свое время бенедиктинцев XVIII в. и хартистов и которые давно уже практиковались в университетах Германии.

Эта реформа пользовалась поддержкой у молодых историков, находившихся под влиянием немецкой историографии и критически относившихся к "литературному" любительству французских исследователей. Уже перед началом франко-прусской войны 1870 г. *Revue critique d'histoire et de littérature*, основанный в 1866 г. по примеру немецкого *Historische Zeits-*

chrift, упрекал другой журнал, *La Cité antique*, в отсутствии достаточно серьезного исследования фактов и деталей. Но лишь с созданием Габриэлем Моно и Гюставом Фаньесом в 1876 г. *Revue historique*, а также с назначением Эрнеста Лависса руководителем исторических исследований Сорбонны¹ утверждается новая, "научная" история.

Профессия историка строилась на стыке комплекса мер по приданию истории "научности", установлению для нее методологических норм и университетской политики республиканцев, обеспечивавшей для нее необходимые институциональные рамки. Понятно, что проведение реформы предполагало создание соответствующих должностей. Наряду с учебными кафедрами, число которых увеличилось, а сами они все больше специализировались, появляются профессорские должности. Например, в Сорбонне число кафедр истории выросло с двух в 1878 г. до двенадцати в 1914-м². Таким образом, профессиональная среда все больше наполнялась содержанием, хотя размеры ее оставались скромными по причине небольшого количества студентов. В конце века все филологические факультеты вместе взятые, включая Сорбонну, выдавали лишь 100 дипломов по истории в год³, а в 1914 г. в целом во всех университетах насчитывалось всего 55 кафедр истории.

Двойная иерархия университетских должностей — заложенная в уставе и географическая — открывала простор для служебного роста. Наиболее удачная карьера, начавшись с должности преподавателя какого-нибудь провинциального университета, оканчивалась кафедрой в Сорбонне⁴. Но решения по таким вопросам принимались своим же братом-историком: назначения производились министром только по представлению совета факультета. Решение по каждому кандидату выносилось на основании его научной состоятельности, как она оценивалась коллегами-историками, а также на основании его известности в академическом мире, поскольку в голосовании принимали участие штатные профессора всех научных специальностей.

Так как продвижение по службе зависело от мнения коллег, то те профессиональные нормы, которых они при этом придерживались, становились обязательными для корпорации в целом и содействовали ее объединению. Диссертация отныне

¹ Об этом, помимо работ Карбонеля и Кейлора (C.-O. Carbonell и W.R. Keylor), на которые я уже ссылался, см.: *Charle C. Le République des universitaires; Noiriel G. Naissance du métier d'historien*; а также: *Corbin A. Le contenu de la Revue historique et son évolution // Carbonell C.-O. et al. Au berceau des Annales. P. 161–204.*

¹ Об этом см.: *Nora P. L'histoire de France de Lavisce.*

² Эти цифры приводятся Оливье Дюмуленом. См.: *Dumoulin O. Profession historien.* Цифры, которые приводит В.Р. Кейлор, несколько выше.

³ См.: *Gerbod P. Historiens et géographes // Colloque Cent Ans d'enseignements de l'histoire. P. 115; указывается цифра: 40 дипломов в 1891 г. и 70 — в 1898-м.*

⁴ См.: *Charle C. La République des universitaires. P. 82 sq.*

перестает быть простым рассуждением и становится научной работой, которая ведется на основе документов, и в первую очередь архивных документов. Соблюдение правил критического метода, несколько позже переработанных Ланглуа и Сеньобосом специально для студентов¹, которые (начиная с 1894 г.) для получения диплома о высшем образовании и последующего допуска к конкурсу “агрегация” должны были сначала подготовить научную работу, становится абсолютным предварительным условием всякого признания со стороны коллег. Корпорация выработала для себя критерии принадлежности своей среде и исключения из нее. Она также предусмотрительно выработала практические методы работы: именно тогда для выписок из документов на смену тетрадам пришли библиографические карточки; тогда же стали обязательными списки литературы и постраничные сноски.

Однако складывавшаяся в университетах между 1870 и 1914 гг. профессия историка не теряла своей связи со средним образованием. Ведь карьера большинства университетских профессоров начиналась с должности преподавателя лицея. В самом деле, какое другое временное положение дало бы им возможность подготовить диссертацию? Но и получив назначение на университетскую должность, они не порывают со средней школой, так как подготовка студентов к агрегации, т. е. к преподаванию в школе, составляет одну из главных функций преподавателя университета², и, таким образом, связь между обеими ступенями образования сохраняется.

Это постоянное взаимодействие влечет за собой некоторые примечательные особенности, отличающие французских историков от всех остальных. Британская и немецкая университетская профессура не имеет аналогичных связей со средней школой; ее представители не рекрутируются из преподавателей *grammar school* (лицей) или *Gymnasium* (гимназия). Ораторские способности, столь необходимые для успешного прохождения агрегации, имеют, естественно, меньшее значение за границей, чем во Франции: там вполне допустимо “читать по бумажке”. Зато у наших соседей кандидаты на университетские кафедры должны проявить себя на исследовательском поприще. Они постоянно находятся в орбите научных семинаров, в которых проходили подготовку, и таким образом составляют исследовательскую среду, эквивалента которой во Франции нет.

¹ См.: Langlois C.-V., Seignobos Ch. Introduction aux études historiques. Paris: Hachette, 1897 (а не 1898, как часто указывается).

² Об этом см.: Chervel A. L'Histoire de l'agrégation (особенно гл. 8: “L'agrégation et les disciplines scolaires”).

Связью профессии историка со средней школой объясняется не только любовь к отвлеченным идеям и то значение, которое придается способности к сочинительству и выражению своих мыслей. Ею обусловлено также близкое родство истории и географии. Все французские историки занимались географией, так как она является обязательным предметом на агрегации, и все они преподавали ее вместе с историей учащимся средней школы. Поэтому-то география во Франции изучается на филологическом, а не на естественно-научных факультетах, как за границей. Эта особенность была усилена благодаря влиянию Видаля де Лаблаша, чья “Картина географии Франции”¹ наложила глубокий отпечаток на несколько поколений историков, в том числе и на основателей Школы “Анналов”, в чем они сами не без удовольствия признавались. С этой точки зрения попытка подвести итог позитивных и негативных последствий влияния географии на таких историков, как Блок, Февр или Бродель, могла бы оказаться небезынской.

¹ Том первой работы “L'Histoire de la France depuis les origines jusqu'à la Révolution” под редакцией Э. Лависса (1903 г.).

“Анналы” и история-исследование

Боевой журнал

В конце XIX в. профессия историка имела в академических сферах двойное превосходство. С одной стороны, как мы это видели выше, история выполняла выдающуюся социальную функцию: именно посредством истории французское общество могло мыслить себя. С другой стороны, она представляла собой методологическую модель для других дисциплин. Литературная критика становится литературной историей, философия — историей философии. Для того чтобы избежать субъективности, свойственной высокому слогу, и выдержать строгость изложения в “литературных” жанрах, современники не видели иных методов, кроме методов истории.

Превосходству истории угрожало появление социологии, связанное с именем Дюркгейма и началом в 1898 г. издания журнала *L'année sociologique*. Социология претендовала на то, чтобы предложить теорию общества в целом и к тому же на основе более строгих, чем у истории, методов. Впоследствии у нас будет возможность вернуться к крупнейшему эпистемологическому спору, противопоставившему историков и социологов. Нападающими были последние. Атака велась Симианом в 1903 г. и была направлена против Сеньобоса, сподвижника Лависса и теоретика исторического метода. Но Симиан потерпел неудачу. Действительно, по ряду сложных причин, не последней из которых было отсутствие исторической связи со средним образованием, социологии не удалось в тот период внедриться во французские университеты¹. Таким образом, неудача попытки социологии конституировать себя в качестве профессии означала, что привилегированное положение историков осталось на время нетронутым.

Однако внутренняя организация профессии историка стала меняться под влиянием трех факторов, весьма не одинаковых

¹ Об этом см.: Terry N.C. *Prophets and Patrons*, а также: Karady V. *Durkheim, les sciences sociales et l'Université*.

по своей природе и по своему значению. Ими были: паралич, в котором пребывали филологические факультеты, основание журнала “Анналы” и создание Национального центра научных исследований (CNRS). Контекст 1930-х гг. был для университета не слишком благоприятным. Университетский рынок сократился¹; новые кафедры открывались все реже, да и то в основном в провинции. В 1938 г. насчитывалось 68 кафедр истории против 55 в 1914 г., однако в Сорбонне их оставалось по-прежнему 12, хотя попасть туда становилось все труднее. Профессора уходили на пенсию в 70 лет, а те, кто работал в институте² — даже в 75, и поэтому приходилось долго ждать, пока на какой-нибудь кафедре не освободится место. Люсьен Февр, например, с 1926 г. кандидат в Сорбонну, был избран в 1935 г. на другую кафедру и ждал, пока ему исполнится 63 года, чтобы попасть (в 1937 г.) на кафедру истории Французской революции.

Сокращение численности и старение университетских кадров неизбежно повлекли за собой усиление консерватизма. Обновлению методологии, обращению к новой проблематике, к новым горизонтам мешали застой и бездействие. Политическая история остается господствующей не в последнюю очередь в силу того места, которое она занимала в среднем образовательном звене, и той роли, которую она играла на агрегации. С институциональной точки зрения приходилось прибегать к полумерам. Из-за закрытости Сорбонны повысился интерес к французским учебным заведениям за границей, таким, как Афинская школа или Римская школа, и еще больше — к парижским: Школе высших исследований (IV секция) и Коллеж де Франс.

Одновременно появились зачатки того, что впоследствии станет Национальным центром научных исследований (CNRS). Созданная в 1921 г. Касса научных исследований финансировала выполнение текущих исследовательских работ. Услугами этой кассы в 1929 г. пользовался, в частности, Марк Блок для осуществления исследований аграрных структур. Национальная филологическая касса (1930), Высший совет научных исследований (1933), Национальная касса научных исследований (1935) хорошо относились к историкам. Они финансировали научные серии и библиографические издания.

¹ Все эти данные взяты непосредственно из основополагающей диссертации О. Дюмулена “Профессия историка”. Удивительно, что эта превосходная диссертация так и не была опубликована, тогда как столько других, не идущих с ней ни в какое сравнение, тем не менее увидели свет...

² Имеется в виду католический Светский институт — конгрегация верующих, не имеющих духовного сана, или мирян. — *Примеч. пер.*

В 1938 г. Люсьен Февр получил субсидию на осуществление исследований реестров феодальной земельной собственности. В этот период появляются первые так называемые наемные исследователи, которых командировали в местные архивы для сбора материала, и даже имеет место государственное вознаграждение профессиональных исследователей за выполненную ими работу. Очень часто это были уже немолодые люди, чьи заслуги были признаны с некоторым опозданием, такие, например, как секретарь Общества современной истории Леон Каэн, получивший статус исследователя лишь в 62 года.

Именно в этом институциональном контексте профессии, переживающей кризис, следует рассматривать основание Марком Блоком и Люсьеном Февром в 1929 г. журнала *Annales d'histoire économique et sociale*¹. Это событие можно назвать и вектором профессиональной стратегии, и новой парадигмой истории. Эти аспекты неразделимы: научное качество парадигмы обуславливает успех стратегии, и наоборот, стратегия ориентирует парадигму. Впрочем, успех был обеспечен этому предприятию в обоих его аспектах: и Л. Февр, и М. Блок получили назначение в Париж, первый — в Коллеж де Франс в 1933 г., второй, в 1936 г., — в Сорбонну, а тот тип истории, который они отстаивали, стал быстро набирать силу.

Новизна "Анналов" заключается не в методе исследования, а в новых объектах и новых вопросах. Л. Февр и М. Блок неукоснительно следуют нормам профессии; они работают с документами и аккуратно цитируют источники. Ведь они обуча-

лись ремеслу историков в школе Ланглуа и Сеньобоса¹. Но вместе с тем они критикуют узость проблематики и замкнутость исследований. Они отказываются от событийной политической истории, которая господствовала в то время в Сорбонне, становясь все более консервативной и закрытой. Ценой некоторых издержек и упрощений² они буквально предадут анафеме эту "историзирующую" историю (термин был придуман Симианом в ходе споров 1903 г.) для того, чтобы нагляднее противопоставить ей открытую, тотальную историю, изучающую все аспекты человеческой деятельности. Эта, созвучно названию нового журнала, "социально-экономическая" история должна быть открыта для других дисциплин, таких, как социология, экономика, география. Будучи живой историей, она прямо интересуется проблемами современности. Особое место в журнале между 1929 и 1940 гг. отводилось XIX и XX вв.: этому периоду были посвящены 38,5% опубликованных статей против 26% дипломов, выданных высшей школой, 15,6% диссертаций и 13,1% статей, опубликованных в *Revue historique*³.

В научном плане парадигма "Анналов" привносила в историю совершенно новые возможности понимания исторической действительности: стремление к синтезу, обобщению, означавшее установление связи между различными аспектами той или иной ситуаций или проблемы, позволяло понять и целое, и его части. Такая история была богаче, живее, умнее.

Однако создание "Анналов" преследовало одновременно и более далекие цели, ибо верно то, что "любые научные претензии неотделимы от претензий на власть"⁴. В случае "Анналов" это означало ведение борьбы на два фронта. С одной сто-

¹ Немногие из эпизодов истории исторической науки изучены столь же подробно. Можно, в частности, сослаться на материалы коллоквиума в Страсбурге: Carbonell C.-O., Livet G. Au berceau des "Annales". См. также статьи защитников наследия: Le Goff J. et al. La Nouvelle Histoire; см. также: Burguière A. Histoire d'une histoire; Revel J. Les paradigmes des "Annales" // Annales ESC. 1979, nov.-déc. (выпуск посвящен 50-летию журнала); Pomian K. L'heure des "Annales" // Nora P. Les Lieux de mémoire; Stoianovich T. French Historical Method. The "Annales" Paradigm (с предисл. Ф. Броделя). Не следует также сбрасывать со счетов работы противников, в частности Эрве Кутто-Бегари, работа которого "Феномен новой истории", несмотря на некоторые свои издержки, содержит очень много ценной информации (Coutau-Begarie H. Le Phénomène nouvelle histoire). Статья: Hexter J.H. Frenand Braudel and the Monde Braudellien [sic] (On Historians. P. 61-145) полна остроумия и проницательности, а итог, подведенный в работе Жана Гленисона 1965 г. (Glénisson J. L'historiographie française contemporaine), остается и поныне полезным и глубоким. Последующая эволюция отражена, помимо учебника Г. Бурде и Э. Мартэна, в работе Франсуа Досса (Dosse F. L'Histoire en miettes). Я слишком поздно познакомился с работой Raphaël L. Die Erben von Bloch end Febvre. "Annales" Geschichtsschreibung und Nouvelle Histoire in Frankreich: 1945-1980. Stuttgart: Klett-Gotta, 1994, — чтобы давать ей здесь характеристику.

¹ Марк Блок вспоминает Сеньобоса как "человека весьма, впрочем, острого ума" (Блок М. Апология истории, или Ремесло историка: Пер. с фр. М.: Наука. 1986. С. 13). В другом месте, говоря о Ланглуа, он пишет: "Я был учеником этих двух авторов. Оба они вызывали мне расположение. Мое раннее образование многим обязано их лекциям и произведениям" (Там же. С. 119).

² См.: Dumoulin O. Comment on inventa les positivistes // L'Histoire entre épistémologie et demande sociale. P. 70-90, а также мою статью "Новое обращение к Сеньобосу" ("Seignobos revisité").

³ См.: Dumoulin O. Profession historien. Напомню, что дипломом о высшем образовании является наша современная maîtrise.

⁴ Burguière A. Histoire d'une histoire: «Историк включен в сложную систему отношений в университетской и научной среде, смысл существования которой состоит в легитимации его знания, т. е. его работы, и в достижении превосходства его дисциплины. В зависимости от темперамента ученого и его места в обществе научное честолюбие может реализовываться в целом ряде более или менее прозаических задач — от чисто интеллектуального господства до его многочисленных социальных "последствий"».

роны, они обрушивались на господствовавшую концепцию истории, что было положительным моментом, поскольку они состязались с ее сторонниками за гегемонию на поле своей дисциплины¹. С другой — "Анналы" добивались для истории привилегированного положения на поле общественных наук, которое еще только структурировалось. Отстаивая поворот истории в сторону других общественных наук, утверждая их глубинное единство и необходимость взаимосвязи, они в то же время постановляли, чтобы местом такой связи была именно история. Они таким образом признавали за ней своего рода превосходство: будучи единственной наукой, способной обеспечить конвергенцию общественных наук, история становилась главенствующей дисциплиной — *mater et magistra*... тем более что ни одна из соперниц не была еще достаточно сильна, чтобы оспаривать у нее эту роль. Выдвигая от своего имени те перспективы, которые отстаивали социологи в ходе полемики 1903 г., и неизменно обличая историзирующую историю, "Анналы" содействовали упрочению того господствующего положения, которое занимала история в начале века. Иначе говоря, историки могли крепить единство своего лагеря тем более успешно, что позиции, с которых выступали "Анналы", представлялись благоприятными для утверждения верховенства истории. Таким образом, внешняя стратегия "Анналов" в отношении других общественных наук укрепляла их внутреннюю стратегию в отношении иных форм истории.

Институциональное оформление школы

После войны "Анналы" — теперь они называются "Анналы, экономика, общества, цивилизации" — успешно продолжают эту двойную стратегию, но уже в ином контексте. Прежде всего здесь следует упомянуть создание в 1947 г., при поддержке американских фондов и Управления высшего образования, VI секции в Практической школе высших исследований, специализирующейся в области экономических и социальных наук. Руководство ею принял на себя Л. Февр. В начале 1950-х гг. на этом посту его сменяет Ф. Бродель, быстро про-

славившийся своей диссертацией о Средиземноморье в эпоху Филиппа II (1949). Это был человек с темпераментом строителя империи. Благодаря финансовой помощи все тех же организаций, а также поддержке со стороны CNRS VI секция под его руководством успешно развивается и в 1971 г. становится Школой высших социальных исследований (EHESS). Учреждаются должности исследователей и руководителей научных проектов, что позволило историкам новой школы, таким, например, как Ж. Ле Гофф¹ или Ф. Фюре, занять стабильное положение вне лица и университета и всецело посвятить себя исследовательской работе.

Эти перемены позволили истории принять в 60-е гг. вызов лингвистики, социологии и этнологии, которые критиковали ее за теоретическую слабость и за неоправданный, с их точки зрения, выбор объектов (экономическое и социальное измерения общества). Разумеется, историки не смогли бы противостоять этому натиску, осуществляемому, в частности, структуралистами, если бы у них не было специальных учреждений, предназначенных для исследовательской деятельности, ибо университеты в тот период переживали потрясения, связанные, во-первых, с их ростом, а во-вторых, с драматическими событиями 1968 г. и их последствиями. Таким образом, EHESS находилась в самом центре того методологического обновления, которое выдвинуло на первый план историю ментальностей, а затем историю культуры, заимствуя тем самым у других общественных наук проблематику и концепты для того, чтобы изучать их объекты с помощью методов, перенесенных из социально-экономической истории². В этом начинании приняли участие очень многие историки³, и в конце концов, с колоссальной выгодой для всей профессии, оно увенчалось успехом — по крайней мере, так говорят сами историки. В результате истории удалось сохранить привилегированное положение и к тому же представить новые доказательства своей научной легитимности.

¹ Будучи страшным спорщиком, Люсьен Февр в ходе этой борьбы допустил несправедливость, которая до сих пор еще не исправлена. Несколько примеров на эту тему я привожу в моей статье "Новое обращение к Сеньобосу" ("Seignobos revisité"). О "дьяволизации" "Анналами" их противников см.: Dumoulin O. Comment on inventa les positivistes // L'Histoire entre épistémologie et demande sociale. P. 79-103.

¹ Сам Жак Ле Гофф говорил, что это место явилось для него счастливой неожиданностью, о существовании которой он даже не подозревал. См. написанный им раздел для "Очерков по эгоистории" (Essais d'égo-histoire. P. 216 sq.) под редакцией П. Нора.

² Характерными для этого начинания можно считать три тома под редакцией Ж. Ле Гоффа и П. Нора "Заниматься историей": Т. 1: Новые проблемы; Т. 2: Новые подходы; Т. 3: Новые объекты. (Faire de l'histoire. I: Nouveaux Problèmes. II: Nouvelles Approches. III: Nouveaux Objets.)

³ Важную роль в этом деле сыграл CNRS, позволяя преподавателям лицеев посредством двух-, трехгодичных стажировок исследовать новые территории истории, прежде чем оказаться в университете.

За этим успехом, однако, последовала мучительная переоценка ценностей, подробно рассмотренная Ф. Доссом. В 60-е гг. "Анналы" ясно обозначили, какую историю надо писать, а какую нет. Они провозгласили, с одной стороны, отказ от политической событийной истории, от кратковременности, предопределенности исторического периода, с другой — поворот к истории-проблеме, исторической долговременности, серийности, по примеру "Бовэ и Бовэзи" П. Губера или "Средиземноморья" Ф. Броделя, ставших образцами глобальной истории, вскрывающей прочную связь экономической, социальной и культурной составляющих общественной жизни.

Для того чтобы ответить на вызов лингвистики и этнологии, историки стали отдавать предпочтение новым объектам и новым подходам, по названию двух из трех томов цитировавшейся выше работы "Заниматься историей". Конечно, остались среди историков и такие, кто сохранил приверженность стремлению первых "Анналов" к глобальному постижению действительности. Однако многие отказались от этой амбиции, считая ее чрезмерной, и занялись изучением более скромных объектов, пытаясь разобраться в способах их функционирования. Успех, который имела работа Э. Ле Руа Ладюри "Монтажу" (1975), свидетельствовал о смещении векторов научных интересов: несмотря на очевидную преемственность, монография представляется интереснее, чем попытка охватить целое; событие становится "способом обнаружения реальности, недоступной другим способам"¹, а от исследования материальных структур переходят к изучению ментальностей в условиях, когда несвязанность временными и пространственными рамками начинает преобладать над соотнесенностью с настоящим.

Одновременно вновь обретает силу политика, а вместе с ней и событие: мы с интересом наблюдаем, как бывший секретарь редакции "Анналов" Марк Ферро восстанавливает, неделю за неделей, хронику последней войны в серии телепередач под названием "Параллельная история".

С этого момента становятся возможными все виды истории: беспредельность любознательности историков влечет за собой раздробление объектов и стилей исследования. Это уже так называемая раскрошенная история (Ф. Досс). Школа "Анналов" представляет собой теперь уже не четкую научную парадигму, а реальную группу, объединившуюся вокруг некоего учреждения (EHESS и журнал). "Раскрошенная" история означает не конец поляризации влияния, а всего лишь предел ее описания научным языком.

¹ Pomian K. L'Ordre du temps. P. 35. Я еще вернусь к этому вопросу в заключении книги.

Раскол профессии

Поляризация влияния

Успех, по крайней мере временный, этой внешней стратегии сохраняет за историей ее место на поле общественных наук и сопровождается успешной стратегией на внутреннем фронте. Создание EHESS явилось не только сменой названия: наравне с университетами новое учреждение могло устраивать защиты диссертаций и присуждать ученые степени. В противовес Сорбонне, ослабленной и расколотой событиями 1968 г., формируется и наполняется содержанием вполне автономный полюс, на котором утверждается история, избавленная от ограничений, накладываемых образованием, высшим в том числе. В то же самое время происходит резкое увеличение числа историков: с нескольких сотен в 1945 г. число преподавателей и исследователей достигает примерно тысячи в 1967 г. и удваивается к 1991 г.¹ Так историческая профессия мало-помалу раскалывается на два или даже три не одинаковых по своему влиянию полюса. Каждый из них располагает своими собственными публикаторскими возможностями, у каждого есть своя сфера влияния и свои сторонники.

Университетский полюс остается важнейшим и наиболее традиционным, ибо в его ведении находятся кадровые конкурсы. В свою очередь, он тоже не является единым, расколовшись на полдюжины университетов парижского района и несколько крупных провинциальных центров (например, Лион или Экс). Этот полюс контролирует такие классические журналы, как *Revue historique* и *Revue d'histoire moderne et contemporaine*. К его исследованиям проявляют интерес издательства университетов и такие классические издательства, как

¹ См.: Charle C. Être historien en France: une nouvelle profession? // L'Histoire et le Métier d'historien / F. Bédarida (dir.). P. 21–44; а также: Boutier J., Julia D. Ouverture: À quoi pensent les historiens? // Passés recomposés. P. 13–53. Только для историков, являющихся штатными преподавателями университета, эти авторы указывают (с. 29) цифры 302 — в 1963 г. и 1 155 в — 1991 г.

Hachette. В его власти — защита диссертаций, формирование комиссий по специальностям и академическая карьера. Этот полюс, бесспорно, самый влиятельный как по численности, так и по разносторонности, хотя внутренние разногласия и соперничество не позволяют ему использовать свои преимущества в полной мере.

Второй полюс представлен EHESS при поддержке CNRS. Там больше свободы для исследований, меньше препятствий для новых идей. Желание исследовать новые территории или использовать новые подходы не связано какими бы то ни было педагогическими запретами и ограничениями. Этот полюс опирается на мощную сеть международных связей с теми, кому небезразличен престиж "Анналов". Одной из его сильных сторон являются прочные отношения, которые удалось завязать со средствами массовой информации и издательствами. Так, газета *Le Nouvel Observateur* охотно принимает написанные одними сотрудниками влиятельного учреждения на бульваре Распай (CNRS) рецензии на недавно вышедшие книги других его членов... и наоборот. Труды этих исследователей, в свою очередь, выходят в разных издательствах. Например, узкоспециальные научные работы публикует *Mouton*, а более популярные — издательство *Gallimard* и др. Расширению сферы влияния этого полюса способствуют также крупные издательские проекты, такие, как "Заниматься историей" (1974), словарь "Новая история" (1978), несколько томов "Мест памяти" П. Нора и т. д., открытые для участия историков, не принадлежащих к этому полюсу.

У третьего полюса нет подобного единства. Он состоит из нескольких крупных учреждений, таких, как Французская школа истории Древнего мира и Средних веков и особенно Парижский институт политических исследований современной политической истории. Опираясь на Фонд политических наук, руководимый в течение долгого времени П. Ренувеном, а затем Р. Ремонем, располагая независимыми финансовыми средствами, в ряде случаев пополняемыми из средств CNRS, а также участвуя в распределении должностей исследователей и университетских преподавателей и обеспечивая льготные условия труда, в отличие от университетов, этот полюс может до известной степени противостоять "Анналам" и EHESS. Он располагает собственной прессой, которая долгое время была связана с издательством *Armand Colin*, а также имеет тесные отношения с издательством *Seuil*, исторические серии которого хорошо известны и также широко открыты для всех — достаточно назвать такие из них, как "История сельской Франции", "История городской Франции" или "История частной жизни". Выпуск совместно с основанным при участии CNRS в 1979 г. Институтом истории современности нового

журнала под названием "Двадцатый век, журнал по истории" (*Vingtième siècle, revue d'histoire*) существенно укрепил влияние этого полюса.

Не следует думать, что между упомянутыми тремя полюсами существуют непреодолимые границы: историки не так глупы, чтобы игнорировать своих коллег — друзей и соперников одновременно. Такие факторы, как однородность получаемого образования, стабильность на протяжении всего XX века его составляющих, а также обычно ранняя специализация, предохраняют профессию от раскола¹. Между тремя полюсами происходит постоянный кадровый обмен, а благовоспитанность сторонников каждого из них поддерживает возможность совместного управления учреждениями, представляющими интерес для корпорации в целом. Но иногда имеет место и некоторая мелочность, когда считается неуместным хорошо отозваться о коллеге из другого лагеря и даже сослаться на него в своих собственных трудах². Случаются и настоящие сражения, которые ведутся за достижение вполне реальных целей. Мы были тому свидетелями, когда М. Винок и издательство *Seuil* решили создать научно-популярный журнал, где публиковались бы статьи, адресованные широкому читателю и написанные лучшими историками. Полюса "Анналов" и EHESS сочли это соперничеством, так как идея такого предприятия принадлежала им. В связи с этим они отменили свой собственный конкурс, о чем свидетельствует оглавление первых номеров журнала *L'Histoire*, и попытались воспротивиться готовящемуся мероприятию, выпустив в издательстве *Hachette* конкурирующий журнал *H Histoire*. Однако контрнаступление провалилось. В результате историкам из "Анналов" пришлось смириться и писать для *L'Histoire*³.

Приведенный эпизод показателен как с точки зрения единства полюсов, так и в плане существующих взаимных притязаний. Но в первую очередь — с точки зрения единства, так как университетское пространство Франции является слишком узким для того, чтобы EHESS, университеты и так называемые

¹ Социологи очень болезненно относятся к этим факторам единства, которых им так не хватает. См.: *Passeron J.-C. Le Raisonnement sociologique*. P. 66 sq.

² Так, в статье Ж. Ле Гоффа "Новая история" в словаре под тем же названием в одном только месте упоминается Морис Агюлон, поборник истории коммуникабельности, между прочим, близкий к "Анналам". Вместе с тем Ле Гофф оставляет без внимания такие имена, как Мишель Перро, Ален Корбен, Даниэль Рош, Клод Николе. По другую сторону тоже можно встретить аналогичные умолчания, однако при этом никто не претендует на то, чтобы делить историков на хороших и плохих или публично давать им оценку.

³ *Grand-Chavin S. Le Développement de "L'Histoire": rencontre entre l'édition, l'Université et le journalisme: mémoire de DEA sous la direction de Ph. Levillain*. Paris: IEP, 1994.

политические науки могли объявить друг другу настоящую войну: компромиссы и тактические союзы несомненно лучше, чем предание анафеме, а завуалированные конфликты предпочтительнее, чем публичные дуэли. Это хорошо видно, когда смотришь на заголовки крупных исторических серий. Так, в серии "Историческая вселенная", выходящей в издательстве *Seuil*, с момента ее создания в 1970 г. и до ее окончания в 1993 г. приняли участие столько же исследователей из EHESS, сколько и историков из университетов или из Института политических исследований (бывшей Школы политических наук). Плюс к этому значительное число иностранцев. Точно так же в серии П. Нора "Места памяти" (издательство *Gallimard*) количество авторов, относящихся к различным полюсам, примерно одинаково, и исследователей из EHESS там едва ли не больше, чем ученых, принадлежащих к полюсу "университеты — политические науки"¹.

Теперь о целях и притязаниях. Дело в том, что власть над средствами массовой информации и доступ к широкой публике имеют сегодня профессиональное значение. Ведь репутация историков создается не только в лекционных аудиториях — кстати, переполненных — и не только на заседаниях аттестационных комиссий и редколлегии научных журналов, члены которых блещут эрудицией и понимают друг друга с полуслова. Оно создается также в выступлениях перед широкой публикой — в прессе, на телевидении и радио.

Рынок, который трудно регулировать

Можно, таким образом, выдвинуть тезис о том, что история и другие общественные науки существуют в условиях двойного

рынка¹. С одной стороны, это рынок академический, где научная компетентность подтверждается учеными трудами и признанием коллег, являющихся потенциальными конкурентами и потому не слишком склонными проявлять снисходительность. Здесь достоинство вознаграждается вначале символическим или моральным поощрением, а затем, возможно, и продвижением по службе. С другой — рынок широкой публики. Здесь самыми похвальными качествами являются вовсе не новизна (вы можете переписывать ту же историю Жанны д'Арк каждые пятнадцать лет...) и не оригинальность метода, хотя они могли бы добавить изюминку. Здесь ценится прежде всего то, что может обеспечить успех у не сведущих в данных вопросах людей: масштабность и увлекательность темы, эlegantная и обобщенная ее подача, не отягощенная справочным аппаратом. Иногда это также идеологический заряд произведения или способность автора и пресс-службы издательства обеспечить хвалебные отзывы на опубликованный материал. На этом рынке все решает мнение большинства, а последующее вознаграждение выражается в форме известности, больших тиражей и авторских прав.

Я не уверен, что этот тезис можно считать оригинальным: в конце концов двойной рынок существовал всегда, те же Мишле или Тэн умели играть по правилам того и другого точно так же, как и Школа "Анналов"... Несомненно, последние полвека были отмечены тем, что К. Шарль называет "изменением состава исторической аудитории" или появлением "новой специфической аудитории". Эти изменения можно охарактеризовать как "интеллектуализацию массовой аудитории". Сегодня она читает то, что прежде предназначалось лишь для ученой публики или университетских невольников². Фактически же двойной рынок является выражением двойной реальности профессии, специализирующейся на выполнении социальной функции. П. Бурдьё расценивает этот факт как "своего рода двойную игру или двойное сознание".

Пьер Бурдьё: Организация исторического поля

Она [история] колеблется между модернизмом науки об исторических фактах и осторожным академизмом и конформизмом литературной традиции (проявляющихся, в частности, в ее

¹ Ж. Нуарьель (*Noiriel G.* "L'Univers historique": une collection d'histoire à travers son paratexte (1970–1993)) // *Genèses*. 1995. № 18, janv. P. 110–131), конечно, видел это взаимодействие, хотя и не полностью его использовал. В приведенной им таблице я насчитал в числе авторов 26 исследователей из EHESS, 16 — из университета, 9 — из так называемых Политических наук и 16 иностранцев. Что касается "Мест памяти", то список авторов в конце тома облегчает подсчет; однако по мере выхода каждого очередного тома институциональная принадлежность участников может меняться. Если сравнивать первые четыре тома с тремя последними, то соответственно из 63 и 65 авторов на университеты приходится 21 и 18, на Политические науки — 1 и 4, на EHESS в строгом смысле — 11 и 19, но сюда еще надо прибавить CNRS (5 и 5) и Коллеж де Франс (тоже 5 и 5). Зарубежных авторов немного (8 и 4). Необычным является наличие группы музейных работников, архивистов и любителей, занимающих отнюдь не последнее место (12 и 10). Итого вместе с Коллеж де Франс и CNRS EHESS составляет 40% сотрудников этого большого издания, а университеты, усиленные Политическими науками, — чуть менее 35%.

¹ См.: *Boudon R.* L'intellectuel et ses publics: les singularités françaises // Français, qui êtes-vous? / Sous la dir. de J.-D. Reynaud et Y. Grafmeyer. Paris: La Documentation française, 1981. P. 465–480. См. также: *Bourdieu P.* La cause de la science. P. 4.

² *Charle C.* Être historien en France: une nouvelle profession? // *L'Histoire et le Métier d'historien* / F. Bédarida (dir.). P. 36–37.

отношении к понятиям и к писательству), или, точнее, между неизбежно критическим исследованием, коль скоро оно применено к объектам, *воссоздаваемым вопреки* обыденным представлениям и потому совершенно неведомым истории мемориальной, и официальной или полуофициальной историей, предназначенной для управления коллективной памятью через участие последней в торжествах по случаю памятных дат. <...> Из этого следует, что началом, структурирующим историческое поле, является противостояние двух полюсов, различающихся степенью своей независимости от социального заказа: с одной стороны, это научная история, которая не имеет строго национального объекта (история Франции в традиционном смысле), по крайней мере, по способу ее конструирования, и является делом рук профессионалов; с другой — история памятных дат, позволяющая некоторым из профессионалов, часто самым признанным, обеспечить себе славу и мирские выгоды от юбилейного издания (в частности биографий) или крупнотиражных коллективных трудов, играя на двусмысленности для расширения рынка исследовательских работ. <...> Не могу избавиться от опасения, что влияние рынка и светского успеха, становясь все более ощутимым из-за напора издателей и телевидения, этого орудия коммерческой, да и персональной рекламы, будет и дальше усиливать полюс мемориальной истории.

Sur les rapports entre la sociologie et l'histoire en Allemagne et en France, p. 109–110.

То, что эти трения являются неотъемлемой частью поля истории, еще не дает основания для радости или печали. В конечном счете неплохо, что профессионалы имеют успех у публики. Видимо, нужно подходить к данному вопросу более гибко: отношения между двумя рынками сложнее, чем можно предположить исходя из сказанного¹. Надо также принимать в расчет ту историю, которая изучается в школе: историки, работы которых читают преподаватели средних школ, вряд ли являются выдающимися популяризаторами или специалистами высокого уровня... Беспокоиться следовало бы лишь в том случае, если бы на признании, полученном у широкой публики, стали наживаться на рынке профессиональном.

Наверное, в этом и заключается главная опасность. По причинам, связанным с самим функционированием соответствующих институтов, на первом рынке (профессиональном) оценка происходит в действительности намного медленнее, чем на

втором (массовом). Мнение коллег выражается на страницах специализированных журналов, которые нередко выходят лишь раз в квартал, и для того, чтобы появилась рецензия, требуется несколько месяцев. На массовом же рынке — который не так уж велик! — оценка производится немедленно. Едва появившись, иногда уже после заблаговременного “лестного представления”, книга, с соответствующей подачей, приветствуется журналистами как важнейшее событие научной жизни, причем возникает вопрос: когда эти журналисты успели ее прочесть? Возможно, в дальнейшем коллеги историки опровергнут их мнение, но это уже едва ли будет иметь какое-нибудь значение, и потом: не повлияют ли на их оценку первые восторженные суждения? Как можно плохо отзываться в научном журнале о книге, о которой уже сказано столько хорошего столькими признанными авторитетами пера? Риск влияния на научное мнение мнения массмедиа вполне реален, а это ведет к риску признания на профессиональном рынке заслуг, завоеванных на рынке широкой публики. Вполне возможно, что скоро историки будут получать право на руководство исследованиями, а затем и университетскими кафедрами на основании участия в телепрограммах или на основании репутации, которую им создадут журналисты, ни разу не побывавшие ни в одном архивном хранилище и не прочитавшие по-настоящему ни одной научной работы.

Эта опасность, по-видимому, грозит истории несколько больше, чем другим общественным наукам, по двум причинам. Прежде всего, это объясняется тем интересом, который история вызывает у широкой публики: непрофессионал гораздо охотнее возьмется за книгу по истории чем за генеративную грамматику Ноама Хомского. Во-вторых — слабостью научного сообщества. Пережив раскол, историческая профессия не создала никакой инстанции внутреннего регулирования, аналогичной крупным американским научным ассоциациям. Тридцать лет тому назад эту роль играла Ассоциация новой и новейшей истории, а ее заседания, раз в месяц, по воскресеньям, представляли собой настоящую биржу ценностей университетской науки. На заседания Ассоциации приглашались начинающие историки для представления своих докладов перед *истеблишментом* корпорации, что было весьма полезно для преподавателей из провинции. Но из-за роста числа историков-профессионалов Ассоциация заглохла, не найдя себе никакой замены.

Между тем на фоне существования различных властных стратегий, развертывающихся под прикрытием разговоров о прогрессе науки, общепризнанная инстанция научного арбитража была бы весьма полезна. Но где ее взять? Защиты диссертаций и конференции, которые как раз и должны были бы представлять собой такие моменты научной истины, являются

¹ Об этом см.: *Langlois C. Les effets retour de l'édition sur la recherche // Passés recomposés. P. 122–124.*

в то же время, если не сказать — в первую очередь, демонстрацией умения общаться, где правила этикета одерживают верх над научной строгостью и поиском истины. Защиты диссертаций все больше превращаются в простое прославление заслуг соискателя, а критические замечания — безусловно оправданные — оказываются порой просто неуместными. Для того чтобы все прошло гладко, обряд посвящения, на который диссертант приглашает своих друзей и близких, требует также присутствия "крестного", желательного влиятельного, но прежде всего — благосклонного. Если же кто-то будет отклоняться от этого сценария, то сочтут, что те из членов жюри, которые будут указывать на ошибки в диссертации — а ошибки всегда найдутся и в диссертации, и в любой книге по истории, — так же плохо воспитываны, как тот гость, который вслух замечает, что жаркое подгорело.

Что касается конференций, то они слишком многочисленны, чтобы считать все из них честными — я хочу сказать: научно оправданными. Нет сомнения, что их организаторы преследуют научные цели. Однако они также стремятся заявить о себе или о своем учреждении как о легитимной научной инстанции в соответствующей области, что иногда является оправданной претензией, а иногда и нет. Ж. Ле Гофф отмечал злоупотребление бесполезными конференциями, "отнимающими время у исследований, преподавания и работы над статьями и книгами". "Есть что-то патологическое, — говорит он, — в том количестве и частоте конференций и коллоквиумов, которые мы сейчас имеем. Нам необходимо сделать прививку от конференциального коллоквиата"¹. Конференция обязательно предполагает дискуссию. Бывают среди них и интересные, однако очень часто эти дискуссии просто скучны и не несут ничего нового. Самыми интересными участниками таких мероприятий являются начинающие историки, когда им есть что сказать. Поскольку им необходимо заявить о себе и добиться признания, они остаются в зале заседаний дольше других. Заслуженные же историки, имеющие много разных обязанностей, ограничиваются тем, что свидетельствуют мимоходом свой интерес к теме и организаторам и спустя какое-то время уходят, довольные тем, что проявили заботу и выполнили свой августейший долг. Некоторым из них профессиональная совесть велит перед началом заседания, на котором они должны присутствовать или даже председательствовать, ознакомиться с представленными на нем сообщениями. Другие же, у которых больше сомнений или меньше времени, считают это для себя необязательным и рискуют тем самым попасть

впросак. Не раз бывало, что председательствующие выступали с заключительным словом по докладам, которых они не читали... Все это лишний раз доказывает, что в данном случае истинные цели лежат не в русле науки, а в русле профессионального общения и властной стратегии¹.

И все же некоторые зачатки регулирования прокладывают себе путь через обсуждения, ведущиеся в зале и в кулуарах заседаний. Происходит обмен информацией, создается, подтверждается или разрушается чья-то репутация, как это имеет место на научных семинарах, где более или менее близкие по духу исследователи по очереди представляют свои работы. Поэтому сводить защиты диссертаций и конференции или издательскую политику журналов к простому удовлетворению потребности в общении или к чистой стратегии власти означало бы поставить под вопрос само их существование. Тем не менее собственно научным критериям регулирования профессиональной деятельности, которая претендует на научность, не хватает ясности. Вероятно, этим не в последнюю очередь объясняется то новое значение, которое приобретает сегодня эпистемологическое осмысление истории.

Итак, мы возвращаемся к нашему первоначальному утверждению о том, что история представляет собой не только научную, но в равной мере социальную практику, и та история, которую пишут историки, как и их теория истории зависят от занимаемого ими места в этом двойном — социальном и профессиональном — пространстве. Именно это обстоятельство делает относительной и книгу, предлагаемую вашему вниманию. Отказаться от нормативного выбора единственно правильной истории, постановить, что всякая история, признанная в качестве таковой, заслуживает серьезного отношения и анализа, доказывать, что никто не свободен вполне писать то, что он хочет, что каждый так или иначе пишет ту историю, которая обусловлена его положением на этом поле, значит в каком-то смысле вести разговор об истории применительно к тому периоду нерешительности и разброда, который она переживает сегодня, пытаясь в то же время найти выход из этого положения. Любой метод и любой дискурс о методе вынуждены отдавать дань сложившейся ситуации. Это вовсе не означает, что они должны к ней сводиться, но лишь то, что они не могут с ней не считаться, тем более если стремятся ее преодолеть.

¹ Такое использование конференций — не столько в интересах науки, сколько в интересах общения — имеет место не только во Франции и не только среди историков. Так, Дэвид Лодж заставил смеяться тысячи читателей своей меткой критикой того, как научные конгрессы проводятся в Америке. См.: *Un tout petit monde / Préface d'Umberto Eco; traduit de l'anglais par Maurice et Yvonna Couturier / Ed. Rivages/poche, 1992* [1-е англ. изд., 1984]

¹ *Le Goff J. Une maladie scientifique // La Lettre SNS. 1993. № 32, déc. P. 35.*

Факты и историческая критика

В общественном мнении существует прочно укоренившееся убеждение в том, что история состоит из фактов и что их надо знать.

Это убеждение, например, лежало в основе возражений, выдвинутых против школьных программ по истории 1970 и 1977 гг. Оно же обнаруживало себя и в спорах, которые велись в 1980 г. Главный упрек в адрес составителей программ заключался в том, что “современные учащиеся ничего не знают...”. А в истории есть такие вещи, которые надо знать. Это — факты и даты. Эти славные люди, понятия не имеющие, была ли битва при Мариньяне победой или поражением, возмущены тем, что учащиеся не знают ее даты. История для широкой публики часто сводится к каркасу, составленному из строго датированных фактов: отмена Нантского эдикта 1685 г., Парижская Коммуна 1871 г., открытие Америки 1492 г. и т. д. Заучивать факты — это и есть учить историю. Причем аналогичные суждения встречаются даже среди людей вполне сведущих.

В данном случае мы, несомненно, сталкиваемся с тем коренным различием, которое существует между преподаванием и научным исследованием, между историей, излагаемой в учебных целях, и той историей, которую разрабатывают ученые. Если преподаватель имеет дело с готовыми фактами, то исследователю лишь предстоит их создать.

Критический метод

Изучение истории в школе и даже в университете осуществляется в два приема: сначала — знать факты, а уж потом — уметь их объяснять и связывать между собой в непротиворечивом дискурсе. Эта дихотомия между установлением фактов и их интерпретацией была теоретически обоснована в конце прошлого века историками так называемой методической школы и, в частности, Ланглуа и Сеньобосом. Именно ею определяется структура таких работ, как «Введение в изучение истории» (1897) и «Применение исторического метода к общественным наукам» (1901).

Факты как доказательства

Ланглуа и Сеньобос вовсе не считали, что факты являются таковыми сами по себе. Как раз наоборот: они уделяли много времени объяснению того, каким правилам необходимо следовать при их конструировании. Но по их мнению, выражающему мнение методической школы в целом, факты конструируются раз и навсегда. Отсюда проистекает разделение работы историка на два этапа и между двумя группами профессионалов: одни — исследователи, читай: университетские преподаватели, — факты устанавливают; другие — преподаватели школ — их используют. Иными словами, факты — это камни, из которых строятся стены здания под названием «история». В своей небольшой книжке «Преподавание истории в средней школе» Сеньобос даже по своему гордится этой работой по изготовлению фактов:

Привычка критиковать позволила мне произвести сортировку тех традиционных историй, которые преподаватели передают друг другу из поколения в поколение, и отвести различные анекдоты и легенды. Я сумел обновить характерный набор достоверных фактов, которые должны питать собою преподавание истории¹.

¹ [Seignobos Ch.] L'Histoire dans l'enseignement secondaire. P. 31.

В основе работы по реконструкции фактов лежит следующее важнейшее соображение: как придать статус научности тому, что пишет и говорит историк? Как удостовериться в том, что история — это не набор субъективных мнений, которые каждый из нас волен принимать на веру или отвергать, но выражение одинаково непреложной для всех объективной истины?

Согласитесь, вопросы эти не из тех, которые можно было бы объявить излишними, ненужными или устаревшими. Сегодня нельзя уклониться от ответа на них, не сдвывая в значительной мере своих позиций. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к гитлеровскому геноциду. То, что нацистская Германия в течение нескольких лет осуществляла систематическое уничтожение евреев, нельзя считать субъективным мнением, которое можно разделять или отвергать. Это истинная правда. Но для того, чтобы обладать таким статусом, правда должна основываться на фактах. Например — СС строили газовые камеры, это факт, и факт, который можно доказать¹.

Следовательно, факты — это неоспоримый, жесткий элемент дискурса историков. Недаром говорят, что факты упрямы. Забота о фактах в истории — это забота о доказательности, а она неотделима от справочного аппарата. Вот и я только что сделал сноску на литературу о существовании газовых камер, потому что таково правило нашей профессии. Историк не требует, чтобы ему верили на слово, мотивируя это тем, что он, дескать, профессионал, знающий свое дело, хотя в основном так оно и есть. Он дает читателю возможность проверить его утверждения. Не случайно поэтому «правила строго научного изложения», соблюдения которых добивался Г. Моно от *Revue historique*, требуют, чтобы «каждое утверждение сопровождалось доказательствами, ссылками на источники или цитатами»². Начиная с методической школы и кончая Школой «Анналов», в данном вопросе царит полное единодушие: это общее правило нашей профессии.

¹ См.: Kogon E., Langbein H., Rückerl A. Les Chambres à gaz, secret d'État. Paris: Éd. de Minuit, 1984, Rééd. Points Histoire, 1987; и работу бывшего ревизиониста (т. е. сторонника ревизии истории Второй мировой войны: цель этой ревизии — отрицание или преуменьшение геноцида евреев нацистами. — Ю. Т.), который полез в архивы, чтобы доказать свои утверждения... и пришел к прямо противоположным выводам, так как добросовестно работал со своими источниками: Pressac J.-C. Les Crématoires d'Auschwitz, la machinerie du meurtre de masse. Paris: CNRS Editions, 1993.

² Моно Г., Фаньес Г. Предисловие к первому номеру *Revue historique* перепечатанное в: [Revue historique]. 1976. № 518, avr.-juin. P. 295–296. См. также: Monod G. Du progrès des études historiques en France depuis le XVI^e siècle // Ibid. P. 297–324.

Марк Блок: Похвала сносам внизу страницы

Но когда некоторые читатели жалуются, что от любой строчки, одиноко чернеющей под текстом, у них туманятся мозги, когда некоторые издатели заявляют, что для их клиентов — конечно, отнюдь не таких сверхчувствительных, как они изображают, — сущая пытка глядеть на такую обезображенную страницу, эти неженки доказывают лишь свою неспособность понять даже элементарные правила научной этики. Ибо, не беря в расчет свободную игру фантазии, утверждение не имеет права появляться в тексте, если его нельзя проверить, и для историка, приводящего какой-то документ, указание на то, где его, скорее всего, можно найти, равносильно исполнению общеобязательного долга быть честным. Наше общественное мнение, отравленное догмами и мифами, даже когда оно не враждебно просвещению, утратило вкус к контролю. В тот день, когда мы, сперва позаботившись о том, чтобы не отпугнуть его праздным педантизмом, сумеем его убедить, что ценность утверждения надо измерять готовностью автора покорно ждать опровержения, силы разума одержат одну из блистательнейших своих побед. Чтобы ее подготовить, и трудятся наши скромные примечания, наши маленькие, мелочные ссылки, над которыми, не понимая их, потешаются нынешние остряки.

Апология истории, с. 51–52.

Мы должны будем развить эту мысль дальше, ибо идея объективной истины, которая основывается на фактах, требует обстоятельного обсуждения. Она, однако, остается в лоне той истории, которая находится на первом из выделенных ранее уровней. Историки ежедневно борются с бездоказательными утверждениями в письменных работах студентов, а также в статьях журналистов. В этом состоит сущностное основание ремесла историка: никаких утверждений без доказательств, т. е. никакой истории без фактов.

Техники критики

Вопрос, который встает перед нами на этой стадии размышления, — как устанавливать достоверные факты? Какова должна быть процедура? Ответ на него содержится в критическом методе, который восходит по меньшей мере еще к монаху-бенедиктинцу Жану Мабильону и его книге *De Re Diplomatica* (1681). Что касается Ланглуа и Сеньобоса, то они всего лишь пространно конкретизируют его. В действительности их инте-

ресуют только факты, реконструированные на основе письменных документов, в частности архивных текстов. Их можно упрекать в том, что они не распространяли свои изыскания на другие типы источников, но этого недостаточно, чтобы отказать им в доверии. Ведь большинство историков продолжают работать именно с этим типом документов, в том числе и те, кто, подобно Л. Февру, Ф. Броделю и Ж. Ле Гоффу, отстаивали необходимость расширения документальной базы. Тот же Ж. Дюби писал о «куче писем, только что извлеченных на поверхность из этих карьеров, куда историки ходят за необходимым материалом, чтобы затем, сортируя, прилаживая и подгоняя, строить здание, предварительный план которого уже существует у них в голове»¹. Что ни говори, а историки, видимо, еще долго будут узнавать друг друга, как Арлет Фарж², по страсти к архивам.

Каков бы ни был предмет исторической критики, она не может осуществляться начинающим историком, и это убедительно доказывают те затруднения, которые испытывают студенты при работе с текстом. Для того чтобы заниматься критикой документа, надо уже быть историком, так как, по существу, критика документа означает сопоставление его со всем тем, что уже известно о рассматриваемом в нем предмете, о месте и времени, о которых он рассказывает. В каком-то смысле критика и есть сама история, и она становится все более утонченной по мере того, как история углубляется и расширяется.

Мы это ясно видим на каждом из ее этапов, анализируемых такими признанными мастерами критического метода, как Ланглуа и Сеньобос. Они различают внешнюю и внутреннюю критику источника. Внешняя критика имеет дело с материальными характеристиками документа: чернилами и бумагой, на которой он написан, почерком автора документа, сопровождающими его печатями. Внутренняя же критика касается непротиворечивости самого текста, например соответствия между датой его составления и теми фактами, которые в нем излагаются.

Медиевисты, подобно Ланглуа, сталкиваясь с многочисленными подложными королевскими грамотами и папскими буллами, придавали очень большое значение внешней критике для того, чтобы отличить подлинный документ от фальшивки. Неоценимую помощь в этом деле способны оказать вспомогательные исторические дисциплины. Палеография, или наука о старинном письме, позволяет определить, соответствует ли

¹ [Duby G.] L'histoire continue. P. 25.

² Французская исследовательница. — Примеч. пер.

графика рукописи предполагаемой дате ее появления. *Дипломатика* учит распознавать условные обозначения, в соответствии с которыми составлялись документы: как они начинались, как оформлялись вступление и основная часть документа, какие обозначения содержат подпись, титулы и их порядок. *Сфрагистика* предоставляет перечень различных печатей и датирует время их использования. *Эпиграфика* выводит правила, по которым в античности обычно создавались надписи, в частности надгробные.

Благодаря такой оснащенности внешняя критика позволяет отличать предположительно подлинные документы от ложных или от документов, подвергшихся изменениям (критика подлинности). Понятно, например, что хартия, написанная на бумаге, а не на пергаменте, и претендующая на датировку XII в., является фальшивкой. В ряде случаев критика реконструирует оригинал документа, убирая из него позднейшие вставки или восстанавливая недостающие места, как это часто делается с римскими или греческими надписями (конъектурная критика). Особым случаем применения этих методов, великолепно продемонстрированным немецкими филологами, являются критические издания, в которых путем сравнения всех имеющихся рукописей учитываются все возможные их варианты, устанавливаются генетические связи между рукописями и предлагаются версии, наиболее приближенные к первоначальному тексту. Но этот метод пригоден не только для древних текстов. Например если мы хотим знать совершенно точно, что сказал маршал Петэн, то имеет смысл сопоставить записи его выступлений по радио с письменными текстами его посланий и речей¹.

Однако выяснение историком этого пункта еще не означает окончания его трудов, так как подлинность документа ничего не говорит о его смысле. Копия меровингской грамоты, сделанная на три века позже оригинала, не является подлинником. Тем не менее она вовсе не обязательно фальшивка. Ведь копия может быть составлена верно. И тогда внутренняя критика должна быть направлена на изучение внутренних соответствий текста и его совместимости с тем, что нам уже известно из других аналогичных документов. Внутренняя критика всегда осуществляется путем поиска сходства, так как если нам ничего не известно ни об изучаемом периоде, ни о данном типе документов, критика попросту становится невозможной. Из этого видно, что критика источников не может быть абсолютным началом: нужно уже быть историком, чтобы заниматься критикой документа.

¹ См.: *Barbas J.-C.* Philippe Pétain: Discours aux Français. Paris: Albin Michel, 1989.

Не надо думать, что эти проблемы возникают только при изучении древних текстов. Приведем два примера из истории XX в. Пример первый — обращение к народу, в котором содержится призыв к сопротивлению, якобы выпущенное Французской коммунистической партией 10 июля 1940 г. Но ведь в этом воззвании упоминаются имена министров, назначенных только 13 июля; кроме того, оно плохо согласуется с тем, что нам известно о тактике этой партии, характерной для июля 1940 г., когда она вела переговоры с оккупантами о возобновлении выхода своего ежедневного издания. Поэтому историки обычно считали, что речь идет о более позднем тексте, и, поскольку это воззвание не вписывается в серию подпольных изданий “Юманите”, оно, вероятно, было напечатано даже позже последних чисел июля — подлог бесспорен против критики!

Второй пример взят из недавней полемики вокруг Жана Мулена. В своей работе, обращенной к широкому кругу читателей, журналист Тьерри Вольтон утверждает, что Жан Мулен, бывший в то время префектом департамента Эр и Луар, передавал секретные сведения советскому шпиону Робинсону. В подтверждение своих слов Вольтон приводит выдержки из донесения, направленного Робинсоном в Москву, в котором сообщалось о повышенной активности на аэродромах Шартра и Дрё, о работах по удлинению взлетной полосы до 4,5 км и о сосредоточении на аэродроме Шартра 220 тяжелых бомбардировщиков. Ссылаясь на точность этих сведений, он делает вывод, что предоставить их мог только префект департамента. Между тем самая элементарная внутренняя критика должна была бы заставить его отказаться от этого довода. Действительно, приведенные цифры абсурдны: взлетные полосы длиной в 4,5 км совершенно неоправданны для авиации 1940 г. (для взлета “Боинга-747” требуется 2 км); к тому же немецкая авиация в октябре 1940 г. насчитывала всего 800 бомбардировщиков. В Шартре же находилось 30 бомбардировщиков, из них 22 — тактических. Нельзя сказать, чтобы информатор Робинсона сам был хорошо информирован!

Все критические методы направлены на то, чтобы ответить на простые вопросы: откуда этот документ? кто его автор? как он сохранился и дошел до нас? насколько искренен его автор? есть ли у него осознанные или неосознанные причины искажать свое свидетельство? правду ли он говорит? позволяло ли

¹ Мы взяли этот пример у Франсуа Бедариды: *Bédarida F.* L'histoire de la Résistance et l'affaire Jean Moulin // Les Cahiers de l'INHP 1994. № 27, juin: Jean Moulin et la Résistance en 1943. P. 160. Аналогичные примеры по поводу этого “исторического” произведения можно найти: *Vidal-Naquet P.* Le Trait empoisonné: réflexions sur l'affaire Jean Moulin. Paris: La Découverte, 1993.

занимаемое им положение располагать достоверной информацией? давало ли оно повод для лукавства? Приведенные вопросы делятся на две группы. Первая, которую можно квалифицировать как критику *искренности*, касается декларируемых или недекларируемых намерений свидетеля, вторая — критика *достоверности* — его объективного положения как свидетеля. Первая группа вопросов имеет целью выявление лживых утверждений, вторая — заблуждений. Если, например, возникает подозрение, что автор мемуаров пытается приписать себе особую роль, то в таком случае особенно строгие требования будут предъявляться критикой искренности. Если этот автор описывает событие или ситуацию, при которых он присутствовал, не являясь прямым участником, он, несомненно, привлечет к себе больше внимания со стороны критики достоверности, чем если бы он передавал о них со слов других.

С этой точки зрения весьма существенно классическое различие *намеренных* и *ненамеренных* свидетельств. Первые создавались с целью информировать читателя, настоящего или будущего. К этой категории свидетельств относятся хроники, мемуары, все “нарративные” источники, а также донесения префектов, монографии учителей о своей деревне для выставки 1900 г. и вся пресса... Что касается ненамеренных, или невольных, свидетельств, то они не предназначались для того, чтобы нас информировать. Так, М. Блок образно называет их “указаниями, которые прошлое непредумышленно роняет вдоль своего пути”¹. Ими могут быть частная переписка, сугубо личный дневник, счета предприятия, акты записей о бракосочетаниях, декларации о наследовании, а также различные предметы, изображения, золотые скарабеи, найденные в микенских гробницах, глиняные черепки, брошенные в колодцы XIV в., или, например, железки от гаубичных дул, которые могут сообщить о боях под Верденом больше, чем устное (сфабрированное или фальсифицированное) свидетельство из пехотной траншеи...

Критика искренности и достоверности гораздо более требовательна к намеренным свидетельствам. Однако не следует усугублять различие двух типов свидетельств, так как искусственность историка часто в том и состоит, чтобы обращаться с намеренными свидетельствами, как с ненамеренными, и искать в них нечто иное по сравнению с тем, о чем они хотели сообщить. Так, историк не занимается выяснением того, что говорится в речах, произносимых 11 ноября² перед памятником

¹ [Блок М.] Апология истории. С. 37.

² Один из трех национальных праздников во Франции — заключение перемирия в 1918 г. — Примеч. пер.

погибшим, — их содержание незатейливо и повторяется из года в год. Его больше интересуют выражения, которыми пользуются ораторы, их система противопоставлений и замен, которая помогает историку обнаружить особенности менталитета, некие новые представления о войне, об обществе, о нации. М. Блок всегда по этому поводу замечал с большим юмором: “Хотя мы обречены знакомиться с ним [прошлым] лишь по его следам, нам все же удастся узнать о нем значительно больше, чем ему угодно было нам открыть”¹.

Добровольным является свидетельство или нет, искренен и хорошо информирован его автор или нет, в любом случае не следует обманываться насчет смысла изучаемого текста (критика интерпретации). Здесь нужно обращать внимание на значение слов и выражений, на их переносное или ироническое употребление, а также на обороты речи, продиктованные ситуацией (в надгробном слове о покойнике неизбежно говорится только хорошее). Уже М. Блок находил список вспомогательных исторических дисциплин, предлагаемых вниманию студентов, слишком кратким и считал возможным добавить в него лингвистику: “По какой абсурдной логике людям, которые добрую половину времени обучения могут знакомиться с предметом своих занятий лишь через посредство слов, позволяют, наряду с прочими пробелами, не знать основных достижений лингвистики?”² Смысл понятий сильно изменился, и те из них, которые кажутся нам совершенно ясными, на самом деле наиболее опасны. Так, социальная реальность, обозначаемая понятием “буржуазный”, далеко не одно и то же для средневекового текста, для романтического манифеста или для трудов Маркса. Поэтому еще до всякой иной истории надо было бы поставить историю понятий³.

В более общем виде любой текст закодирован системой представлений, тесно связанной с языком, которым он написан. Донесение префекта эпохи Реставрации о социально-политической обстановке в сельском департаменте неосознанно и неуловимо корректируется теми представлениями, которые он имеет о крестьянстве: он видит то, что рассчитывает уви-

¹ [Блок М.] Апология истории. С. 38.

² Там же. С. 41.

³ См.: Koselleck R. Histoire des concepts et histoire sociale // Le Futur passé. P. 99–118. Козеллек приводит в пример текст Гарденберга (1907): “В любом случае разумная иерархия, которая бы не благоприятствовала одному сословию больше, чем другому, но позволяла бы гражданам всех сословий занять место друг рядом с другом в соответствии с определенными классовыми критериями, — вот что составляет подлинную и непреложную потребность государства”. Анализ разновозрастных понятий позволяет обнаружить новизну высказывания и его полемическую направленность.

деть, и то, что его изначальное представление позволяет ему воспринять; и он проходит мимо того, что не вписывается в эту схему. Следовательно, интерпретация такого донесения предполагает, что историк будет учитывать систему представлений, господствовавшую среди нотаблей того времени¹. Таким образом, учет “коллективных представлений” является необходимым элементом интерпретации текстов.

Описание критического подхода можно было бы продолжить. Однако целесообразнее остановиться подробнее на том образе мыслей, который лежит в его основе.

Критический дух историка

Порой складывается впечатление, что в основе критики источников лежит только здравый смысл и что дисциплинированность, которой требует корпорация историков, является излишней. Все это, дескать, мания эрудитов, ученое кокетство, знаки почтения для посвященных.

Такое представление как нельзя более ошибочно. Правила критики, обязанность делать сноски — не просто произвольно установленные нормы. Разумеется, эти правила проводят границу между историком-профессионалом и любителем или романистом. Но прежде всего они воспитывают отношение историка к источникам — отношение, которое приходится вырабатывать, которое не возникает спонтанно и которое формирует образ мыслей, составляющий суть данного ремесла.

Это хорошо видно при сравнении работ историков с работами социологов или экономистов. Первые, как правило, вначале выясняют происхождение документов и фактов, о которых они говорят. Допустим, речь идет о статистике забастовок. Историк не станет принимать официальные данные за чистую монету, он задумается над тем, каким образом они были собраны: кем, какими инстанциями?

Причем надо заметить, что критическая точка зрения не является естественным человеческим проявлением. Об этом очень хорошо сказал Сеньобос, взяв для сравнения человека, который падает в воду и тонет из-за своих спонтанных движений: “Научиться плавать значит усвоить привычку тормозить свои спонтанные движения и совершать движения, которые противоестественны”.

¹ См.: Corbin A. Le vertige des foisonnements; Chartier R. Le monde comme représentation; Noiriel G. Pour une approche subjectiviste du social.

Шарль Сеньобос: Критика противоестественна

...Критика противна нормальному устройству человеческого ума; спонтанная склонность человека состоит в том, чтобы верить тому, что ему говорят. Вполне естественно принимать на веру всякое утверждение, особенно письменное; с тем большей легкостью, если оно выражено цифрами, и с еще большей легкостью — если оно исходит от официальных властей, т. е. если оно, как говорится, аутентично. Следовательно, применять критику значит избрать образ мыслей, противоречащий спонтанному мышлению, занять интеллектуальную позицию, которая противоестественна. <...> Этого нельзя достичь без усилий. Спонтанные движения человека, упавшего в воду, — это все, что нужно для того, чтобы утонуть. В то время как научиться плавать значит усвоить привычку тормозить свои спонтанные движения и совершать движения, которые противоестественны.

Особое впечатление, производимое цифрами, необычайно важно для социальных наук. Цифра имеет математический вид, создающий иллюзию научного факта. Спонтанно мы начинаем смешивать “конкретность” и “точность” (“*précis et exact*”). Расплывчатое понятие не может быть совершенно точным, и вот от противоположности расплывчатого и точного, мы приходим к тождественности “точного” и “конкретного”. При этом мы забываем, что очень конкретные сведения могут быть очень ложными. Если я скажу, что в Париже проживают 526 637 душ, это будет конкретной цифрой, гораздо более конкретной, чем “два с половиной миллиона”, и все же гораздо менее верной. В просторечии мы говорим: “цифры неумолимы”, имея в виду примерно то же самое, что и говоря о “жесткой правде-матке”, подразумевая, что цифры — это наиболее совершенная форма истины. Говорится также: “с цифрами в руках”, как если бы любое предложение становилось истинным, приняв арифметическую форму. Указанная тенденция еще более усиливается, когда вместо одной цифры мы видим ряд цифр, да еще соединенных между собой арифметическими действиями. Эти действия являются научными и определенными; они вызывают ощущение доверия, распространяющееся и на фактические данные, над которыми они были произведены, и необходимо интеллектуальное усилие, чтобы суметь отличить истинное от ложного, чтобы допустить, что верное вычисление можно произвести на основе ложных исходных данных, вследствие чего результаты вычислений не будут иметь никакой ценности.

Легковерие, от которого предостерегал Сеньобос, сегодня все еще живо. По-прежнему надо противостоять авторитету официальной власти. Как никогда важно не поддаваться внушительности конкретных цифр и головокругительных чисел. Точность и конкретность — это разные вещи, и нередко приблизительные данные лучше выражают истинное положение вещей, чем иллюзорные доли числа. Историки могли бы продуктивнее использовать часто незаменимые количественные методы, если бы больше заботились о демистификации цифр и расчетов.

К этим, остающимся актуальными, предостережениям следует добавить новые. Они касаются сообщений свидетелей и возможностей изображения. Наше время, жадное до устной истории, приученное телевидением и радио непосредственно “переживать” события, придает словам очевидцев чрезмерное значение. Как-то на одном из занятий, демонстрируя возможности внутренней критики, я предложил датировать студенческую листовку концом ноября 1940 г. — в тексте были ссылки на манифестацию 11 ноября как на сравнительно недавнее событие. Но недоверчивые студенты выразили сожаление по поводу того, что нет возможности разыскать студентов 1940 г., которые, вероятно, распространяли эти листовки, и уж они-то наверняка вспомнили бы, когда это было. Как будто памяти непосредственных участников событий спустя полвека можно доверять больше, чем вполне материальным указаниям, содержащимся в самом документе.

То же самое можно сказать и об изображении. По поводу фотографии бытует мнение, что уж пленка-то непременно передает всю правду. Тем не менее оценить возможности монтажа и ретуширования можно, например, путем тщательного сличения двух фотографий, на которых запечатлено подписание германо-советского пакта о ненападении: на первой изображены только Молотов и Риббентроп, на второй — те же, но на фоне другого убранства, а за ними стоят все официальные руководители СССР включая Сталина¹. Или другой пример: зная, что во всех союзнических фильмах о Первой мировой войне показывается всего-навсего два отрывка, действительно отснятых на линии фронта, начинаешь понимать, насколько важна критика, учитывающая коллективные пред-

ставления, когда решается вопрос об использовании этого типа документов.

Следует, однако, отметить, что ни критика устных свидетельств, ни критика кинофото документов не отличаются от классической исторической критики. Это тот же самый метод, но применяемый к другим документам. Конечно, иногда критика этих документов предполагает использование специальных знаний — например точного знания условий съемки в данное время. Но, в сущности, это тот же подход, что и при работе медиевиста с его хартиями. Критический метод один, и, как мы увидим дальше, это единственный собственно исторический метод.

¹ Фальшивкой является фотография без Сталина и Политбюро, причем по двум причинам. Внешняя критика: проще оставить два центральных персонажа, а остальных стереть, чем их добавить. Внутренняя критика: после нападения Германии на Россию в Советском Союзе были заинтересованы в преуменьшении участия Сталина в подписании пакта. О критике фотодокументов см.: *Jaubert A. Le Commissariat aux archives: Les photos qui falsifient l'histoire.*

Основания и пределы критики

История: познание на основе следов прошлого

Важность, приписываемая критическому методу во всех работах по эпистемологии истории, есть верный признак того, что речь в данном случае идет о некоем центральном элементе. Отчего не может быть истории без критики? Ответ всегда один и тот же, от Ланглуа и Сеньобоса до Блока и Марру: оттого, что история занимается прошлым, и по этой причине она является познанием, которое осуществляется на основе следов, оставленных прошлым.

Нельзя определять историю как познание прошлого, как это иногда делается, на мой взгляд, несколько поспешно, потому что характеристика *“прошлый”* недостаточна для обозначения факта или объекта познания. Все *прошлые* факты в начале были фактами *настоящими*: между теми и другими нет никакого принципиального различия. *Прошлый, прошлое* — это прилагательное, а не существительное, и этим словом часто злоупотребляют, обозначая им бесконечное множество объектов, могущих иметь такой характер и, следовательно, получить такое определение.

Эта констатация влечет за собой два следствия, которым никогда не придается достаточного значения. Во-первых, она воспрещает давать определение истории по ее объекту. Науки в собственном смысле этого слова имеют каждая свою область изучения, как бы тесно они ни взаимодействовали. Астрономия изучает звезды, а не кремневые орудия и не народонаселение. Демография — та, наоборот, изучает народонаселение и т. д. А вот история может заниматься и кремневыми орудиями, и народонаселением, и даже климатом... Нет фактов, *исторических* по своей природе, как есть *химические* или *демографические* факты. Термин *“история”* не принадлежит к тому же списку, что термины *“молекулярная биофизика”*, *“ядерная физика”*, *“климатология”* или даже *“этнология”*. Как хорошо сказал Сеньобос, *“историческими факты бывают только по своему положению”*.

Шарль Сеньобос: Историческими факты бывают только по своему положению

Но как только мы пытаемся практически очертить территорию истории, как только мы пробуем провести границу между исторической наукой, изучающей антропологические факты прошлого, и современной наукой, изучающей антропологические факты настоящего, мы замечаем, что эта граница не может быть установлена, потому что в окружающей действительности нет фактов, которые были бы историческими по своей природе, подобно тому как бывают факты психологические или биологические. В просторечии слово *“исторический”* все еще употребляется в его античном смысле, т. е. *“достойный рассказа”*; именно в этом смысле обычно говорят: *“исторический день”*, *“исторические слова”*. Но от такого понимания истории уже отказались. Все когда-либо происходившее в прошлом считается историей — как костюм, который носил крестьянин XVIII в., так и взятие Бастилии; и мотивы, делающие факт достойным упоминания, могут быть бесконечно разнообразными. История охватывает изучение всех фактов прошлого — политических, интеллектуальных, экономических, большинство из которых прошли незамеченными. Казалось бы, исторические факты можно определить как *“прошлые факты”*, в противоположность фактам современным, являющимся объектом изучения описательных наук о человеке. Однако именно эту противоположность как раз и невозможно сохранить на практике. Дело в том, что различие между прошлым и настоящим фактом не связано с внутренней природой самого факта; это всего лишь различие в его положении относительно данного наблюдателя. Революция 1830 г. для нас является прошлым фактом, а для людей, которые ее совершали, — фактом настоящим. И точно так же вчерашнее заседание Палаты депутатов стало уже прошлым фактом.

Таким образом, нет фактов, исторических по своей природе; историческими факты бывают только по своему положению. Историческим является всякий факт, который мы не можем больше наблюдать непосредственно, потому что он перестал существовать. У фактов не бывает неотъемлемого от них исторического характера, историческим может быть только способ их познания. История — это не наука, это всего лишь познавательный прием.

Тогда встает вопрос, который предшествует любому историческому исследованию: как можно познать факт, который больше не существует? Возьмем революцию 1830 г.: парижане, из которых сегодня никого уже нет в живых, захватили у солдат, которые тоже уже давно умерли, здание, которого больше

нет. Или приведем пример экономического факта: рабочие, которых сегодня нет в живых, под руководством министра, также ныне покойного, основали мануфактуру "Гобелены". Как постичь факт при том, что мы не можем наблюдать ни одного из составляющих его элементов? Как познавать действия при том, что мы не в состоянии увидеть ни действующих лиц, ни сцену? Способ преодоления этих трудностей состоит в следующем. Если бы действия, которые мы собираемся познавать, не оставили после себя никаких следов, то никакое познание их не было бы возможным. Но исчезнувшие факты нередко оставляли после себя следы: иногда прямо, в форме материальных объектов, чаще — косвенно, в форме записей, составленных людьми, которые видели события своими глазами. Эти следы — документы, а исторический метод состоит в изучении этих документов для того, чтобы суметь установить прошлые факты, следами которых данные документы являются. Отправным моментом исторического метода служит непосредственно наблюдаемый документ; от него путем сложных умозаключений он восходит к прошлому факту, который ему предстоит познать. Таким образом, метод истории радикально отличается от методов других наук. Вместо того чтобы *наблюдать* факты непосредственно, историк наблюдает их опосредованно, через *умозаключения* о документах. Учитывая то, что всякое историческое познание является опосредованным, история есть по преимуществу умозрительная наука, а ее метод — *косвенный* метод, основанный на умозаключениях.

*La Méthode historique appliquée
aux sciences sociales, p. 2–5.*

Если факты не имеют неотъемлемого исторического характера, если историческим является лишь способ их познания, то из этого следует, как недвусмысленно отмечал Сеньобос, бывший тем не менее защитником "научной" истории, что "история — не наука, а всего лишь познавательный прием". Этот пункт очень часто и вполне закономерно подчеркивается. Он, например, служит обоснованием названия, которое А.-И. Марру дал своей книге: "Об историческом познании".

Как познавательный прием история есть познание на основе оставленных прошлым следов¹. По образному выражению Ж.-К. Пассерона, это "работа с утраченными объектами". История имеет дело со следами прошлого, "с информацией, за-

¹ М. Блок (Апология истории. С. 33) приписывает авторство этого "удачного выражения" Ф. Симиану. Приведенный выше более ранний по времени текст Сеньобоса показывает, что идея тем не менее уже носилась в воздухе...

ключенной в них и неотделимой от контекста, который нельзя наблюдать непосредственно"¹. Чаще всего речь идет о письменных документах: архивы, периодическая печать, монографии; но это могут быть и материальные объекты: например монеты или керамическая посуда из какой-нибудь гробницы или, несколько ближе к нам, — знамена с лозунгами профсоюзов, инструменты, подарки рабочему по случаю его ухода на пенсию... Историк работает с этим материалом для того, чтобы восстановить факты. Его работа тоже является составной частью истории; следовательно, управляющие ею правила критического метода можно считать в полном смысле этого слова основополагающими.

И тогда становится более понятным то, что говорят историки по поводу фактов. Факт есть не что иное, как результат умозаключения, основывающегося на следах, оставленных прошлым, и подчиняющегося правилам критики. Следует признать: то, что историки без различия называют "историческими фактами", представляет собой настоящий "базар", достойный описания в духе Превера. Вот, например, некоторые из этих фактов: Орлеан был освобожден Жанной д'Арк в 1429 г.; накануне Революции Франция была самой населенной страной Европы; в момент выборов 1936 г. во Франции было менее одного миллиона безработных; во времена Июльской монархии рабочий день на фабриках часто превышал двенадцать часов; в последние годы Второй империи борьба за светскость приобрела политический характер; обычай выходить замуж в белом платье распространился во второй половине XIX в. под влиянием крупных магазинов; антисемитское законодательство режима Виши не было продиктовано немцами... Что общего между всеми этими разнородными "фактами"? Только одно: все это — истинные утверждения, потому что они являются результатом методичной реконструкции на основе следов, оставленных прошлым.

Заметим между прочим, что если данный познавательный прием и является единственно возможным для познания "прошлого", его применение этим не исчерпывается. Политологи, исследующие популярность вероятных кандидатов на пост президента, специалисты по маркетингу, оценивающие возможный спрос на новый товар, экономисты, изучающие спад или возврат к росту, социологи, озабоченные напряженностью в пригородах, судьи, преследующие за наркотики или коррупцию, — все они заняты интерпретацией следов. Таким образом, применение критического метода выходит далеко за пределы истории.

¹ [Passeron J.-Cl.] Le Raisonnement sociologique. P. 69.

Нет фактов без вопросов

Однако историкам методической школы, которой историческая профессия во Франции обязана своим оформлением, эти выводы казались недостаточными. В культурном контексте конца XIX в., определявшемся влиянием экспериментального метода Клода Бернара, они видели свою задачу в том, чтобы сделать из истории “науку” в полном смысле этого слова. Отсюда борьба, которую эти историки вели против “философической” или “литературной” концепции истории.

Заявленная амбиция обязывала найти историку подобающее место относительно научного имиджа химика или натуралиста, которые, как известно, работают в лабораториях, и, следовательно, сосредоточить внимание на научном наблюдении. История, как пытались доказать Ланглуа и Сеньобос, тоже является наукой, занимающейся наблюдением. Но тогда как химик или натуралист наблюдают явления, изучаемые их дисциплиной, непосредственно, историк вынужден довольствоваться косвенным наблюдением, внушающим, следовательно, меньше доверия: ведь его, историка, свидетели — это не лаборанты, составляющие точно по графику регулярные отчеты о проведении экспериментов. Критический же метод делает историю не только познанием, но и наукой. Еще совсем недавно Сеньобос заявлял, что история не может быть наукой; и вот уже он рассчитывает, что критика позволит истории ликвидировать то расстояние, которое отделяет ее от науки.

Стремление присвоить истории статус науки объясняет то значение, которое это поколение историков придавало систематической и полной публикации критикуемых документов, их мечту составить исчерпывающий корпус всех имеющихся текстов, поступивших в распоряжение историков после тщательной критической процедуры. Отсюда же проистекала и идея окончательности достижений истории, сумевшей посредством критики надежно избавиться от недостоверных легенд и фальшивок. Отсюда, наконец, и та преемственность между средним образованием и научными исследованиями, когда последние предоставляют первому готовые к употреблению факты, так что преподавание истории становится равнозначным той же самой ученой истории, но избавленным от ее критических нагромождений...

Такая концепция истории легко может быть превращена в карикатуру на саму себя. А.-И. Марру высмеивает эрудитов-позитивистов с их идеей о том, что

мало-помалу в наших карточках накапливается чистое зерно “фактов”: историку остается лишь точно и правдиво передать их, склоняя голову перед свидетельствами, которые признаны

достоверными. Одним словом, он не реконструирует историю, он ее обретае¹.

Далее А.-И. Марру приводит цитату из работы Р.Дж. Коллингвуда², в свою очередь, ядовито высмеивавшего эту, как он ее называл, историю “ножниц и клея” (*scissors and paste history*), составленную из готовых фактов (*ready-made statements*), которые историки должны лишь отыскивать в документах, подобно тому как археолог очищает черепок от облепившей его земли.

Конечно, эта карикатура явно утрирована, и Сеньобос или кто-либо другой на его месте никогда не узнал бы себя в портрете, написанном в столь упрощенческой манере. Однако будем откровенны: в своей ежедневной работе большинство историков, ведут ли они занятия или пишут обобщающий труд, действуют по схеме Сеньобоса. Они тратят много времени на чтение работ друг друга и на переработку трудов своих коллег. Книги одних являются для других настоящими собраниями фактов, карьерами, в которых они могут найти строительный материал для собственного здания. Область истории столь обширна, а источники столь многочисленны, что было бы ошибкой отказаться от использования работы, проделанной коллегами и предшественниками, при условии, конечно, ее соответствия методологическим требованиям: каждый раз начинать все заново, идти от первоисточника — затея отчаянная и напрасная. Если бы великие предшественники методической школы были в корне неправы, если бы факты не были в каком-то отношении материалом, собранным в результате критических исследований и предназначенным для других историков, последние не стали бы утруждать себя анализом и конспектированием книг своих коллег. Прежде всего они, разумеется, берут на заметку идеи, которые желают развить или оспорить, но также отмечают и факты, которые могут им пригодиться. Надо называть вещи своими именами: любой историк без колебаний заимствует у других историков готовые факты, лишь бы они были полноценными и лишь бы он мог найти им новое применение в своем собственном построении.

Впрочем, такое разграничение установления фактов посредством критического метода и их последующей интерпретации,

¹ [Marrou H.-Y.] De la connaissance historique. P. 54.

² Признаюсь, что я испытываю к Робину Джорджу Коллингвуду слабость. Это был великий ум и, насколько я знаю, единственный философ, бывший также историком. Профессор философии в Оксфорде, Коллингвуд был также археологом и историком древней Англии. Мы обязаны ему фолиантом *Cambridge Ancient History of England* и многочисленными эрудированными статьями о Великобритании периода римского завоевания. К тому же он необычайно остроумен и читается с удовольствием...

даже если оно отвечает реальным нуждам образования, не может быть логически оправданным. Если возвести его в принцип исторического исследования, мы окажемся на ложном пути¹.

Опустим различие между прямым и косвенным наблюдением, которое не имеет большого практического значения, если учесть, что метод, как мы это видели, может, с одной стороны, применяться к исследованию настоящего, а с другой — касаться непосредственно наблюдаемых материальных следов прошлого².

Опустим также логическую невозможность практически начинать историю с критики оставленных прошлым следов. Классическое изложение исторического метода, ставящее критику во главу угла, требует такой подготовленности от историка, собирающегося критиковать тот или иной документ, что эта задача оказывается невозможной для того, кто не является историком изначально. Следует повторить: критика осуществляется путем сравнения, и поэтому невозможно установить, что документ является фальшивкой, если не знать, как должен выглядеть настоящий документ. Мы уже говорили о необходимости расшифровывать тексты, исходя из подспудных коллективных представлений, участвовавших в их создании. Только опытный историк в состоянии заниматься критикой. Это заключение подтверждается и теми трудностями, которые испытывают студенты, пишущие изложение текста: с одной стороны, наличие текста их успокаивает, у них нет того страха, который обычно вызывает чистый лист бумаги; с другой — это изложение оказывается, по мнению всех, кто участвовал в его проверке, гораздо труднее сочинения. Таким образом, историк попадает в каком-то смысле в замкнутый круг: то, что делает его историком, есть критика источников, но он может критиковать источники только уже будучи историком.

Фундаментальной ошибкой методической школы конца XIX в. было слишком упрощенное понимание связей внутри триады «документ — критика — факт». Это обстоятельство сдержанно отмечает М. Блок, явно имея в виду Ланглуа и Сеньобоса:

Многие люди, и среди них, кажется, даже некоторые авторы учебников, представляют себе ход нашей работы до странности наивно. Вначале, мол, есть источники. Историк их собирает, читает, старается оценить их подлинность и правдивость. После этого, и только после этого, он пускает их в дело. Но беда

в том, что ни один историк так не действует. Даже когда ненадолго воображает, что действует именно так¹.

В действительности и Моно, и Лависс, и Ланглуа, и Сеньобос, теоретически обосновав правила критики и выстроив вокруг них этические нормы исторической профессии, сами их не придерживались. Но они этого не осознавали, потому что сделанный ими решительный выбор в пользу изучения политики государств и функционирования различных институтов заставлял их отдавать предпочтение государственным архивам. А поскольку они полагали, что этот выбор сам собой разумеется, им и в голову не приходило ни его обосновывать, ни даже о нем объявлять. Он как бы застал им глаза, и они перестали видеть себя со стороны.

По той же причине их история предстает как исследование отдельных периодов, ибо становление интересующих их политических режимов действительно вписывается в четкие временные рамки. Этой истории-периоду принято противопоставлять историю-проблему, где постановка вопроса, будучи совершенно эксплицитной, служит вычленению объекта изучения. Противопоставление это старо: уже знаменитое поучение лорда Актона в конце XIX в. гласило: «Изучайте не периоды, а проблемы»². Фактически даже те историки, которые изучают периоды, все равно строят свою историю исходя из вопросов, но вопросов, остающихся имплицитными и, следовательно, не вполне осмысленными.

Действительно, история не может происходить из фактов: не бывает фактов без вопросов, без предварительных гипотез. Иногда вопрос может быть имплицитным; но если бы его не было вовсе, историк потерял бы ориентацию, не зная, ни что искать, ни где искать. Бывает, что вопрос кажется поначалу расплывчатым; если же он не уточняется и в дальнейшем, то исследование обречено на провал. История — это не рыбная ловля сетью; историк не закидывает свой невод наугад, чтобы посмотреть, поймаются ли рыба и какая. Мы никогда не находим ответов на вопросы, которые не задавали... И в этом история не отличается от других наук, как отмечал П. Лакомб еще в 1894 г.:

Поль Лакомб: Без гипотезы нет наблюдения

История [...] не поддается эксперименту в научном смысле этого слова. В отношении нее единственно возможным приемом

¹ В этом состоит ошибка Сеньобоса: считать, что преподавание и исследовательская работа следуют одной и той же логике. См. нашу статью: «Seignobos revisité».

² М. Блок подробно останавливается на этом вопросе в «Апологии истории» (с. 30–33).

¹ [Блок М.] Апология истории. С. 38.

² Lord Acton. A Lecture on the Study of History, Delivered at Cambridge, June 11, 1895. Londres: Macmillan, 1895. 142 p. См. также: Furet F. De l'histoire récit à l'histoire problème.

является наблюдение. Необходимо, однако, договориться о значении этого слова. Довольно часто воображают, что наблюдение состоит в том, чтобы не отводить глаз от бесконечного потока проходящих чередой явлений и ждать, когда эти явления подкинут вам по дороге одну из тех идей, которые служат обнаружению их общих черт. Но бесконечное разнообразие явлений ниспосылает лишенному концепции уму одну только неуверенность. Наблюдать как раз и означает не смотреть на все подряд рассеянным и ожидающим взглядом, а сосредоточить взгляд на определенных районах и определенных сторонах в соответствии с принципом отсечения и выбора, совершенно необходимым перед лицом необычайной множественности явлений. Только оформившаяся гипотеза, только заранее обдуманый план способны доставить этот принцип, ограничивающий угол зрения, включающий внимание в одном, специальном направлении и выключаящий его во всех других. Если очевидно то, что гипотеза требует верификации, то столь же несомненно, хотя и менее очевидно, то, что наблюдение требует предварительного построения гипотезы.

De l'histoire considérée comme science, p. 54.

Историки Школы “Анналов”, ссылаясь, впрочем, как на Лакомба, так и на Симиана, настаивали на этом пункте особо. Со свойственным ему остроумием Л. Февр, используя сравнение с деревенским трудом, совершенно справедливо разбивает в пух и прах историков, не ставящих перед собой вопросов:

...Если же историк не ставит перед собой проблем или, ставя их, не выдвигает гипотез, призванных эти проблемы разрешить — в плане ли ремесла, в плане ли техники или научных усилий, — то я с полным основанием берусь утверждать, что историк этот в умственном отношении уступает последнему из мужиков, который как-никак понимает, что негоже выпускать скотину куда попало, на первое подвернувшееся поле, где она разбредется и будет пастись кое-как, что нужно отвести ее на определенное место, привязать к колышку, выбрать именно то, а не иное пастбище. И этот мужик безусловно прав¹.

Такие историки методической школы, как Ланглуа и Сеньобос (поскольку они были сравнительно единодушны в отношении встававших вопросов), не сумели вскрыть существующей взаимозависимости между фактами, документами и вопросами. И это было слабым местом их эпистемологии, хотя надо сказать, что Сеньобос все же видел, что к документу обращаются для того, чтобы задавать ему вопросы. М. Блок при-

водит даже одно его “любопытное” высказывание, которое, без сомнения, не было простым “фанфаронством”, случайно сорвавшимся с уст его дорогого учителя: “Задавать себе вопросы очень полезно, но отвечать на них очень опасно”¹.

Зато свойственная им этика установления фактов по-прежнему остается неизблемым правилом профессии. Все современные историки, к какой бы школе они себя ни причисляли, соблюдают принципы критики. Г.-П. Пальмад в своем предисловии 1969 г. к “Искренней истории французской нации” Сеньобоса имел все основания заметить, что мы являемся “порой неосознанными и неблагодарными” наследниками основоположников исторической профессии. Мы склонны преуменьшать их вклад именно потому, что “слишком хорошо его усвоили”.

Каковы бы ни были на практике используемые документы и какие бы ни возникали вопросы, на стадии установления фактов на первый план выходит достоверность, или правдивость, текста, представленного историком на суд публики. Ведь от этого зависит ценность истории как “познания”. История основывается на фактах, и любой историк обязан приводить их в поддержку своих утверждений. Солидность исторического текста, его научная приемлемость зависят от того, насколько аккуратно и корректно автор воссоздал факты. Следовательно, обучение ремеслу историка включает в себя одновременно критический анализ, знание источников и умение формулировать проблему. Нужно учиться правильно конспектировать, правильно читать текст, не заблуждаясь относительно его смысла, значения и намерений его автора, и корректно формулировать задачи исследования. Отсюда то значение, которое имеет для исторических исследований, по крайней мере во Франции, “объяснение документов”: текстов, изображений, статистических данных и т. д. Отсюда же и значение, которое придается при оценке профессионального уровня исследователей работе с первоисточниками, ссылкам на источники, оформлению библиографии, — короче говоря, всему тому, что мы совершенно справедливо называем “критическим аппаратом”. Плохо это или хорошо для нее, но история не терпит неточностей. Или дата, сноски верны, или нет: они не могут быть чьим-то личным мнением. И для того чтобы оспаривать какую-либо версию, нужно представить иные факты, иные даты и сноски на иные источники.

Вероятно, именно этой общепринятой профессиональной этике историческая профессия обязана тем, что, несмотря на существующие внутри нее, как и внутри всякой общественной группы, разногласия, ей все же удается сохранять известное единство.

¹ Февр Л. Бои за историю: Пер. с фр. М.: Наука, 1991. С. 29.

¹ |Блок М.| Апология истории. С. 13.

Вопросы историка

Поскольку без вопросов нет фактов, нет истории, то вопросы занимают в построении истории решающее место.

Действительно, история не может определяться ни своим объектом, ни документами. Мы уже видели, что не существует фактов, исторических по своей природе, и что область потенциальных объектов истории неограниченна. Можно заниматься — и занимаются — историей всего: климата, материальной жизни, техники, экономики, общественных классов; историей обрядов, праздников; историей искусства, институтов, политической жизни, политических партий, вооружений, войн, религий, чувств (любви), эмоций (страха), чувствительности, ощущений (запахов); историей морей, пустынь и т. д. Именно вопрос конструирует исторический объект, открывая оригинальный срез безграничной вселенной всевозможных фактов и документов. С эпистемологической точки зрения вопрос выполняет фундаментальную, в этимологическом смысле этого слова, функцию, ибо именно вопрос составляет фундамент исторического объекта, позволяя ему конституироваться. Отсюда вытекают важность и необходимость постановки вопроса о вопросе в историческом исследовании.

Что такое исторический вопрос?

Вопросы и документы

Вопрос, задаваемый историком, — это не какой-нибудь наивный вопрос. Исторiku не пришло бы в голову, например, выяснять, как воспринимал природу кроманьонский человек, так как ему известно, что, за неимением источников, вопрос этот праздный. Заниматься им значит терять время. Вместе с вопросом, который задает историк (поэтому-то вопрос и позволяет конструировать факты), возникает идея о том, какие источники и документы позволяют дать на него ответ, а значит, и первичные соображения о том, как подойти к интерпретации этих источников. “Всякий раз, когда историк задает вопрос, — пишет Р.Дж. Коллингвуд, — у него в голове уже есть некоторое предварительное и нуждающееся в проверке представление о том документе, который он сможет использовать. [...] Главным грехом в науке является постановка таких вопросов, ответить на которые вы не видите возможности, что равносильно отданию заведомо невыполнимых приказов в политике”¹.

Таким образом, нет вопроса без документа, и историк никогда не задает “простых вопросов” — даже если речь действительно идет о простых вопросах. Задавая вопрос, историк не безоружен: в его вопросе уже заключено представление о потенциальных документальных источниках и методах исследования. Итак, круг замкнулся: чтобы задать исторический вопрос, нужно уже быть историком.

Робин Дж. Коллингвуд: Историческая постановка проблемы

Из всех доступных его [историка] восприятию вещей нет ни одной, которую он не мог бы предположительно использовать

¹ Collingwood R.G. The Idea of History. P. 281 (ср. имеющийся перевод: Коллингвуд Р.Дж. Идея истории: Автобиография. М.: Наука, 1980. С. 267). — Примеч. пер.

как свидетельство (*evidence*) по какой-либо теме, если бы подошел к ней с подобающим вопросом в голове. Расширение исторических знаний происходит главным образом за счет нахождения возможности использовать в качестве свидетельств те или иные известные факты, которые до сих пор историки считали для себя бесполезными.

И тогда весь воспринимаемый мир в принципе и потенциально является для историка свидетельством. Он становится действительным свидетельством в той мере, в какой историк может его использовать. А использовать его он может, только если подходит к нему с подобающими историческими знаниями. Чем больше знаний по истории мы имеем, тем больше мы можем узнать из данного конкретного фрагмента источника, если бы у нас не было никаких знаний, то мы бы ничего не смогли узнать. Источник является источником только тогда, когда кто-либо рассматривает его исторически.

The Historical Imagination, p. 19

Более того, без вопроса нет также и документа. Именно вопрос, который задает историк, позволяет возвести в ранг источников и документов те или иные (следы) оставленные прошлым. До того, как в отношении них ставится вопрос, следы прошлого даже не воспринимаются как возможные следы чего бы то ни было. Этот момент М. Блок иллюстрирует очень красноречивым примером: “Кремневые орудия в наносах Соммы изобиловали как до Буше де Перта, так и потом. Но не было человека, умеющего спрашивать, — и не было доисторических времен”¹.

Это значит, что “документ сам по себе не существует до того момента, пока не станет объектом любознательности историка”², а также то, что все может служить документом с того момента, когда данная вещь заинтересует историка. Р.Дж. Коллингвуд формулирует эту мысль следующим образом: “все в мире есть потенциальное свидетельство чего-либо”³, при условии, однако, что историк знает, как этим воспользоваться. Это хорошо знал Л. Февр, утверждавший, что наиболее захватывающая часть работы историка состоит в том, чтобы заставить говорить немые вещи.

¹ [Блок М.] Апология истории. С. 38.

² Marrou H.-I. De la connaissance historique. P. 302.

³ Collingwood R.G. The Idea of History. P. 280. (Ср.: Коллингвуд Р.Дж. Указ. соч. С. 267. — Примеч. пер.) И еще: “Свидетельством является все, что используется в качестве свидетельства, и никто не может знать наперед, что окажется полезным в качестве свидетельства, пока ему не представится случай это использовать” (Ibid.).

Люсьен Февр: Все может быть документом

История, несомненно, создается на основе письменных документов. Когда они есть. Но она может и должна создаваться и без письменных документов, когда их не существует. Причем при отсутствии привычных цветов историк может собирать свой мед со всего того, что ему позволит его изобретательность. Это могут быть слова и знаки, пейзажи и полотна, конфигурация полей и сорных трав, затмения Луны и формы хомутов, геологическая экспертиза камней и химический анализ металла, из которого сделаны шпаги, — одним словом, все то, что, принадлежа человеку, зависит от него, служит ему, выражает его, означает его присутствие, деятельность, вкусы и способы человеческого бытия. Не правда ли, часть нашей работы — работы историка, — и, без сомнения, самая захватывающая ее часть, состоит в постоянных усилиях, направленных на то, чтобы заставить говорить немые вещи, заставить их сказать нам то, чего сами по себе они не говорят, — о людях, об обществах, которые произвели их на свет, и составить из них в конечном счете разветвленную сеть подобий и взаимосвязей, восполняющую отсутствие письменного документа.

Combats pour l'histoire, p. 428.

Из примата вопроса над документом вытекают два следствия. Во-первых, это означает, что не может быть окончательного прочтения данного документа. Историк никогда не исчерпывает документы до конца, он всегда может обратиться к ним с новыми вопросами или заставить их говорить другими способами. Возьмем, к примеру, декларации о наследовании, пылящиеся на полках налоговых архивов. Масштабные архивные изыскания позволили выявить великое множество образцов таких документов и извлечь из них сведения об имущественном состоянии французов в XIX в.¹ Однако в этих источниках заключено и много другой информации — например о матримониальных правилах и приданом, если нас интересуют браки, или о профессиональных и географических передвижениях французов... Действительно, в декларации обязательно значатся имя, адрес и профессия наследников, и, не располагая другой, более специальной документацией по этому вопросу, можно было бы также почерпнуть из этих материалов сведения о смертности.

¹ См.: Les Fortunes françaises au XIX^e siècle (исследование, проведенное под руководством Аделин Домар). Paris; La Haye: Mouton, 1973; а также: Léon P. Géographie de la fortune et Structures sociales à Lyon au XIX^e siècle. Lyon: Université de Lyon-II, 1974.

Мы видим, какую фундаментальную роль играет вопрос в конструировании объекта исторического исследования. Так, декларации о наследовании могут служить источником для написания сразу нескольких историй. Именно от вопроса, с которым подходят к их изучению, зависит, будет ли это история состояний или история социальной мобильности, написанные на основе одного и того же документа, но изучаемого под разными углами зрения и разными методами. Все это ставит перед архивистами серьезные проблемы, ибо недостаток места часто вынуждает их к тому, чтобы очищать фонды от “ненужных” документов. Но разве можно знать сегодня, какие из этих документов потребуются историкам завтра, для того чтобы ответить на вопросы, которые пока еще не известны?

Во-вторых, нераздельное единство вопроса, документа и процедуры критики последнего объясняет тот факт, что обновление вопросника влечет за собой обновление методов и/или документальной базы. Не будем слишком долго развивать эту мысль — ее великолепно иллюстрирует работа Ж. Ле Гоффа и П. Нора “Заниматься историей” в трех томах, которые называются соответственно “Новые проблемы”, “Новые подходы”, “Новые объекты”. По мере того как историк ставит новые вопросы, он обнажает новые срезы реальности, доступной в настоящее время в источниках, следах прошлого, т. е. в документах. Историки XIX в. отдавали предпочтение письменным следам. Историки XX в. обратились к материалам археологических раскопок, чтобы ответить на вопросы истории материальной жизни. Они заинтересовались обрядами, символикой, церемониями, позволившими им понять культурные и социальные феномены. Документами становятся монументы, воздвигнутые в честь победившей республики, памятники умершим и деревенские колокола. Письменные же документы благодаря лингвистическому подходу и лексической статистике отныне изучаются с целью найти в них то, о чем там не говорится прямо. Устная история предоставила слово безвестным очевидцам событий. Короче говоря — у нас еще будет случай к этому вернуться, — документальная база и арсенал методов постоянно пополнялись, давая возможность отвечать на новые вопросы.

Обновление проблематики, являясь движущей силой развития исторической науки, не может, разумеется, подчиняться индивидуальным капризам историков. Новые вопросы сцеплены между собой, и один беспрестанно порождает другой. С одной стороны, коллективный интерес не стоит на месте, с другой — верификация или опровержение гипотез рождает новые гипотезы в рамках теорий, которые, в свою очередь, также не могут оставаться неизменными. Таким образом, исследование

постоянно возобновляется. Как и список исторических фактов, список исторических вопросов не может иметь конца: историю всегда нужно будет переписывать заново.

Однако в каждый конкретный момент истории есть исторические вопросы, которые сейчас не актуальны, и есть такие, которые актуальны. Первые уже набили оскомину, вторые же находятся в самом центре внимания историков. Следовательно, научный статус вопросов определяется их включенностью в поле современной проблематики корпорации. Не все они одинаково легитимны.

Робин Дж. Коллингвуд: *Источником может служить все что угодно*

Двумя необходимыми элементами исторического мышления являются данные (*data*), с одной стороны, и принципы интерпретации, с другой. Это не значит, что они вначале существуют отдельно и лишь потом входят в соприкосновение друг с другом. Они существуют вместе либо не существуют вовсе. Историк не может сначала собирать данные, а затем их интерпретировать. Только держа в голове некоторую проблему, он может приступить к поиску относящихся к ней данных. Все что угодно, может служить ему данными, если он в состоянии понять, как их интерпретировать. Данные историка — это настоящее во всем его многообразии.

Поэтому историческое исследование начинается не с собирания или созерцания сырых, еще не обработанных фактов, а с постановки вопроса, отсылающего к фактам, которые могли бы позволить ответить на него. Именно таким образом всякое историческое исследование сфокусировано на каком-либо конкретном вопросе или проблеме, определяющих его тему. Вопрос же должен задаваться лишь при наличии каких-либо оснований думать, что мы в состоянии дать на него ответ, причем такой ответ, который был бы подлинно историческим рассуждением. Иначе этот вопрос ни к чему не ведет: он будет в лучшем случае праздным любопытством, но никак не центральным моментом, ни даже одним из элементов работы историка. Именно это мы имеем в виду, когда говорим, что вопрос «имеет место» или «не имеет места». Говорить о том, что вопрос имеет место, значит говорить, что он находится в логической связи с нашими предшествующими размышлениями, что у нас есть основание ставить его и нами движет не просто капризное любопытство.

The Philosophy of History, p. 14.

Легитимность вопросов

Таким образом, судя по тому, что говорят сами историки, наиболее легитимными для них вопросами являются те, которые служат «продвижению» исторической дисциплины. Но что это значит?

Способов «продвинуть» вперед историю как науку немало. Самый простой из них — восполнение пробелов в наших знаниях. Но что такое пробел? Всегда найдется деревня, история которой еще не написана, однако может ли история п-й деревни действительно восполнить какой-то пробел? Что сообщит она нам такого, чего бы мы еще не знали? Истинным пробелом является не какой-либо дополнительный объект, история которого не написана, а вопросы, на которые у историков пока нет ответа. А так как вопросы постоянно обновляются, случается, что пробелы стираются, так и не будучи заполненными... Вопрос может потерять свою актуальность раньше, чем будет дан ответ.

У этого утверждения два следствия. Первое состоит в том, что историю никогда не переставали писать. Историки конца XIX в. полагали, что их работа станет окончательной. Но это им только грезилось. На самом деле нужно каждый раз вновь приниматься за написание истории с учетом новых вопросов и новых достижений. Это очень верно отмечал Р.Дж. Коллингвуд: *всякая история есть отчет о достигнутых на данный момент успехах в изучении данной темы. Отсюда следует, что всякая история есть в то же время история истории*. «Вот почему каждая эпоха должна переписывать историю заново»¹.

Итак, легитимность работы историка прямо не основывается на документах. Впервые предпринятое исследование, опирающееся непосредственно на документы, может быть лишено всякого научного интереса, если оно отвечает на такие вопросы, которые в настоящий момент не актуальны. И наоборот, повторное обращение к теме, осуществленное на базе предшествующих трудов других историков, может стать весьма целесообразным с научной точки зрения, если оно вписывается в новаторскую проблематику. Чтобы быть в глазах историков вполне легитимным, вопрос должен быть вплетен в сеть других, параллельных или смежных, вопросов вкупе с возможными ответами на них, и лишь работа над документами позволит установить, который из них правильный. Итак, исторический вопрос — это вопрос, который вписывается в то, что следует называть теорией.

¹ Collingwood R.G. The Philosophy of History. P. 15.

Жанр исторической биографии — хороший пример проблемы включенности в научное поле. Для политической истории биографический жанр был вполне легитимным. Школа “Анналов” стала отрицать всякий интерес этого жанра на том основании, что он не позволял охватить всю систему социально-экономических отношений. Заниматься изучением одного человека, и непременно человека известного, ибо простые смертные редко оставляют после себя следы, значит тратить время, которое лучше было бы употребить на изучение движения цен или выяснение роли главных коллективных действующих лиц истории, таких, как, например, буржуазия. По этой причине в 1950–1970-е гг. биография, по определению индивидуальная и единичная, была выдворена из научной истории, которая отныне посвятила себя всеобщему. Но биография отвечала запросам публики. Биографические серии пользовались настоящим успехом. Историки, вняв мольбам издателей, соглашались работать на заказ, вдобавок прельщенные надеждой получить известность — попасть в список Пиво¹ — и преимуществами, предоставляемыми авторскими правами. И, надо сказать, находили в этой работе интерес. Параллельно менялась теоретическая конфигурация истории. Перспектива создания синтетической, всеобщей истории, которая позволила бы понять глобальные закономерности общественного развития, становилась все более расплывчатой. Теперь уже куда интереснее было разобраться на конкретных примерах в функционировании социальной, культурной и религиозной сфер. В этом новом контексте статус биографии меняется, и она вновь обретает легитимность. Но это уже не прежняя биография и уже не только биография “великих” людей: отныне она пытается не просто определить, каково было влияние личности на события, но понять через эту личность взаимодействие различных логик и сопряжение побочных факторов.

Естественно, определение меняющегося поля легитимных вопросов составляет властную прерогативу внутри исторической профессии, ибо властью обладают те, кто решает, какая именно постановка вопроса наиболее подходящая. Одной из таких властных структур являются редколлегии научных журналов, осуществляющие отбор статей для публикации и в силу этого имеющие такое большое значение в истории дисциплины. Полемика “Анналов” с историзирующей историей может служить хорошим примером конфликтов внутри корпорации по поводу определения легитимных исторических

вопросов. Аналогичный пример, относящийся к концу 1970-х гг., — атака истории, провозгласившей себя “новой”, против истории, объявленной в силу этого традиционной. Таким образом, весьма различные по составу и численности группы историков противостоят друг другу в теоретических спорах, в основе которых лежит борьба за научную гегемонию в своей профессии, за гегемонию, которая предполагает материальные и символические преимущества, такие, как возможность влияния на профессиональный рост или распределение престижных должностей. Научные конфликты являются также социальными конфликтами особого типа. Этот двойной аспект хорошо выражается формулой “конфликты научных школ”, поскольку термином “школа” обозначается и некая группа ученых, и теория, с которой она себя отождествляет.

Множественность полюсов, вокруг которых организована историческая профессия, а также ее контакты с зарубежными историками не позволяют этим завуалированным конфликтам вылиться в борьбу за установление настоящего господства. Вместе с тем конфликты содействуют изменению конфигурации правомерных с исторической точки зрения вопросов. Они порождают историографическую “моду” и целые поколения работ, вдохновляемых одной и той же проблематикой. Короче говоря, они являются немаловажным фактором историчности самих исторических вопросов.

Но история исторических вопросов — это не только история, научная и социальная, историографических “школ”, и она зависит не только от факторов, действующих внутри исторической профессии. Ведь последняя теснейшим образом связана с обществом, ради которого она работает и которое, в свою очередь, ее кормит. С другой стороны, историческая профессия состоит из конкретных людей, и каждый из них имеет свои личные мотивы для занятий историей. Итак, исторический вопрос ставится не только в недрах профессии, но и в недрах общества и, кроме того, конкретными людьми. В этом полярность данной проблемы, и нам предстоит в ней разобраться.

¹ Имеется в виду издание: La bibliothèque idéale: Bernard Pivot présente / Sous la dir. de P. Boncenne. Paris: Albin Michel, 1980. (Рекомендации по составлению домашней библиотеки. — Примеч. пер.)

Социальная укорененность исторических вопросов

Общественная целесообразность и научная целесообразность

Не вся историческая продукция, предлагаемая вниманию наших современников, является одинаково приемлемой с научной точки зрения.

Некоторые исторические сочинения выполняют чисто развлекательную функцию. Их цель — дать людям возможность отвлечься, помечтать, затеряться во времени в поисках экзотики, подобно научно-популярным географическим журналам, предлагающим экзотические путешествия в пространстве. Это прежде всего та историческая продукция, которая пользуется успехом в средствах массовой информации и продается в привокзальных киосках. Не стоит пренебрегать выполняемой ею социальной функцией, которая не столь уж безобидна, так же, как и репортажи “Пари-Матч” о правящей фамилии Монако или каталоги туристических агентств. В глазах историков эта анекдотическая история, которую интересуют частная жизнь коронованных особ, нераскрытые преступления, нашумевшие эпизоды, странные обычаи, не заслуживает особого внимания. Однако несостоятельность этой медиативной истории проистекает не из ее методов, которые могут вполне отвечать требованиям научной критики, а именно из ничтожности поставленных ею вопросов.

Отметим между прочим ту общественную власть, которой облечена в данном случае историческая профессия. На каком, собственно, основании можно утверждать, что любовные похождения маркизы де Помпадур или убийство Дарлана являются пустыми вопросами, в то время как история горняков Кармо в интерпретации Ролана Трампе, история представлений французов о береговой линии в версии Алена Корбена или история книги в XVIII в. достойны изучения? Именно историческая профессия решает, насколько приемлемо то или иное историческое сочинение, и устанавливает критерии его оценки, подобно тому как медицинская профессия отвергает

или признает медицинское значение за вакцинацией или гемопатией. В этом и состоит вполне реальная власть, от которой часто достается авторам воскресного исторического чтения.

Есть вопросы, обладающие общественной значимостью. Например отнюдь не бесполезно посвящать статьи и телепередачи годовщине высадки в Нормандии или обороны Веркора. Поставленные вопросы не новы, и медиапродукция в данном случае никак не “продвигает” историю вперед в глазах профессионалов. Почему высадка была произведена именно в этом месте французского побережья? Почему ответный удар немцев не оказался более оперативным и массированным? Историкам хорошо известны ответы на эти вопросы, однако все нелишне изложить или напомнить их обществу по случаю 50-летия событий.

История, которая таким образом отвечает на то, что принято называть немного расплывчатым, но удобным термином “социальный заказ”, вполне в состоянии удовлетворять всем требованиям профессии. Разумеется, она включает в себя также историю, которая изучается в школе. И это может быть хорошая история, созданная на базе источников и с учетом последних достижений. Иногда она имеет также и научную значимость, обновляя если не документальную базу, то по меньшей мере проблематику. Для исторической профессии важно, чтобы эта история создавалась профессионалами: оставить популяризацию в руках журналистов, специализирующихся в области истории, было бы столь же опасно для нее, сколь и отказаться от подготовки преподавателей для лицеев и колледжей. Хотя, конечно, в основном научная значимость этой истории, как и учебников по истории, весьма сомнительна: переловые рубежи науки проходят через нее достаточно редко.

Впрочем, и вопросы, обладающие научной значимостью, т. е. те, которые “двигают вперед” историю, так или иначе не лишены значимости общественной. Общественная правомерность не сообщает вопросам правомерности научной, но может удачно дополнять ее. Например, история профессионального образования во Франции представляет сегодня значительный интерес и в общественном и в научном плане. Как в этой стране, и только в этой стране, была создана мощная система профессионального образования? Почему во Франции решили обучать рабочих специальностям в школе? Вопросы эти интересуют всех: профессионалов, руководителей предприятий, профсоюзы, политиков, ибо они проясняют современные тенденции развития этой сферы и облегчают принятие решений. Но они интересуют и историков, которые рассчитывают таким образом прийти к новому пониманию связи между техниче-

ским развитием, социальными отношениями на предприятии, структурой профессиональных отраслей, отношениями между предприятиями и государством. Случилось так, что я относил корректуру моей “Истории образования” издателю 11 мая 1968 г., т. е. наутро после ночи баррикад. Признаюсь, я испытал чувство некоторой общественной полезности, пытаюсь включить историю, бывшую до сих пор чисто институциональной, в историю социальную, отвечающую научным запросам того времени... Разумеется, счастливые стечения обстоятельств не исключены, но и не гарантированы.

Однако соединение общественной и научной значимости не есть лишь дело случая: если случайность порой и помогает устроить все наилучшим образом, то лишь потому, что историки — и как отдельные люди и как группа — не стоят в стороне от общества, в котором живут, и вопросы, задаваемые ими, даже рассматриваемые как “чисто” исторические, всегда несут в себе отголоски проблем их времени. Вопросы эти обычно тут же становятся интересны и для общества, в недрах которого они поставлены.

Историчность исторических вопросов

В самом деле, любой исторический вопрос задается *hic* и *nunc* человеком, находящимся в обществе. Даже если он хочет повернуться к этому обществу спиной и видит функцию истории в чистом, беспристрастном познании, он все равно не может не принадлежать своему времени. Любой вопрос задается с каких-то позиций. Сознание историчности точки зрения историка и обусловленной этой историчностью необходимости периодически переписывать историю стало одной из характерных черт процесса конституирования современной исторической мысли в конце XVIII в., как это показано Рейнгартом Козеллеком. Здесь уместно привести слова Гете: “Время не стоит на месте, и в каждый его момент у людей складываются определенные взгляды, заставляющие их по-новому смотреть на свое прошлое”¹. Каждая эпоха, таким образом, подчиняет написание истории своим воззрениям.

Например ставить вопрос об истории какой-нибудь семьи, о ее генеалогическом древе, брачных союзах, изучать правление какого-нибудь короля — все это имело смысл в Средние века, когда хронисты нередко находились в зависимости от

правителей, а также при Старом порядке. Сам Вольтер начинает свою деятельность на поприще истории с “Истории Карла XII” (1731), за которой следует “Век Людовика XIV” (1751). Но времена менялись, и Вольтер пришел к пониманию того, что гораздо больше, нежели короли и их дворы, внимания историка заслуживают изменения в законах и нравах — то, что Гизо, во многих отношениях бывший наследником эпохи Просвещения, назовет вслед за Вольтером, но только уже в период Реставрации, “цивилизацией”.

Имена Огюстена Тьерри и Жюль Мишле связаны с расцветом романтизма. Отныне в центре внимания оказывается народ как коллективный герой истории; особое место в исторических произведениях отводится живописной детали, местному колориту; одним из излюбленных сюжетов становятся Средневековые, но не вообще, а лишь то романтическое Средневековые, которому был обязан своим появлением модный в то время стиль “трубадур”. Одним из вопросов, волновавших представителей той эпохи, были франкские корни французской нации. Этот вопрос, в свою очередь, перекликался с вопросом об истоках дворянства и таким образом смыкался с проблемой сословного общества и Революции. Мы уже отмечали значение этого контекста для истории XIX в.

Что же касается историков методической школы, полагавших, что они пишут чисто научную историю, спокойно-равнодушную к социальной проблематике, то они ставят вопросы о нации и общенациональных институтах, т. е. важнейшие политические вопросы своего времени. Лишь после победы 1918 г., когда республиканское устройство стало неоспоримым фактом, были наконец поставлены и другие вопросы. Эти — экономические и социальные — вопросы стали отражением коллизий эпохи, охваченной экономическим кризисом и классовой борьбой. Лабрусс, бывший адвокатом, а затем, в 1920 г., журналистом-коммунистом, обращается к изучению экономических истоков Французской революции в тот самый момент, когда экономический кризис 1930 г. подрывает основы французского общества.

Описанная историческая конфигурация меняется в 1970-е гг. Выше уже говорилось о влиянии на эту эволюцию интеллектуального контекста, появления новых общественных наук и структурализма. Следует также подчеркнуть значение таких факторов, как отход от марксизма, раскол рабочего движения, рост индивидуализма. В наше время с его движением за освобождение женщины, искусственным прерыванием беременности и избирательным правом с 18 лет в поле зрения новой истории оказываются такие вопросы, как пол, смерть, праздник.

¹ Цит. по: Koselleck R. Le Futur passé. P. 281.

Конечно, речь идет о глобальных соответствиях, и на этой стадии обобщения не будет большим преувеличением констатировать наличие связи между вопросами историков и тем историческим моментом, в который они живут. Но иногда эта связь бывает еще более прямой. Мы видели это на примере Лабрусса. Хотя то же можно было сказать уже об авторе “Малого Лависса”¹: тот факт, что этого певца национального самосознания специально интересовала история Пруссии при Фридрихе II в период, когда объединение Германии под властью Бисмарка угрожало Франции, свидетельствует о прямой связи между историческим вопросом и историческим контекстом.

Но это также прямая связь между вопросом историка и задающим этот вопрос человеком.

Личностная укорененность исторических вопросов

Груз обязательств

Никто не удивился, когда бывший министр финансов, отойдя от политических дел, посвятил свой досуг написанию книги о “Немилости Тюрго”: нетрудно было догадаться, что историческое исследование предпринималось с целью дать оправдание своей только что завершившейся деятельности. Однако и профессиональные историки почти ничем не отличаются от талантливого любителя, каким был Эдгар Фор, — просто их политические убеждения менее очевидны и они не так прямо вовлечены в политическую жизнь. Хотя и не всегда. Если поближе присмотреться к вопросам, которые их интересуют, то можно лишь удивляться тому, сколь велико значение их вовлеченности в политическую и общественную жизнь или, наоборот, их отстраненности от нее.

Конечно, это не новость. Возьмем, к примеру, Шарля Сеньобоса. Лучшее из его исторических произведений — фундаментальный учебник для высшей школы в четырех томах под названием “История современной Франции”, охватывающий период со Второй империи до 1918 г. Это была очень современная политическая история. Сын депутата-республиканца от департамента Ардеш, протестант, Сеньобос был активным дрейфузаром. Позже он участвовал в составлении петиций против “трехлетнего” закона¹, а в 1917 г. поддерживал “пацифистский” комитет. Разве не очевидна связь между его гражданской позицией и историей, которую он пишет?

Понятно, что эта связь более непосредственна для историков современности, нежели для других. Таково, например, целое поколение историков, доказавших научное значение истории рабочего класса. Среди них — К. Виллар (гедисты), М. Реберью (Ж. Жорес), Р. Трампе (горняки Кармо), М. Перро (стачка), Ж. Жюльяр (Ф. Пелутье). Это также поколение дви-

¹ Имеется в виду краткое издание многотомной “Истории Франции” под редакцией Э. Лависса. — *Примеч. пер.*

¹ Закон 19 июля 1913 г. об увеличении срока военной службы до трех лет. — *Примеч. пер.*

жения Сопротивления, знакомое с коммунистической партией в апогее ее славы и примкнувшее к делу рабочего движения. Историки коммунизма, такие, как, например, А. Кригель или Ф. Робрие, часто сами были партийными функционерами и, зная партию изнутри, переносили в свои исторические исследования непосредственное знакомство с партийными нравами.

Точно так же многие историки католицизма или протестантизма являются верующими католиками или протестантами. Среди них, как и среди историков коммунистического движения, есть, конечно, и перебежчики, и не согласные с церковью священники, требующие снятия с них сана. Но есть среди них и верноподданные, знания или имя которых используются церковью.

И наконец, третий и последний пример, касающийся современной истории: это наблюдающийся в настоящее время подъем истории еврейства, истории вишистского антисемитизма, геноцида и концлагерей. Причем историки, посвятившие себя этой теме, часто являются выходцами из семей, ставших жертвами преследований.

Было бы, однако, ошибочно полагать, что специалисты в области новейшей истории являются единственными, кто платит дань своим политическим взглядам. Очень часто то же самое можно сказать и об историках Французской революции. Первый заведующий кафедрой истории Сорбонны А. Олар был профессором филологии и занимал этот пост не столько благодаря своему образованию, сколько в силу своих убеждений. Ближе к нам — пример А. Соболя, никогда не скрывавшего своих коммунистических взглядов.

Правда, не все историки занимаются политикой, но профессиональный интерес историков к эволюции человеческих общностей является фактором, благоприятствующим участию в политической и общественной жизни, и это участие в среде историков, вероятно, имеет место чаще, чем вообще среди населения того же уровня культуры. Это обстоятельство не дает, однако, возможности предсказывать заранее их политические симпатии — историков можно найти в любом лагере, — равно как не делает их участие в политике автоматическим. Можно привести в пример известных историков, которые как раз решили не участвовать в политике, чтобы целиком посвятить себя истории, — такова была позиция историков “Анналов”. Впрочем, в “Странном поражении” Марк Блок спрашивал себя: “Нам остается лишь по большей части право сказать, что мы были хорошими рабочими. А всегда ли мы были достаточно хорошими гражданами?”¹ И, подтверждая свои слова

собственной жизнью, в то время как Л. Февр продолжал вопреки его воле издавать “Анналы”, а Лабрусс согласился временно читать лекции в Сорбонне, чего Блок не мог делать, будучи евреем, он, несмотря на свои 55 лет, вступает в ряды Сопротивления: история его гибели хорошо известна. По творчеству М. Блока, Л. Февра, Ф. Броделя, если говорить лишь о тех, кого уже нет в живых, не видно, какая именно общественная деятельность питала их научный поиск. Но дело также в том, что общественная деятельность, гражданская и политическая активность, хоть она и является незаменимым в некоторых отношениях общественным опытом — к этому мы еще вернемся, — есть далеко не единственный вариант причастности историка как человека к тем вопросам, о которых он пишет как историк.

Груз личности

В любом “интеллектуальном” ремесле задействована сама личность. Нельзя годами заниматься изучением философии, литературы или истории без того, чтобы это изучение не оказывало какого-то воздействия на личность изучающего. Не думаю, что можно быть хорошим историком, не имея хоть капли страсти к этому делу, которая является признаком сильной личной заинтересованности. Экзистенциальная укорененность любопытства историка объясняет постоянство поиска, труд, который затрачивает историк, а также, следует признать это, то удовольствие, ту радость, которые порой приносит это ремесло.

Здесь могли бы сказать свое слово психоаналитики. Можно сказать, что бессознательно уверенно прокладывает себе путь в творчестве историков. Но вопрос этот почти совсем не исследован. Тем не менее сошлюсь на книгу Ролана Барта “Мишле”: явное увлечение этого великого историка кровью, например, заставляет задуматься о чем-то очень глубинном. Как бы то ни было, у историка завязываются с объектом его изучения некие интимные отношения, в которых постепенно утверждается его собственная личностная сущность. Работа над жизнью и смертью людей прошлого превращается в работу над своей собственной жизнью и своей собственной смертью. Эволюция с течением жизни его научных интересов — это также история его личностной сути. Именно этим объясняется тот интерес к эго-истории, который наблюдается в последнее время.

Поэтому совершенно необходимо учитывать и всячески прояснять политическую, религиозную и общественную активность

¹ Bloch M. L'Étrange Défaite. Paris: Albin Michel, 1957. P. 217–218.

автора исторического произведения. Близкое знакомство с объектом изучения, которое предполагает подобная активность, представляет собой незаменимый козырь: знание того, как могут обстоять дела внутри изучаемой группы, может подсказать плодотворные гипотезы, адресовать к документам и фактам, которые вряд ли бы привлекли внимание стороннего наблюдателя. Однако не менее очевиден и риск быть пристрастным: сторонником или противником, защитником или обвинителем. Страсть ослепляет; она порождает желание искать правых и виноватых, разоблачать извращенность и злой умысел или восхвалять щедрость и здравомыслие. Не признавая, что им движет стремление к сведению счетов или восстановлению справедливости, историк рискует слишком быстро, без кропотливой работы по их построению, принимать на веру факты и придавать им чрезмерное значение. Как и любое другое благоприятное стечение обстоятельств, близкое знакомство с предметом благодаря личному участию в соответствующей деятельности — это тоже риск. Оно позволяет историку быстрее и дальше продвинуться в понимании изучаемой темы, но оно же может помутить ясность его ума под воздействием аффектов.

Читатель, отмечая этот недостаток, говорит, что данному историку не достает “отстраненности”. Иными словами, в некотором смысле для того, чтобы схватить историю, нужно подождать, пока она остынет. Но это лишь самое общее соображение. Двухсотлетие Французской революции продемонстрировало, что двух веков оказалось недостаточно, чтобы охладить страсти. Даже историки античности порой привносят в свои работы очень современные вопросы. Нам никогда не понять той энергии, с какой историки Третьей республики занимались Демосфеном и сопротивлением Афин Филиппу Македонскому, если мы не разглядим на заднем плане за королем-завоевателем фигуру Бисмарка, а за греческим городом-государством — Французскую республику.

Конечно же, истории необходима “отстраненность”. Но эта отстраненность не создается автоматически благодаря удалению во времени, и чтобы она возникла, недостаточно просто ждать, когда она возникнет. Нужно профессионально писать историю настоящего, причем на основе документов, а не воспоминаний, соблюдая при этом определенную дистанцию. В этом смысле, как говорит Роберт Фрэнк, история настоящего времени не должна быть непосредственной, спонтанной историей¹: надо преодолевать эту спонтанность, а для этого историку не следует спешить с наведением мостов и поиском опо-

¹ Frank R. Enjeux épistémologiques de l'enseignement de l'histoire du temps présent // L'Histoire entre épistémologie et demande sociale. P. 164.

средований между настоящим и своей интерпретацией его истории. Это, в частности, предполагает выяснение вопроса о его личном участии в описываемых событиях. Впрочем, историки-республиканцы начала века были лишены той робости, которую некоторые демонстрируют сегодня перед лицом недавнего прошлого¹. Отстраненность — это не некая временная дистанция, являющаяся необходимым предварительным условием для того, чтобы история стала возможной: она создается самой историей.

Но прояснение личного участия историка необходимо не только для “еще не остывшей” истории или для истории настоящего времени: оно требуется в любом случае. Как говорит А.-И. Марру, ссылаясь на Кроче, “любая история современна”:

любая истинно историческая проблема (т. е. то, что Кроче противопоставлял “анекдоту”, возникшему из чистого и тщетного любопытства), даже если она касается самого отдаленного прошлого, есть не что иное, как драма, разыгрывающаяся в сознании сегодняшнего человека: это — вопрос, который историк задает сам себе, как он есть, “в реальной ситуации” своей жизни, своего круга, своего времени².

Пренебрегая этой включенностью исторического вопроса в сознание историка, находящегося *hic* и *nunc*, мы тем самым одурачиваем самих себя. Замечание это не ново: оно было сделано еще Брэдли в 1874 г.:

Не бывает истории без предвзятости: истинное различие — это различие между автором, который не знает, в чем состоит его, может быть, ложная предвзятость, и автором, который упорядочивает факты и творит, сознательно исходя из оснований, которые ему известны и на которых строится то, что есть для него истина. Лишь осознавая свою предвзятость, история начинает становиться действительно критической и воздерживается (насколько это возможно) от фантазий, свойственных художественной литературе³.

¹ Жорж Вейль, например, опубликовал в 1909 г. в издательстве Alcan “Историю либерального католицизма во Франции с 1828 по 1908 г.”, не потерявшую своей ценности и по сей день. А последний том “Истории современной Франции” Сеньобоса, вышедший в 1922 г., оканчивается Версальским мирным договором. Сегодня же, если вы опубликуете в 1994 г. работу, которая хронологически завершается выборами 1993 г., вас просто сочтут дерзким.

² [Marrou H.-J.] De la connaissance historique. P. 205.

³ Bradley F.H. Les Présupposés de l'histoire critique. P. 154.

Вероятно, больше всего в данном случае отсутствие ясности в отношении своей собственной позиции угрожает неангажированным историкам, полагающим себя чистыми учеными, ибо они не ощущают в той же мере необходимости признаться самим себе в том, какие мотивы ими движут. “Мы вправе делать все при условии, что знаем, что мы делаем” — гласит обычный здравый смысл. Но историк-то как раз никогда и не занимается только историей. А.-И. Марру, бывший крупным знатоком истории раннего католицизма, специалистом по святому Августину и в то же время верующим католиком, деятелем левого католического крыла, прекрасно сформулировал это требование.

Анри-И. Марру: Вскрывать причины его [историка] любопытства

Мне кажется, что научная честность требует, чтобы историк путем сознательного усилия определял направленность своей мысли, вносил ясность в свои постулаты (в той мере, в какой это возможно); чтобы он показывал себя в действии, заставлял нас присутствовать при генезисе его труда: как и почему он выбрал свою тему и почему сформулировал ее именно так; что он искал в ней и что нашел; пусть он опишет свой внутренний маршрут, ибо всякое историческое исследование, если оно действительно плодотворно, предполагает некое продвижение в душе самого автора: “встреча с другим”, неожиданности и открытия обогащают и преобразуют его. Одним словом, пусть он предоставит нам весь тот материал, который скрупулезная интроспекция в состоянии дать ему для того, что я, по терминологии Сартра, предложил называть “экзистенциальным психоанализом”.

De la connaissance historique, p. 240.

То, что Марру называет “экзистенциальным психоанализом”, эта работа по выявлению мотиваций, есть в действительности некий катарсис, очищение, отсечение лишнего. В этом смысле история — не времяпрепровождение и не источник дохода, а в чем-то личная аскеза, завоевание внутренней свободы. Создаваемая историей отстраненность — это также отстраненность по отношению к самому себе и своим собственным проблемам. Здесь-то и усматривается вся серьезность истории. Конечно, история — это знание, но это также и работа над самим собой. Слишком мало сказать, что история есть школа премудрости. Историк, пишущий историю, создает самого себя. Эта мысль прекрасно выражена у Мишле.

Жюль Мишле: Меня создала моя книга...

Я весь в моей книге. Она была единственным настоящим событием в моей жизни. Но нет ли опасности в таком отождествлении книги и ее автора? Разве труд не окрашивается временем и чувствами того, кто его создал?

Именно это мы всегда и наблюдаем. Нет такого портрета, как бы точен и близок к модели он ни был, в который не была бы вложена частица его автора. [...]

Если это — недостаток, то надо признать, что он нам очень на руку. Историк, который лишен этого недостатка, который пытается писать и оставаться незамеченным, не быть, наблюдать за событиями со стороны, это не историк.

Проникая в объект, мы начинаем любить его, и с этого момента мы смотрим на него со всевозрастающим интересом. Трепетное сердце при более внимательном рассмотрении видит тысячу вещей, невидимых безразличному большинству. В этом взгляде происходит смешение истории и историка. Плохо это или хорошо? Здесь происходит нечто такое, что нигде не описано и что мы должны вскрыть.

Дело в том, что история с течением времени создает историка в гораздо большей степени, чем создается им сама. Меня создала моя книга. Это я был ее творением: сын произвел своего отца. И если вначале она вышла из меня, из пыла (еще смутного) моей молодости, то впоследствии именно она придала мне сил, а моему уму — ясности, она сообщила мне плодотворный жар и реальную способность воссоздавать прошлое. Если мы похожи, то это хорошо. Те черты, которые перешли к ней от меня, есть в значительной мере те черты, которыми я был обязан ей, которые я от нее унаследовал.

Предисловие к “Истории Франции”, изд. 1869 г., см.: Ehrard J., Palmade G. L'Histoire, p. 264-265.

Не надо, однако, бросаться из одной крайности в другую. Если историк, в том числе и тот, который считает себя самым “научным”, оказывается лично вовлечен в историю, которую он пишет, из этого не следует, что нужно расценивать его дискурс как простое субъективное мнение, зависящее от настроения и отражающее груз его подсознания. Именно для того, чтобы достичь высшей рассудочности, историк и должен прояснять свою ангажированность, свой персональный интерес. Подчеркивание роли субъекта-историка не должно размывать объекты истории, если мы не хотим отказываться от претензии на общественно значимый, а значит, основывающийся на доводах дискурс. Об опасности “гипер-

трофии роли субъекта-историка” предупреждал Филипп Бутри:

...в то время как его историка занимает в качестве абсолютно-го властителя то место, где некогда царствовал необработанный и, так сказать, простодушный *факт* эпохи сциентизма, любой более или менее радикальный пересмотр способности человеческого разума к достижению какой бы то ни было истинности познания прошлого огульно отбрасывает все известные объяснительные модели и кокетливо упивается систематической экспериментальной проверкой бесконечно “пересматриваемых” гипотез и интерпретаций. Порой кажется, что историк, став хозяином положения, утратил понимание смысла своей дисциплины, который не может заключаться ни в чем ином, кроме постижения каждым последующим поколением сохранившейся памяти о людях, вещах и словах, которых больше нет¹.

Вопрос историка должен, таким образом, строиться в направлении от более субъективного к более объективному. Будучи глубоко укорененным в личности того, кто его задает, он формулируется только в увязке с документами, в которых может быть найден ответ. Сообразуясь с теориями — а иногда и с модой, — получившими распространение внутри профессии, вопрос историка выполняет одновременно три функции: профессиональную, социальную и — более интимную — персональную.

Такой анализ исторического вопроса, доказывающий сложность истории как науки, позволяет пролить некоторый свет на неизменную проблему объективности в истории. Объективность не может проистекать из позиций, на которой стоит историк, ибо его точка зрения является необходимо обусловленной, необходимо субъективной. Не бывает точки зрения Сириуса в истории. И тот историк, который вознамерился бы придерживаться ее, был бы просто безумцем: он расписался бы в своей полной наивности. Скорее следует говорить не об объективности, а о беспристрастности и правде. Но ведь они могут появиться только благодаря стараниям самого историка, поскольку находятся не в начале, а в конце его работы. А это, в свою очередь, усиливает значение метода.

¹ Boutry Ph. Assurances et errances de la raison historique // Passés recomposés. P. 67.

Времена истории

Вероятно, мы могли бы написать все то же самое, если бы предметом нашего исследования была социология: достаточно было бы заменить слово “история” на слово “социология”, а слово “историк” — на “социолог”. Ведь действительно, все дисциплины, которые так или иначе интересуются человеком в обществе, задают источникам от лица профессиональной группы и данного общества вопросы, имеющие также и личный смысл для того, кто их задает. То, что отличает вопрос историка и позволяет отделить его от вопроса, поставленного социологом или этнологом, и есть тот пункт, которого мы еще не касались: его диахронное измерение.

Непрофессионал прав, когда узнает исторический текст по наличию в нем дат. Это не без злорадства отмечал Леви-Строс.

Клод Леви-Строс: Нет истории без дат

Нет истории без дат. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть, как учит историю школьник: он сводит ее к некоему худосочному телу, скелет которого составляют даты. Этот иссушающий метод не без основания критиковали, но часто впадая в противоположную крайность. Если даты — это еще не вся история и не самое интересное в истории, то во всяком случае они — то, без чего сама история исчезла бы, поскольку ее оригинальность и специфика состоят именно в постижении отношения между предшествующим и последующим, которое неизбежно растворилось бы, если бы, по крайней мере предположительно, эти понятия не могли быть датированы.

Ведь хронологическое кодирование скрывает за собой гораздо более сложную природу, чем можно себе представить, если рассматривать исторические даты как простой линейный ряд.

La Pensée sauvage, p. 342.

Вопрос историка направлен от настоящего к прошлому, его интересуют происхождение, развитие и изменение явлений во времени, фиксирующиеся с помощью дат. История — это работа над временем. Но временем сложным, временем реконструированным, многогранным. Что же это за время, которым пользуется история, одновременно его реконструируя, и которое составляет одну из ее фундаментальных особенностей?

История времени

Социальное время

Первая особенность времени, в которой в общем-то нет ничего удивительного: время истории — это время различных общественных коллективов: обществ, государств, цивилизаций. Это время, служащее ориентиром для всех членов некоей группы.

Замечание настолько банально, что для понимания его истинного значения придется обозначить то, что оно исключает. Время истории не является ни физическим, ни психологическим временем. Его нельзя считать временем небесных тел или кварцевых часов, которое может делиться до бесконечности на строго одинаковые единицы. Оно похоже на него своей линейной направленностью, своей делимостью на устойчивые периоды: века, годы, месяцы, дни. Но оно несомненно от него отличается, потому что не может служить некими внешними рамками, пригодными для любого опыта. «Историческое время не является бесконечностью фактов, подобно тому как геометрическая прямая есть бесконечность точек»¹. Время истории — не единица измерения: историк не пользуется временем для измерения царствований и их сравнения между собой — это не имело бы никакого смысла. Время истории в каком-то смысле встроено в вопросы, в документы, в факты; оно представляет собой саму субстанцию истории.

Еще менее историческое время является психологической длительностью, не поддающейся измерению и состоящей из неодинаковых по интенсивности и плотности сегментов. Хотя в некоторых отношениях оно с ней сравнимо. Пятьдесят два месяца, которые длилась война 1914–1918 гг., несомненно, не исключают некоторой аналогии с несколькими неделями, проведенными между жизнью и смертью в больнице. Военное время всегда тянется очень долго... Революционное время или время майских событий 1968 г., наоборот, были временем,

¹ Ariès P. Le Temps de l'histoire. P. 219.

пролетевшим очень быстро. Историк считает то по дням и даже по часам, а то — по месяцам, годам или того больше. Но эти колебания, свойственные течению исторического времени, являются коллективными, они не зависят от психологии отдельного человека. Их можно объективировать.

Логично предположить, что время истории находится в соответствии с самим объектом исторической дисциплины. Изучая людей в обществе — мы к этому еще вернемся, — история пользуется социальным временем, ориентирами во времени, общими для членов одного и того же общества. Но не все общества имеют одно и то же время. Время сегодняшних историков — это время нашего современного западного общества. Оно стало результатом долгой эволюции, многовекового завоевания. В рамках данного очерка невозможно полностью обрисовать историю этого процесса, тем более что в значительной мере она еще не написана. Но представляется необходимым наметить хотя бы основные вехи и выявить важнейшие направления этого долгого завоевания¹.

Унификация времени: христианская эра

Время нашей истории является упорядоченным, т. е. имеет начало и направление. Благодаря этому оно выполняет первую и основную функцию — функцию упорядочения: позволяет непротиворечивым и общепризнанным образом расставить факты и события. Эта унификация была осуществлена с наступлением христианской эры: наше время ведет отсчет от того основополагающего события, каким было рождение Христа. Само событие датируется весьма условно, так как, по мнению интерпретаторов, общепринятая дата рождения Христа отличается на несколько лет от даты рождения реального исторического лица — Иисуса Христа, что усиливает абстрактность и символичность этой безусловно необходимой вехи, так похожей на алгебраическое начало координат из-за своих положительных и отрицательных дат (до и после н. э.).

Лишь в XI в. христианская эра, ведущая свое начало от рождения Христова, безраздельно утверждается в христианском мире, а экспансия колониальных империй — испанской, нидерландской, британской и французской — распространяет ее

на весь остальной мир. Но завоевание это не было скорым и полностью еще не завершено.

Повсеместное утверждение христианской эры повлекло за собой отказ от чрезвычайно распространенной круговой концепции времени. Такой взгляд на время существовал в Китае и Японии, где события датировали по годам правления императора: первым годом считался год начала правления. Но правления складывались в династии или эры, каждая из которых следовала одним и тем же маршрутом — от своего основания неким могущественным монархом до заката и падения. Каждая династия соответствовала одному из пяти времен года, одной из кардинальных добродетелей, одному из символических цветов и одной из пяти стран света. Время там, таким образом, являлось частью самого порядка вещей¹.

Цикличное время было очень характерно и для Византийской империи. Византийцы переняли у Римской империи пятнадцатилетний фискальный цикл — индикт — и начиная с крещения Константина (312 г.) вели счет времени по индиктам. Индикты следовали один за другим и нумеровались так, что любая дата означала такой-то год такого-то индикта: например, третий год 23-го индикта. Но поскольку современники знали, в каком индикте они находятся, они не всегда брали на себя труд уточнять, когда датировали документ, номер индикта — мы ведь тоже, ставя дату в письме, не всегда упоминаем год. Это было в каком-то смысле время, вращающееся по кругу.

В Западной Римской империи события датировались годами консульства, а затем, для большего удобства, — годами правления императоров. В Евангелии от Луки мы находим пример такого летосчисления, когда речь идет о начале общественной жизни Христа: «В пятнадцатый год правления императора Тиберия, когда Иудеей управлял Понтий Пилат, а Ирод был тетрархом Галилеи, его брат Филипп — тетрархом областей Итуреи [...] при первосвященниках Анне и Кайафе»². Путем прибавления одних правлений к другим и составления списков консулов историки разработали хронологию от основания Рима, ab urbe condita, а счет этот был столь же мудрым, сколь и ненадежным и не вошел в общую практику. После распада Римской империи отсчет времени стали вести относительно различных правителей. Для монархов указывали дату начала их правления, а для монахов — основание их аббатства или период их священства. Хронисты соглашались с

¹ В первую очередь мы адресуем читателя к работам Бернара Гене, К. Помяна, Р. Козеллека и Д.-С. Мило: Guénée B. Histoire et Culture historique dans l'Occident médiéval; Pomian K. L'Ordre du temps; Koselleck R. Le Futur passé; Milo D.-S. Trahir le temps; и, конечно же, к уже цитировавшемуся Ф. Арьесу.

¹ См.: Bourgon J. Problèmes de périodisation en histoire chinoise // Périodes. P. 71–80. Пять стран света — это четыре наших плюс центр.

² Лк. 3, 1.

таким делением, позволявшим установить правильную последовательность, но при этом каждое королевство или каждое аббатство становились как бы отдельной областью со своей собственной картой, масштабом и символами. Впрочем, датировка по правлениям или магистратурам на местах сохранялась очень долго. Еще сегодня можно встретить ее следы — такие, например, как доска на фасаде церкви Сент-Этьен дю Мон в Париже, уведомляющая прохожего о том, что строительство церкви было начато при Франциске I и завершено при Людовике XIII. Что же касается простых людей, то они жили во времени, структурировавшемся полевыми работами и церковными обрядами: это было по преимуществу циклическое время без начала и конца. Разница заключалась лишь в месте данного конкретного момента внутри цикла: Троица, конечно, всегда шла после Благовещения, но та же самая последовательность повторялась из года в год.

То, что все эти множественные циклические времена в конечном счете сошлись в рамках единого календаря христианской эры, объясняется двумя важнейшими причинами. Первой было стремление найти соответствие между различными временами, расставить друг относительно друга правления властителей известных на тот момент частей света. То было медленное осознание единства человечества, возникновение понятия всеобщей истории. Ф. Арбес относит это явление к III в. н. э.:

Ни в эллинистическом мире, ни даже в Риме не существовало идеи всеобщей истории, соединяющей все времена и все пространства. При соприкосновении с еврейской традицией христианизировавшийся латинский мир открыл для себя, что род человеческий имеет взаимосвязанную историю — всеобщую историю: это был важнейший момент, к которому следует отнести появление современного понимания Истории; он приходится на III век нашей эры¹.

Необходимо отметить, что в возникновении этого понимания решающую роль сыграла история: для того чтобы смогла зародиться идея общности человечества, нужны были истории или, по крайней мере, хронисты. Идея эта не была данностью непосредственного сознания; она явилась продуктом стремления к обобщению, первой формой которого станет впоследствии синоптическая таблица.

Наступление христианской эры было вызвано и другой причиной: необходимостью совместить унаследованный от римлян солнечный календарь с унаследованным от иудаизма

лунным календарем, по которому строилась вся религиозная жизнь. Действительно, важнейший христианский праздник Пасха не приходится каждый год на одно и то же число. Отсюда проистекали очень большие трудности с ведением счета времени от Страстной недели, как вполне логично начали бы делать христиане; но как прибавлять один к другому годы, которые не начинаются в одно и то же время? Для этого нужна была настоящая наука летосчисления, компутизма и составления календаря. Тем, что в начале VIII в. выбор был сделан в пользу церковного календаря, основанного на рождестве Христа, мы обязаны английскому монаху Беде Достопочтенному. Нужно отдать должное его смелости — он не побоялся изобрести отрицательное летосчисление: «В шестидесятом году до Воплощения Господа Кай Юлий Цезарь стал первым Римлянином, кто пошел войной на Британцев»¹. На континенте первый документ, датированный годом Богоявления, относится к 742 г., но повсеместное утверждение христианской эры происходит лишь в XI в.²

Включение церковного и гражданского календаря в христианскую эру представляло собой глобальную перемену. Христианский мир и прежде пытался составить календарь, так как ему надо было разделить год на сакральные промежутки времени. Но календарь этот был циклическим, в нем не было заключено представление об эре. Что касается эры, то это понятие линейное, продолжительное, закономерное и направленное. Пока события датировали по царствованиям и понтификатам, историческое повествование разворачивалось в соответствии с логикой добавления — логикой анналов и хроник, ограничивавшихся тем, чтобы расставить излагаемые факты по местам, не слишком интересуясь их иерархией и ссылаясь как на явления природы (наводнения, суровые зимы), так и на политические события (сражения, браки и смерти правителей). История же предполагает нарративную, каузальную логику, связывающую факты друг с другом, и эра сообщает ей необходимые для этого рамки. Но эта эра еще не вполне является временем людей, ибо остается временем Бога.

¹ *Historia ecclesiastica gentis anglorum*. Vers 726. См.: *Milo D.-S.* Trahir le temps. Ch. 5: Esquisse d'une histoire de l'Ère chrétienne.
² См.: *Guénée B.* Histoire et Culture historique. P. 156.

¹ [Ariès Ph.] *Le Temps de l'histoire*. P. 100.

Направленное время

Предложить время, которое доводило бы до нас, — это была неслыханная претензия. Это было не чем иным, как секуляризацией времени. Когда деятели Французской революции пытались сделать из начала республиканского правления событие, открывающее новую эру и вытесняющее собой рождение Христа, они тем самым изменяли не только начало времени, но и его конец. Они заменяли время, ведущее к концу света, на время, ведущее к ним. Уже одно это представляло собой величайшее изменение, ставшее в то время возможным благодаря тому, что оно было принесено на гребне развития “современного” общества и “современной” культуры.

Для христианского мира, по крайней мере до эпохи Возрождения, конец света был в действительности единственным настоящим конечным пунктом времени. Между распятием Христа и Страшным судом время людей стало временем ожидания возвращения Бога: временем, не имевшим надлежащей плотности и консистенции. “Вам неизвестен ни день, ни час...” Бог — единственный властелин времени. Следовательно, в цепочке дней не могло произойти ничего по-настоящему важного, ничего по-настоящему нового ни для отдельных людей, ни для обществ. Цикличное время продолжало жить в христианской эре. Юноша отличается от старика, но когда и он в свою очередь состарится, между ними не будет никакой существенной разницы. Течение времени не обещает ничего, кроме конца времен, второго пришествия. Время неподвижно, статично. “Ничего нового под солнцем...” — говорил Екклесиаст, сын Давида. Деятели немецкой Реформации Меланхтон все так же вписывается в это статичное время, когда утверждает в начале XVI в.: “Люди умирают, а в мире все остается по-прежнему”¹.

В этой досовременной временной фактуре, которую впоследствии заменит собственно историческая темпоральность, люди всех возрастов в каком-то смысле являются современниками. Мастера, создававшие средневековые витражи, как и художники кватроченто, не видели никакой проблемы в том, чтобы изобразить какого-нибудь щедрого дарителя в современном костюме в окружении святых или волхвов: они принадлежали к одному миру и к одному времени. Р. Козеллек комментирует с этой точки зрения известную картину Альтдорфера, написанную в 1529 г. для герцога Баварского и хранящуюся в

Пинакотеке Мюнхена, — “Битва Александра”¹. Персы на этой картине похожи на турок, которые в тот момент осадили Вену, а македонцы на ландскнехтов, участников битвы при Павии. Изображения Александра и Максимилиана накладываются друг на друга. На своей картине Альтдорфер указал число сражающихся, убитых и пленных, но не указал даты. Дело в том, что дата не имела для него значения. Между вчера и сегодня нет никакой разницы.

Современное время, напротив, несет с собой необратимые различия; оно делает после несводимым к до. Это — плодотворное, богатое новизной время, которое никогда не повторяется и каждый момент которого уникален. Оно предполагает своего рода ментальную революцию, для осуществления которой требуется не один день.

Эпоха гуманизма и Возрождение становятся первым этапом на этом пути. Вновь обращаясь к античности и ее мастерам, как в литературе вслед за Петраркой, так и в искусстве, гуманисты второй половины XV в. делят историю на три эпохи: между античностью и временем, в которое они живут, пролегла промежуточный период, *media aetas*, наши Средние века, нечто вроде черной дыры, характеризующейся как потеря всего того, что составляло совершенство античности. Эти взгляды разделяют и деятели Реформации, стремящиеся вернуться к истокам первоначальной веры, которая впоследствии была извращена.

Но и гуманисты, и деятели Реформации, и вообще люди эпохи Возрождения все так же воспринимают лишь стационарное время: они надеются возродить уровень древних, но не превзойти его. Лишь в середине XVI в. начинает зарождаться идея возможного прогресса. Так, в представлении Вазари, автора истории художников, скульпторов и архитекторов 1550 г., послание античности было в свое время забыто, и теперь современники вновь приобщаются к нему, но они уже способны творить лучшее. Таким образом, возвратиться к истокам означает для него превзойти; то, что было кругом, становится восходящей спиралью.

Можно проследить развитие этой идеи, являющейся частью нашего современного восприятия темпоральности, на протяжении XVII и XVIII вв. Мы можем отметить в этой связи, например, Фонтенеля, заявившего в 1688 г.: “Люди не вырождаются никогда, а здравомыслие все новых великих умов будет непрерывно умножаться”². Особенно характерным было такое восприятие для деятелей эпохи Просвещения, таких, как

¹ Koselleck R. Le Futur passé. P. 19.

¹ См.: Koselleck R. Le Futur passé. P. 271.

² Цит. по: Pomian K. L'Ordre du temps. P. 119.

Тюрго с его “Философической картиной последовательного развития человеческого разума” (1750). Наконец, необычайное ускорение сообщает развитию этих взглядов Французская революция: современное представление о времени утверждается в тот период как нечто очевидное. Философ Кант восстает, например, против тезиса о том, что все будет оставаться таким же, как и всегда: нет, будущее будет другим, т. е. лучшим. Время истории, наше время, которое тогда восторжествовало, — это время прогресса.

По прошествии трагического XX в. мы знаем, что будущее может быть и худшим, по крайней мере временно. Мы не можем, следовательно, разделять оптимизм XIX в. Но этот оптимизм имплицитно остается в представлениях наших современников, которые едва ли верят в то, что прогресс может остановиться, что уровень жизни перестанет повышаться, что права человека так и будут игнорироваться рядом правительств. Время, в котором движется наше общество, — это восходящее время; впрочем, и ученики, которым предлагается изобразить время в виде прямой линии, никогда не рисуют ровную или нисходящую линию...¹ Несмотря на вполне конкретные опровержения и отсутствие логической необходимости, мы остаемся верны времени прогресса, тому времени, которое непременно должно вести к лучшим временам. Чтобы в этом убедиться, достаточно отметить употребление терминов “регресс” и “возврат назад”, используемых для обозначения всего того, что опровергает эту норму.

Это восходящее время, богатое новизной и сюрпризами, есть время, в котором движется наше общество. Но для того чтобы его использовать, историки подвергают его некоторым преобразованиям.

¹ См.: Sadoun-Lautier N. Histoire apprise, Histoire appropriée. Ch. 3. Ученики изображают время либо стрелкой, направленной вверх, либо волнистой линией, либо ступенчатой линией, но тоже восходящей, и никогда — горизонтальной или нисходящей.

Историческая реконструкция времени

Время, история и память

Для выяснения характерных особенностей времени историков имеет смысл сравнить его с временем наших современников в том виде, в каком это позволяют сделать этнологи. Вот, например, бургундская деревня Мино, ставшая объектом углубленного исследования¹. Этнологи отмечают там наличие той самой современной темпоральности, когда настоящее не похоже на прошлое и рассматривается как другое и лучшее. Но при этом оно противостоит некоему весьма смутному прошлому без дат, без веж, без этапов. Разделение на *до* и *после* прослеживается очень четко, однако прошлое предстает в качестве некоего неподвижного времени, которое мы не можем проследить в обратном направлении.

Время истории и современная темпоральность сами являются продуктом истории. Р.Дж. Коллингвуд² попробовал представить себе сообщество рыболовов, которые в результате технического прогресса стали вылавливать вместо десяти рыб в день двадцать. Внутри этой общины молодежь и старики отнеслись бы к произошедшим переменам по-разному. Так, старики стали бы ностальгически вспоминать ту солидарность, к которой побуждала старинная техника ловли. Молодые же указали бы на освободившееся таким образом время. Оценки тесно связаны с тем образом жизни, которому отдается предпочтение. Чтобы сравнить два образа жизни и две техники лова, придется написать их историю. Вот почему, продолжает автор, революционеры могут считать, что совершаемая ими революция является прогрессом лишь в той мере, в какой они также являются историками, т. е. в той мере, в какой они способны понять тот образ жизни, который, несмотря на это, отвергают.

¹ См.: Zonabend F. La Mémoire longue: Temps et histoires au village. Paris: PUF, 1980.

² Коллингвуд Р.Дж. Идея истории: Автобиография. С. 310–311.

Сравнение прошлого с настоящим предполагает, что время истории является объективированным. С точки зрения настоящего это время уже истекло и вследствие этого приобрело известную устойчивость; в него можно сделать экскурс в случае надобности. Историк поднимается и опускается во времени, он разматывает его нить в обоих направлениях, хотя прекрасно знает, что время движется только в одну сторону. Ф. Арьес с волнением отмечает тот момент — вторая половина XVIII в., — когда один историк, писавший о Жанне д'Арк, весьма осторожно относившийся к чудесам, ничуть не опасаясь, говорит:

Перенесемся на какое-то время в XV век (подчеркнем эту фразу, в которой заявлено новое и современное понимание Истории. — А. П.). Речь идет не о том, что мы думаем о Жанне д'Арк, но о том мнении, которое имели о ней наши предки; потому что именно это мнение произвело поразительную революцию, которую мы и собираемся здесь рассмотреть¹.

Постоянное лабиринтирование между прошлым и настоящим, а также между различными моментами прошлого и есть операция истории. История выстраивает специфическую, знакомую темпоральность — почти как протоптанный маршрут в лесу, со своими ориентирами, своими требующими осторожности или, наоборот, удобными участками. Историк, сам находясь во времени, в каком-то смысле дистанцируется от своей работы и ставит вехи, нужные ему для исследований, метит время своими зарубками, сообщает ему некую структуру.

Это объективированное время характеризуется еще двумя чертами. Прежде всего, оно исключает телеологическую точку зрения, пытающуюся найти объяснение предшествующим событиям в последующих. То, что происходит в более поздний период, не может служить причиной того, что случилось в более ранний. Подобный образ мыслей вовсе не такой уж естественный и очевидный, как это считается, даже сегодня, и телеологические объяснения отнюдь не исчезли. В книге одного социолога, посвященной совсем другой теме, можно, например, прочесть, что для подавления Парижской коммуны французская буржуазия отдала Эльзас-Лотарингию Германии. Историк подпрыгивает от такого утверждения: preliminary мир был подписан 1 марта 1871 г., тогда как Коммуна была провозглашена лишь 18-го...

Отказ от телеологической точки зрения не позволяет историку допустить существование столь четко направленного вре-

мени, каким оно представляется современникам. Направление времени уже не определяется "относительно некоего идеального состояния, которое находится вне его или в его конце и к которому оно стремилось бы — если не для того, чтобы его достичь, то, по крайней мере, для того, чтобы приблизить его асимптотически. Мы выявляем это направление исходя из эволюции некоторых признаков. [...] Именно сами исследуемые процессы своим ходом сообщают времени определенную топологию"¹. Тем не менее в общественном представлении, как и в построении историка, время является фактором новизны, чреватым неожиданностями. Оно находится в движении и имеет направление.

Отсюда вторая его черта: оно делает возможным прогноз. Не пророчество, возвещающее конец света, каковы бы ни были эпизоды и перипетии, отделяющие нас от него, а именно прогноз, направленный от настоящего к будущему, опирающийся на диагноз, основанный на прошлом, в целях предвидения возможного развития событий и оценки степени его вероятности.

Рейнгарт Козеллек: Пророчество и прогноз

В то время как пророчество выходит за горизонт просчитываемого опыта, прогноз, как известно, сам вкраплен в политическую ситуацию. Причем в такой степени, что сделать прогноз уже само по себе означает изменить ситуацию. Прогноз, таким образом, — это сознательный фактор политического действия, он делается в отношении событий путем обнаружения их новизны. Поэтому каким-то непредсказуемо предсказуемым образом время всегда выносится за пределы прогноза.

Прогноз создает время, которое его порождает и на которое он проецируется, тогда как апокалиптическое пророчество уничтожает время, так как конец времени и есть смысл его существования. С точки зрения пророчества, события — не более чем символы того, что уже известно. Пророк, предсказания которого не сбылись, не может быть смущен своими собственными пророчествами. Последние, со свойственной им гибкостью, в любой момент могут быть продлены. Более того, по мере увеличения количества несбывшихся ожиданий растет уверенность в том, что свершение неизбежно. Наоборот, неудавшийся прогноз больше не повторяется, даже по ошибке, ибо остается в плену своих исходных посылок, определенных раз и навсегда.

Le Futur passé, p. 28–29.

¹ [Ariès P.] Le Temps de l'histoire. P. 155.

¹ Pomian K. L'Ordre du temps. P. 93–94.

Будучи объективированным, дистанцированным, ориентированным на будущее, которое не имеет обратной силы воздействия на него, но вероятные очертания в развитии которого можно угадывать, время историков разделяет эти свойства со временем индивидуальной биографии: каждый может воссоздать свою личную историю, до некоторой степени объективировать ее, скажем, пересказывая свои воспоминания, вернуться из настоящего в детство или от детства перейти к моменту профессионального становления и т. д. Память, как и история, имеет дело с уже истекшим временем. Разница лишь в отстраненности, в объективации. Время памяти, время воспоминаний никогда не может быть целиком объективировано, дистанцировано, и в этом заключается его сила: оно переживает все заново с неизбежным аффективным зарядом. Оно неумолимо искривлено, видоизменено, переработано в зависимости от последующего опыта, наделившего его новыми значениями.

Время истории строится вопреки времени памяти. В противоположность тому, о чем часто пишут, история — это не память. Ветеран войны, посещая побережье, где когда-то был высажен десант, сохранил память и об этом месте, и о дате события, и обо всем, что довелось пережить: это было вот здесь, тогда-то, и даже спустя пятьдесят лет он все еще переполнен воспоминаниями. Он вспоминает раненых и убитых товарищей. Затем он посещает мемориальный комплекс и переходит от памяти к истории, начинает понимать масштабы высадки, оценивать людские массы, технику, стратегические и политические цели. Холодный и ясный регистр рассудка приходит на смену более горячему и беспорядочному регистру эмоций. Речь идет уже не о том, чтобы вновь пережить, а о том, чтобы понять.

Это не значит, что нужно не иметь памяти, чтобы заниматься историей, или что время истории — это время смерти воспоминаний. Скорее дело в том, что то и другое относится к разным регистрам. Заниматься историей никогда не значит пересказывать свои воспоминания или пытаться восполнить их отсутствие посредством воображения. Заниматься историей означает конструировать научный объект, историзировать его, как говорят наши немецкие коллеги, и историзировать в первую очередь путем реконструкции его временной, дистанцированной, манипулируемой структуры, поскольку диахронное измерение и есть то самое неотъемлемое свойство, которое составляет специфику истории на общем поле всех социальных наук.

Иными словами, время не дано историку как какое-то время, где-то там существующее еще до начала его исследования.

Оно выстраивается историком благодаря специальной работе, являющейся частью ремесла историка.

Работа над временем. Периодизация

Первым шагом в работе историка является составление хронологии. Сначала он восстанавливает последовательность событий. Упражнение это кажется несложным. Но часто оно готовит нам сюрпризы, ибо события налегают друг на друга, наслаиваются одно на другое. Чтобы не совершать насилия над данными, хронологический порядок должен быть гибким, взвешенным, понятным. Он должен представлять собой, так сказать, первичное обтесывание.

Второй шаг — второй логически, ибо на практике обе эти операции часто смешиваются, — это периодизация. На первый взгляд она является чисто практической необходимостью: нельзя охватить целое, не разделив его на части. Подобно тому как география, для того чтобы изучать пространство, делит его на регионы, история делит время на периоды¹. Но не все срезы могут считаться равноценными: надо находить такие, которые имели бы смысл и позволяли бы выявлять относительно взаимосвязанные ансамбли. Платон сравнивал философа с хорошим поваром, умеющим разделывать курицу *kat' arthra*, т. е. по суставам. Сравнение это в полной мере относится и к историку: он должен уметь находить подходящие сочленения, чтобы разрезать историю на периоды, иными словами, заменять неуловимую непрерывность времени некоей начинающей структурой.

Основное значение периодизации состоит в том, что она затрагивает в самой хронологии центральную проблему современной темпоральности. Поскольку время является носителем нового, неожиданного, то необходимо найти способ увязать вместе то, что изменяется, и то, что сохраняется. Проблема непрерывности и/или прерывности кажется столь избитой лишь потому, что она неотделима от нашего представления о времени. Периодизация позволяет мыслить одновременно непрерывность и прерывность. Прежде всего, она соотносит их с разными моментами времени: непрерывность имеет место внутри периодов, а прерывность — между периодами. Периоды следуют один за другим и не похожи друг на друга. Периодизировать значит, таким образом, выявлять прерывность, нару-

¹ м.: Grataloup C. Les régions du temps // Périodes. P. 157–173.

шения преемственности, указывать на то, что именно меняется, датировать эти изменения и давать им предварительное определение. Но внутри отдельного периода преобладает однородность. Можно пойти еще дальше. Разделение на периоды всегда содержит долю субъективности. В каком-то смысле все периоды являются “переходными”. Историк, давая определение двум различным периодам, подчеркивает некое изменение и обязан сказать, в каких именно отношениях они различаются, а в каких — хотя бы подспудно, имплицитно, а как правило, и эксплицитно — похожи друг на друга. Периодизация как раз и занимается идентификацией преемственности и ее нарушений. Она открывает путь интерпретации. Она делает историю если и не вполне доступной пониманию, то, по крайней мере, уже мыслимой.

История понятия “век” служит тому подтверждением. Фактически это понятие было “создано” Французской революцией¹; до того оно имело весьма приблизительный смысл. Так, “век” Людовика XIV для Вольтера означал просто долгое правление, а не столетний период, имеющий ясные отличительные черты. Но с Революцией пришло ощущение капитального изменения, контраста, и отныне начало нового века воспринимается как поворотный момент. Родившись из сравнения между веком уходящим и веком грядущим, понятие “век” позволяет осмыслить это сравнение как непрерывность и прерывность в одно и то же время. Поэтому-то век у историков обладает определенной пластичностью: так, XIX век кончается для них в 1914 г.; или, например, есть долгий XVI в., а есть короткий.

Итак, история не может обойтись без периодизации. Тем не менее в среде представителей этой профессии у периодов сложилась дурная репутация. Начиная с лорда Актона, которому предписывают известное изречение “*Study problems, not periods*”², и кончая радикальной критикой П. Вейна и Ф. Фюре³, понятие периода ставит перед исследователями серьезную проблему.

В самом деле, речь идет о готовом, остывшем периоде, периоде, который историк унаследовал от своих предшественников, а вовсе не о живой периодизации. Разработка периодизации единодушно признается абсолютно законной деятельностью, и ни один историк не может без нее обойтись. Но результат этой деятельности кажется по меньшей мере подозрительным. Период принимает вид произвольно установленных

и принудительных рамок, оков, деформирующих реальность. Дело в том, что, коль скоро оказывается создан исторический объект под названием “период”, он неизбежно начинает функционировать автономно. “Творение начинает отвердевать”¹. Преподавание истории еще больше содействует этому окаменению исторических периодов: педагогическое изложение стремится к ясности и простоте, оно придает периодам своего рода очевидность, которой в действительности они не содержат. Чтобы в этом удостовериться, достаточно иметь опыт преподавания истории того периода, который еще не подвергся указанным процессам. Я вел занятия по истории Франции с 1945 г. до наших дней в то время, когда учебников по этому периоду еще не было. Естественно, передо мной встала проблема периодизации: что взять за начало очередного этапа — 1958 г. и конец Четвертой республики или 1962 г., окончание войны в Алжире и выборы президента республики на основе всеобщего голосования? Я попробовал и то и другое. Каждая из дат имела свои преимущества и свои недостатки. Преподаватели в результате остановят свой выбор на одной из них, и она утвердится столь же непреложно, как, например, дело Дрейфуса и связанный с ним переход от “прогрессивистской” к “радикальной” республике.

Историк не занимается реконструкцией времени во всей его полноте для каждого нового исследования: он берет то время, над которым уже работали другие историки и периодизация которого имеется. Поскольку задаваемый вопрос приобретает легитимность лишь в результате своей включенности в исследовательское поле, историк не может абстрагироваться от предшествующих периодизаций: ведь они составляют язык профессии. Можно говорить о “начале XX в.”, о “высоком” и “низком” Средневековье, о “Возрождении”, о “Просвещении”. Впрочем, эти периоды-исторические объекты тоже имеют свою историю. Мы уже видели, как Возрождение (придется прибегнуть к этому периоду-объекту) “изобрело” Средневековье...

Институционализация периодов происходит не только через преподавание и язык. Они фиксируются и университетскими структурами. Кафедры, темы дипломов закрепляются за периодами, способствуя их дальнейшей консолидации. Институционализация распространяется далеко за пределы четырех крупнейших классических периодов — античности, Средних веков, нового и новейшего времени, причем с парадоксальной произвольностью обозначений, когда “новейшая” история не

¹ См.: *Milo D.-S.* Trahir le temps. Ch. 2: «...et la Révolution “crea” le siècle».

² Изучайте периоды, а не проблемы (англ.).

³ См.: *Veyne P.* L'Inventaire des différences; *Furet F.* L'Atelier de l'histoire.

¹ *Dumoulin O.* La guerre des deux périodes // *Périodes...* P 145–153.

считается “новой” и в то же время вовсе не обязательно современна нам самим... Среди нас есть специалисты по XVI, XVIII, XIX, XX вв. и т. д.

Время историков предстает, таким образом, как уже структурированное, уже артикулированное время. Преимущества такого положения вещей не менее очевидны, чем его недостатки. Среди преимуществ, помимо уже отмечавшегося — опасного — языкового удобства, можно указать на упрощение доступа к источникам, поскольку делопроизводство, типы документов, места их хранения подчиняются часто членению на периоды. Однако период представляет и подлинно научный интерес: он указывает на то, что одновременность не является случайным совпадением, простым рядом положением, связывающим факты разного порядка. Различные элементы, составляющие период, более или менее тесно связаны между собой. Они “идут вместе”. Это — *Zusammenhang* немцев. Они объясняют друг друга. Целое учитывает части.

Недостатки являются как раз обратной стороной этих преимуществ. Они — двух порядков. Прежде всего, замкнутость периода в самом себе не дает возможности увидеть его оригинальность. Для того чтобы понять религию римлян, надо выйти за пределы периода, который мы называем “Древним Римом”, как того требует П. Вейн, и обратиться к феномену религии в целом. Но это вовсе не означает отсутствия связей между древнеримской религией, римским правом, семейными структурами, обществом... Никто не обречен на то, чтобы оставаться запертым в “своем” периоде. Неотъемлемым своим свойством исторического времени является как раз то, что оно дает возможность двигаться по нему в любом направлении, к низовью или верховью, и от любой точки.

Вдобавок периоду ставится в вину то, что он создает искусственное единство между разнородными элементами. Современная темпоральность — это также обнаружение неодновременности в одновременном, или, иначе, современности того, что не является современным¹. Жан-Мари Мейер любит говорить, что в один и тот же момент сосуществуют несколько Франций различного возраста. Можно лишь подписаться под таким замечанием. Начиная с конца XVIII в. время, которое постоянно производит что-то новое, уже не воспринимается как производящее это новое с одинаковой скоростью во всех секторах общества. Историки пользуются такими терминами, как “передовой” или “отсталый”: социальное развитие “отстает” от экономического или развитие идей “опережает”...

¹ “Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen” (Koselleck R. L'Ordre du temps. P. 114, 121).

Революция 1848 г. в Германии происходит “слишком рано” и т. д. Эти обороты речи означают, что в один и тот же момент времени не все наблюдаемые элементы находятся на одной и той же стадии развития, или, если выразить это парадоксальным образом, играя на двух значениях слова: не все современные элементы современны.

Множественность времен

Дело в том, что каждый исторический объект имеет свою собственную периодизацию. Об этом совершенно справедливо и с юмором говорил Марк Блок.

Марк Блок: У каждого явления — своя периодизация

Пока мы ограничиваемся изучением во времени цепи родственных явлений, проблема в общем несложна. Именно в этих явлениях и следует искать границы их периодов. Например, история религии в царствование Филиппа-Августа, история экономики в царствование Людовика XIV. А почему бы Луи Пастеру не написать: “Дневник того, что происходило в моей лаборатории при втором президентстве Гриви”? Или, наоборот: “История дипломатии в Европе от Ньютона до Эйнштейна”?

Легко понять, чем соблазняло деление по империям, королям или политическим режимам. За ним стоял не только престиж, придаваемый давней традицией проявлениям власти. [...] У какого-то события, у революции есть на шкале времени место, установленное с точностью до одного года, даже до одного дня. А эрудит любит, как говорится, “тонко датировать”. [...]

Но не будем поклоняться идола мнимой точности. Самый точный отрезок времени — не обязательно тот, к которому мы прилагаем наименьшую единицу измерения, [...] а тот, который более соответствует природе предмета. Ведь каждому типу явлений присуща своя, особая мера плотности измерения, своя, специфическая, так сказать, система счисления.

Апология истории, с. 103–104.

Таким образом, у каждого исторического объекта — своя специфическая периодизация. Нецелесообразно придерживаться политической периодизации для изучения экономического развития или истории религии, и наоборот. С другой стороны, абсолютизация этой позиции приводит к разложению времени на множество времен, не имеющих между собой

никакой связи. Абсолютное отрицание периода в качестве динамичной единицы незамедлительно превратилось бы в признание несостоятельности разума, который, таким образом, откасался бы от обобщений. Мы в данном случае находимся перед противоречием, которое нам следует принять к сведению (впереди будут и другие), ибо мы не можем принести в жертву ни одну из двух ветвей альтернативы без того, чтобы не отказать от чего-то очень существенного.

Большинство историков испытали на себе это противоречие, так и не разрешив его. Ранке восставал против разделения истории на три периода, однако и он использовал эти категории, вкладывая в них свое содержание¹. Сеньобосу было прекрасно известно, что периоды имеют искусственный характер, что они “воображаемые деления”, введенные историками². Л. Февр подчеркивал “исключительно тесную взаимозависимость элементов каждой данной эпохи” и одновременно сокрушался по поводу нарушающей преемственность произвольности³. Ф. Бродель, спросив себя: “Так есть это исключительное и краткое совпадение между всеми разнообразными временами жизни людей или нет?”, пишет далее целых пятнадцать страниц, констатируя: “Нет социального времени как единого и простого потока, но есть социальное время с тысячей ускорений, с тысячей замедлений”⁴.

Нам нужно, следовательно, найти средство, с помощью которого можно сделать это противоречие пригодным для использования и плодотворным. Иерархизация времен позволяет это осуществить путем сочленения одних времен относительно других примерно так же, как использование глубины кадра позволяет постановщику фильма показать совершенно отчетливо сразу несколько персонажей, когда они выстраиваются на разном расстоянии от объектива.

Это и есть то, на что замахнулся в своем “Средиземноморье” Ф. Бродель, и, как известно, весьма успешно. Различение им трех времен стало классическим и даже претерпело те самые перевоплощения, которые мы описывали выше, — от творения до отвердевания. Действительно, этот известный текст, несмотря на то что он является введением к диссертации,

состоящей, в соответствии с традиционными правилами французской академической риторики, из трех частей¹, и, как любое введение, имеет своей целью обосновать предлагаемый план, продолжает пленять как своим непреходящим значением, так и своей элегантностью. Бродель идет от более широкого, более общего к частному. Он посвящает первую часть своей работы географическому и материальному контексту, вторую — экономике, а третью — политическим событиям. Эти три относительно взаимосвязанных и относительно независимых объекта соответствуют трем многоуровневым темпоральностям: долгое время — время географических и материальных структур, среднее время — время экономических циклов, конъюнктуры и краткое время — время политической жизни, время события. Ф. Бродель знал лучше, чем кто-либо, о бесконечной множественности исторических времен.

Фернан Бродель: Три времени...

Эта книга делится на три части, каждая из которых представляет собой аналитический очерк.

Первая затрагивает неподвижную историю, историю человека и его отношений с окружающей средой, медленно текущую и медленно изменяющуюся, часто состоящую из настоячивых возвратов, из бесконечно возобновляющихся циклов. Я не мог оставить без внимания эту почти вневременную, соприкасающуюся с неодушевленными вещами историю, но и не захотел ограничиться в этой связи каким-нибудь традиционным географическим введением в историю. [...]

Над этой неподвижной историей, историей в медленном темпе, как вполне можно было бы сказать, если бы это выражение не отклонилось так сильно от своего первоначального смысла, — находится социальная история, история групп и объединений. Каким образом эти глубинные волны вздымают всю средиземноморскую жизнь? Вот что я хотел выяснить во второй части моей книги, последовательно рассматривая экономические отношения, государства, общества, культуры и пытаясь в конце концов для внятного прояснения моей концепции истории показать, какую роль все эти глубинные силы играют в таком сложном деле, как война. Ибо война, как мы знаем, не является чистой областью индивидуальной ответственности.

Наконец, третья часть — часть, посвященная традиционной истории, если хотите — истории, возведенной в ранг не чело-

¹ См.: Koselleck R. [L'Ordre du temps]. P. 267.

² Seignobos Ch. L'enseignement de l'histoire dans les facultés // Revue internationale de l'enseignement. [№] II. 1884. 15 juil. P. 36: “Я знаю, что этот способ может показаться искусственным. Периоды не являются реальностью, это историк вводит в непрерывный ряд трансформаций воображаемые деления”.

³ См.: Dumoulin O. Profession historien. P. 148.

⁴ Ibid. P. 149, 150. См.: Braudel F. Écrits sur l'histoire. P. 31 (инаугурационная лекция в Коллеж де Франс, 1950 г.); P. 48 (статья о долговременности, 1958 г.).

¹ Ручаемся, что, если бы он был китайцем, его диссертация состояла бы из пяти частей, но то, что наша культура третичная (античность, Средние века, Новое время), не убавляет эффективности предложенного им деления, как раз наоборот.

века, а индивида, событийной истории Франсуа Симиана. Это — волнение на поверхности, волны, которые производят своей мощью приливы и отливы. Это история кратких, быстрых, нервных колебаний, сверхчувствительная по определению: малейший шаг показывает тревогу на ее измерительных приборах. Но именно в этом своем качестве она является самой захватывающей, самой богатой проявлениями человеческой природы, но также и самой опасной. Не будем слишком доверять этой еще обжигающей руке истории в том виде, в каком ее воспринимали, описывали и переживали сами ее современники. Она принимает очертания их гнева, их мечтаний и их иллюзий...

La Méditerranée... Préface, p. 11–12.

Если мы хотим сохранить плодотворность броделевского метода, то нужно взять из него не столько его конечный результат, сколько намерение и подход. В поисках взаимосвязи различных рядов явлений важно учитывать темпоральность, свойственную каждому из них. Разные ряды явлений меняются в разном темпе. Каждый из них имеет свои особенности, свой специфический ритм, характеризующий его вместе с другими присущими ему качествами. Для понимания их сочетания совершенно необходимо выстроить иерархию этих неравных темпоральностей.

При этом, однако, нужно остерегаться логической предвзятости метода. Броделевское эшелонирование истории от неподвижной до скоростной фактически представляет собой вынесение суждения о соответственном значении различных граней изучаемой реальности и о смысле, заключенном в причинно-следственных связях. Парадоксальное понятие неподвижного времени, подхваченное учениками Ф. Броделя, не должно вводить нас в заблуждение. Существительное весомее прилагательного, и это время остается временем, длительностью, несомненно, фиксирующей медленные, подчас очень медленные изменения, но никак не абсолютной стабильностью. Неподвижное время¹ подвержено отклонениям, колебаниям, короче говоря, оно не совсем уж неподвижное. Мы остаемся в темпоральности истории. Но в этом понятии заключен выбор в пользу длительной временной протяженности². То, что меняется медленно, возводится в ранг важнейшего де-

¹ Это название инаугурационной лекции Эмманюэля Ле Руа Ладюри в Коллеж де Франс в 1973 г. (см.: *Le Roy Ladurie E. Le Territoire de l'historien*. Paris: Gallimard, 1978. Т. 2. P. 7–34).

² См.: *Braudel F. Histoire et sciences sociales: La longue durée* // *Annales ESC*. 1958, oct.-déc. P. 725–752); перепечатка: *Écrits sur l'histoire*. P. 71–83.

терминанта, а то, что меняется быстро, оказывается приписанным ко второстепенным, даже вспомогательным областям истории. Позиция, занимаемая в отношении времени, — глобальная интерпретационная позиция, и ее лучше заявлять открыто.

Мы видим то решающее значение, которое имеет работа над временем в конструировании истории. И это не только ее упорядочение, хронологическое расположение или структурирование по периодам. Это также иерархизация явлений в зависимости от темпа, в котором они изменяются. Время истории не прямая линия, и не прерывистая линия, состоящая из чередующихся периодов, и даже не план: пересекаясь, линии образуют рельеф, имеющий толщину и глубину.

История — это не только работа над временем. Это также размышление над временем и его, времени, собственная плодотворность. Время творит, а всякое творчество требует времени. Мы знаем, что в быстротечном времени политики откладывание решения на три недели может привести к отказу от него, что отсутствие решения создает порой неразрешимые проблемы и что, наоборот, иногда достаточно выждать некоторое время для того, чтобы проблема разрешилась как бы сама собой, в соответствии с афоризмом, который приписывают председателю Совета министров Кею: «Нет такой проблемы, которая бы в конечном счете не нашла своего решения, если ничего не решать». В более длительном времени экономики или демографии историк констатирует инерцию времени и невозможность быстро найти средство против (предположим, что это зло...) старения населения, например.

История, таким образом, приглашает к ретроспективному размышлению о свойственной времени плодотворности, о том, что оно создает и разрушает. Время — вот главное действующее лицо истории.

Понятия

“Нельзя сказать, что нечто существует, не объяснив, что это такое. Размышляя над фактами, мы относим их к некоторым понятиям и категориям, и отнюдь не безразлично, к каким именно”¹. В этом плане история не отличается от всех других дисциплин. Однако прибегает ли она к каким-то специфическим понятиям?

На первый взгляд может показаться, что да, ибо историческое высказывание узнают не только по тому, что оно относится к прошлому и содержит даты. Так, высказывание типа “*Накануне Революции французское общество переживает экономический кризис Старого порядка*” со всей очевидностью является историческим. Действительно, в нем использованы выражения, которые вы не найдете ни в одном другом словаре и которые можно квалифицировать как понятия, например *революция* или *экономический кризис*. Что в них особенного?

¹ В. фон Шлегель, цит. по: Koselleck R. *Le Futur passé*. P. 307.

Эмпирические понятия

Два типа понятий

В высказывании, приведенном выше, можно видеть одно хронологическое обозначение в виде ссылки на событие-период: *накануне Революции*, и два других, не менее сложных понятия: *французское общество* и *экономический кризис Старого порядка*. Революция — это обозначение эпохи: вспомним знаменитую апострофу: “— Это бунт. — Нет, сир, это революция”... Что касается выражения *Старый порядок*, то оно входит в обиход во второй половине 1789 г. и служит для обозначения того, что именно оказалось отброшенным в прошлое. Эти термины, используемые: первый — как элемент датировки, второй — как отличительная черта, — являются, несомненно, понятиями, которые, однако, не были придуманы историками: они — часть самого исторического наследия... Два других понятия, *французское общество* и *экономический кризис*, тоже являются наследием прошлого, так как историк создал их не сегодня для нужд доказательства, но при этом наследием разной давности, поскольку первое понятие восходит к XIX в., а второе — к первой половине XX в., а именно к Лабруссу. Таким образом, нам не остается ничего другого, как последовать за Р. Козеллеком, который различает два уровня понятий.

Рейнгарт Козеллек: Два уровня понятий

Всякая историография движется по двум направлениям: либо она анализирует факты, которые уже нашли свое выражение раньше, либо она реконструирует факты, которые раньше не были выражены с помощью языка, но лишь с помощью определенных методов и указателей, т. е. которые в каком-то смысле были “подготовлены”. В первом случае понятия, унаследованные от прошлого, служат эвристическими элементами для постижения прошлой реальности. Во втором случае история пользуется категориями, которые были образованы и получили дефиницию *ex post* и не содержатся в используемых источни-

ках. Так, например, прибегают к данным экономической теории для анализа нарождающегося капитализма с помощью категорий, совершенно неизвестных в то время. Или же выводят политические теоремы, применяя их к конституционным ситуациям, и при этом вовсе не чувствуют себя обязанными писать историю в сослагательном наклонении.

Le Futur passé, p. 115.

К первому уровню относятся все обозначения изучаемой эпохи, которые иногда совершенно недоступны для непосвященного. Говоря *держание, манса, фьеф, бан, аллод, откупщик, чиновник*, мы используем названия реалий, не имеющих эквивалента в сегодняшней жизни. Едва ли можно здесь говорить о понятиях, ибо термины эти имеют вполне конкретное и бесспорное содержание. Но и термин *буржуа* — если взять другой пример, в котором мы, уже без всякого сомнения, увидим понятие, — тоже имеет конкретное содержание, как и любое обозначение общественной реалии или института.

Различие между данными терминами — в уровне обобщения. Понятие *чиновник* менее общее, чем понятие *буржуа*, хотя оно охватывает и королевских чиновников, и чиновников городского самоуправления, и многих других лиц. Но оба термина представляют определенный уровень обобщения. Именно в этом и состоит переход от слова к понятию: для того чтобы слово стало понятием, нужно, чтобы в одно это слово вошло множество значений и конкретных форм опыта.

В основном адекватные понятия для обозначения прошлых реалий мы находим в языке изучаемого времени. Однако случается также, что историк вынужден прибегать к понятиям, не связанным с изучаемой эпохой, но являющимся, на его взгляд, более подходящими. Хорошо известна дискуссия вокруг общества эпохи Старого порядка: каким было это общество — *сословным* или *классовым*? Следует ли мыслить его исходя из понятий, использовавшихся им самим, но уже не соответствующих в точности реалиям XVIII в., или же исходя из концептов, выработанных в следующем веке, в период Революции или даже в более позднее время?

Пытаясь мыслить прошлое с помощью современных понятий, мы рискуем допустить анахронизм. Особенно велика эта опасность в области истории идей и ментальностей. Ведь показал же Л. Февр в своем “*Рабле*”¹, в какой степени понятия *атеизм* и даже *неверие* применительно к XVI в. являются самым настоящим анахронизмом. Однако подобные попытки

¹ См.: Febvre L. Le Problème de l'incroyance au XVI^e siècle: la religion de Rabelais. Paris: Albin Michel, 1942.

возникают неизбежно, ибо вначале историк формулирует свои вопросы с помощью понятий собственного времени — ведь он задает их с позиций общества, в котором живет. Работа по дистанцированию, являющаяся, как мы видели, необходимым противовесом временной и личностной укорененности вопросов историка, начинается именно с верификации исторической состоятельности, пригодности концептов, благодаря которым эти вопросы могут мыслиться. Понятно, что педагог 1980-х гг., участвуя в спорах (ложных?) вокруг дилеммы “обучение или воспитание”, начинает с того, что пытается применить эту концептуальную сетку к изучению реформ Ж. Ферри. Но если вскоре он не заметит создавшейся таким образом двусмысленности, то рискует впасть в анахронизм и погрешить против истины. Так и хочется сказать, что он “выходит” из истории, если только это не подразумевало бы, что он вообще в нее когда-либо “входил”...

Зато есть реалии, в отношении которых у историка нет выбора между понятиями той эпохи и понятиями *ex post*: это периоды и процессы.

Крайне редко бывает, чтобы современники той или иной эпохи осознавали своеобразие переживаемого периода настолько, чтобы уже тогда дать ему имя. Для того чтобы говорить о *Прекрасной эпохе*, надо было пережить войну 1914 г. и полосу инфляции. А весьма удобное выражение *первая половина XX в.*, используемое для обозначения периода 1900–1940 гг., до начала 1970-х гг. почти не встречалось. Древние греки *классической* эпохи не знали, что она *классическая*, так же, как и греки *эллинистической* — что она *эллинистическая*... Разве что крупные народные движения или войны вызывали у современников ощущение того, что это — особые периоды, требующие специального названия. Так, Великая французская революция 1789–1793 гг. тут же получила название Революции с большой буквы, а французы 1940 г. ясно осознавали, что они переживали катастрофу.

Точно так же исторические процессы, более или менее глубокие преобразования в экономике, обществе и даже политике, как правило, редко ощущаются в момент их совершения и еще реже — концептуализируются. В этом плане непосредственное самонаблюдение и самоотчет можно считать одной из отличительных черт сегодняшнего общества, позволяющей ему благодаря научной социологии и журналистике ставить диагноз тому, что происходит с ним в данный момент и что иногда еще весьма далеко от завершения, с риском содействовать таким образом подтверждению поставленного диагноза. *Молчаливая революция*, которая сотрясает крестьянство, механизмирует и перестраивает сельскохозяйственные предприятия, интегрирует

их в международные рынки и приводит к исчезновению прежнего крестьянина, жившего в условиях самокупаемости, была описана генеральным секретарем Национального центра молодых аграриев в то время, когда она еще не была завершена. Появление понятия *новый рабочий класс* относится к 1964 г., но даже тридцать лет спустя мы все еще пользуемся им для описания продолжающихся преобразований.

Различение двух уровней понятий, фундаментальное для истории понятий, не обязательно означает наличие логических различий между ними. В обоих случаях понятие является результатом интеллектуальных операций одного и того же типа: генерализации или резюмирования.

От сжатого описания к идеальному типу

Истинные понятия делают возможной дедукцию. В них дается определение какого-либо существенного свойства, приводящего к целому ряду следствий. Определять человека как разумное животное значит соединять вместе два понятия: понятие животного и понятие разумности. Из первого мы можем вывести методом дедукции, что человек смертен и т. п. Из второго — что человек обладает способностью к познанию и нравственному поведению.

Понятия истории не относятся к такого рода понятиям. Они конструируются путем ряда последовательных обобщений и определяются через перечисление некоторого числа существенных черт, обусловленных их эмпирической общностью, а не логической необходимостью.

Возьмем в качестве примера понятие *экономический кризис Старого порядка*¹. Оно включает в себя три уровня уточнения, обнаруживаемых парадигматическим сравнением. Во-первых, термин *кризис* обозначает относительно бурное и внезапное явление, резкое изменение, решающий момент, всегда трудный и болезненный. Этот первоначальный смысл присутствует в разговорном языке, например, когда в какой-нибудь команде, которая не знает, как подойти к решению стоящей

¹ Это понятие было выработано Лабруссом (*La Crise de l'économie française à la fin de l'Ancien Régime et au début de la Révolution*. Paris: PUF, 1944) и в тот же период Жаном Мевре в известных статьях: *Les mouvements des prix de 1661 à 1715 et leurs répercussions* // *Journal de la Société de statistique de Paris*, 1944; *Les crises de subsistances et la démographie de l'Ancien Régime* // *Population*. 1946. № 4. См. дискуссию: *Vilar P. Une histoire en construction* // *Réflexions sur la crise de l'ancien type*. P. 191–216.

перед ней задачи, и совсем сбилась с толку, кто-нибудь вдруг говорит: *это кризис...* В медицинском словаре это слово употребляется в том же смысле, но с такими определениями, как кризис *аппендицита* или *почечных колик*. Противопоставление кризиса *хроническим* болезням подчеркивает ощущение лаконичности и интенсивности этого термина.

Во-вторых, кризис *экономический* отличается от других кризисов — *социального, политического, демографического* и т. д., как *стиральная машина* — от *посудомоечной машины*. Фактически именно в составе словосочетания *экономический кризис* этот термин чаще всего употребляется в языке социальных наук; вне экономической сферы он стал применяться уже в расширительном смысле. Так, когда, обсуждая проблему безработицы, говорят: *это кризис*, — все понимают, что речь идет именно об экономическом кризисе. Точно так же историки поняли бы, о чем говорится, если бы было сказано только: *кризис Старого порядка*. Тем не менее определение *экономический*, прямое или косвенное, является здесь неотъемлемой частью дефиниции. Ведь в нем заключено разделение реальности на сферы — экономическую, социальную, политическую, культурную, и это распределение отнюдь не нейтрально. Оно есть способ, которым мы мыслим историю.

В-третьих, уточняя дальше и говоря: кризис *Старого порядка*, мы резюмируем те черты, которые данный кризис 1788 г. должен был, по логике, обнаружить. Истоки этого кризиса нужно искать в сельском хозяйстве, а не в промышленности — причиной его был плохой урожай; это повлекло за собой резкий скачок цен, а значит, подорожание хлеба в городах в тот самый момент, когда из-за отсутствия продажной пшеницы в деревне не было денег, что, в свою очередь, закрыло доступ промышленным товарам в сельскую местность. Кризис, таким образом, охватил город и промышленность. Он сопровождался ростом смертности и последующим снижением рождаемости. Этот кризис Старого порядка является противоположностью кризиса индустриального типа, в основе которого лежит перепроизводство, влекущее за собой понижение цен на продукты, сокращение заработной платы, безработицу и т. д.

Из этого примера хорошо видно, как происходит формирование исторического понятия. Оно достигает определенной формы общности, поскольку резюмирует целый ряд наблюдений, в которых оказались зафиксированы сходные черты и обнаружены повторяющиеся явления. Р. Козеллек, посвятивший себя изучению истории понятий, справедливо отмечает: «Понятие включает в себя множественность исторического опыта и сумму теоретических и практических отношений, образующие внутри него единое целое, которое в качестве такового

может стать данностью и объектом опыта лишь посредством этого понятия»¹. *Экономический кризис Старого порядка* как раз и представляет совокупность теоретических и практических отношений между урожаями, промышленным производством, демографическими процессами и т. д., и весь этот ансамбль как таковой действительно существует только вследствие употребления данного понятия.

Можно было бы привести и другие примеры — такие, как понятие *античного города-государства* или *феодалного общества, сеньориального строя, промышленной революции* и т. п. Так, в термине *город-государство* объединена совокупность существенных черт, наличие которых может быть эмпирически установлено, хотя и с определенными нюансами, в греко-римской античности и которые находятся между собой в устойчивых отношениях. Даже простые обозначения реалий, как, например, *чиновник* в Новое время, сочетают в себе описание и целый набор возникающих при этом отношений: королевские чиновники в сравнении с чиновниками городского самоуправления, условия получения и передачи их должности, способы вознаграждения. Невозможно мыслить историю, не прибегая к понятиям этого типа. Они являются необходимыми интеллектуальными инструментами.

Прежде всего понятие служит языковому удобству, позволяя экономить слова и время. Понятие *экономический кризис Старого порядка* дает приблизительное представление о том, что произошло, но оставляет невыясненным, долгим был рассматриваемый кризис или кратким, мощным или нет. *Дедукция* в данном случае *невозможна*, ибо любой кризис отличается от прочих, и нередко имеются другие факторы, например война, которые могут еще больше усложнить схему. Короче говоря, понятие, называемое Кантом *эмпирическим*, представляет собой суммарное описание, экономичный способ выражения, а вовсе не «истинное» понятие. Абстракция всегда бывает неполной и не может обойтись совсем без ссылок на пространственный и временной контекст. Отсюда статус «полуимени собственного» или «несовершенного имени нарицательного», закрепившийся за родовыми понятиями истории — как, впрочем, и социологии. Эти понятия неизменно подчинены последовательной проверке заключенных в них особенных контекстов². Именно поэтому им нельзя дать определение с помощью некой формулы: их надо описывать, раз-

¹ [Koselleck R.] Le Futur passé. P. 109. Эта цитата служит в то же время дефиницией глагола *subsumer*: помещать в рамки смыслового единства какого-либо понятия данные конкретного опыта.

² Об этом см.: Passeron J.-Cl. Le Raisonnement sociologique. P. 60 sq.

матывать клубок резюмируемых ими конкретных реалий и отношений, подобно тому как мы только что это делали с понятием *экономический кризис Старого порядка*; их надо объяснять, а значит, проявлять, развивать, развертывать. Это — “концентраты множества значений”, как говорит Р. Козеллек, цитируя Ницше: “Все понятия, в которых семиотически резюмируется процесс в целом, ускользают от дефиниции. Дефиниция возможна только для того, что не имеет истории”¹.

Из невозможности дать дефиницию историческим понятиям вытекает их *многозначность* и пластичность:

Коль скоро понятие “выковано”, оно содержит, уже в силу самого языка, возможность быть употребленным в целях обобщения, стать элементом типологии и открыть перспективы сравнения. Говорящий о такой-то политической партии, о таком-то государстве или такой-то армии располагает с лингвистической точки зрения на уровне, изначально допускающем партии, государства или армии².

Однако в той мере, в какой они представляют собой инструменты сравнения, и именно для того, чтобы питать собою “сравнительную интеллигибельность” (Пассрон), понятия должны быть чем-то большим по сравнению с суммарными описаниями. Между тем процесс конструирования понятий в том виде, в каком мы его только что описали, не вполне учитывает это обстоятельство. В самом деле, он больше основывается на *сходстве*, чем на *различии*: ведь если понятие создается путем группирования черт, общих для данного класса явлений, то различие будет заключаться в отсутствии некоторых черт или в присутствии каких-то дополнительных черт в изучаемом явлении и не будет иметь почти никакого значения. В действительности исторические понятия идут дальше: в них встроено некое рассуждение и они соотносены с некоей теорией. Они являются тем, что Макс Вебер называл идеальными типами.

Но вернемся к примеру с кризисом Старого порядка. Мы отмечали, что в этом понятии заключена причинно-следственная связь между климатическими явлениями, сельскохозяйственным производством, ценами и демографическим поведением. Это не только собрание конкретных независимых черт, но также и прежде всего связь между этими чертами, а значит, гораздо более сложный ход мысли, чем простое заключение о детерминированности климатом. Это, кроме того, выбор спо-

соба членения реальности между различными областями. Данное понятие, таким образом, основывается не на одних лишь эмпирических констатациях, но также — на рассуждениях и на теории. Именно такое содержание вкладывает Макс Вебер в свое описание идеального типа. Впрочем, приводимые им примеры идеальных типов очень хорошо знакомы историкам.

Макс Вебер: Идеальный тип — это мысленный образ

...Понятие “городское хозяйство” строится не как среднее выражение совокупности всех действительных хозяйственных принципов, обнаруженных во всех изученных городах, но также в виде *идеального* типа. Оно создается посредством одностороннего усиления одной или нескольких точек зрения и соединения множества диффузно и дискретно существующих *единичных* явлений (в одном случае их может быть больше, в другом — меньше, а кое-где они вообще отсутствуют), которые соответствуют тем односторонне вычлененным точкам зрения и складываются в единый *мысленный* образ. В реальной действительности такой мысленный образ в его понятийной чистоте нигде эмпирически не обнаруживается; это — *утопия*. Задача исторического исследования состоит в том, чтобы в каждом отдельном случае установить, насколько действительность близка такому мысленному образу или далека от него, в какой мере можно, следовательно, считать, что характер экономических отношений определенного города соответствует понятию “городского хозяйства”. [...]

[Затем Макс Вебер анализирует понятие капиталистической культуры], т. е. культуры, где господствуют только интересы реализации частных капиталов. В ней должны быть объединены отдельные, диффузно наличные черты материальной и духовной жизни, доведенные в своем своеобразии до лишнего для нашего рассмотрения противоречий идеального образа. Это и было бы попыткой создать “идею” капиталистической культуры; мы оставляем здесь в стороне вопрос, может ли подобная попытка увенчаться успехом и каким образом. [...] Можно создать целый ряд, даже большое количество утопий такого рода. причем ни одна из них не будет повторять другую и уж, конечно, ни одна из них не обнаружится в эмпирической действительности в качестве реального общественного устройства; однако каждая из них претендует на то, что в ней выражена “идея” капиталистической культуры, и *вправе* на это претендовать, поскольку в каждой такой утопии действительно отражены известные, значимые в своем своеобразии черты нашей культуры, взятые из действительности и объединенные в идеальном образе.

¹ [Koselleck R.] Le Futur passé. P. 109.

² Ibid. P. 115.

[...] Как только историк делает попытку выйти за рамки простой констатации конкретных связей и установить *культурное значение* даже самого элементарного индивидуального события [...] он оперирует (и *должен* оперировать) понятиями, которые могут быть точно и однозначно определены только в идеальных типах.

Это [идеальный тип] — мысленный образ, не *являющийся* ни исторической, ни тем более “подлинной” реальностью. Еще меньше он пригоден для того, чтобы служить схемой, в которую явление действительности может быть введено в качестве частного случая. По своему значению это чисто идеальное *пограничное* понятие, с которым действительность *сопоставляется, сравнивается*, для того чтобы сделать отчетливыми определенные значимые компоненты ее эмпирического содержания. Подобные понятия являются собой конструкции; в них мы строим, используя категорию объективной возможности, связи, которые наша ориентированная на действительность, научно дисциплинированная *фантазия рассматривает* в своем суждении как адекватные.

“Объективность” социально-научного и социально-политического познания, с. 389–393¹.

Понятия, таким образом, являются *абстракциями*, с которыми историки сравнивают *реальность*, хотя они не всегда об этом открыто заявляют. Фактически они заняты выяснением степени расхождения между концептуальными моделями и их конкретным воплощением. Вот почему понятия привносят в любую историю более или менее явное *сравнительное* измерение, относя различные изучаемые случаи к одной и той же идеально-типической модели. Абстракция идеального типа преобразует эмпирическое разнообразие в различия и подобия, обретающие смысл: она позволяет выявлять как *особенное*, так и *общее*.

Понятия сплетают сеть

Поскольку понятия являются абстракциями и соотносятся с какой-то теорией, они сплетают сеть. Это уже показал пример предреволюционного кризиса. Вероятно, еще лучше это будет видно на примере фашизма, хотя он взят из совершенно другой области.

¹ Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990.

То, что понятие *фашизм*, без сомнения, представляет собой идеальный тип, ясно следует из того, как оно употребляется историками¹. Они либо дают ему более точное определение и говорят о *гитлеровском* или *итальянском* фашизме, из чего вытекает, что просто фашизм как таковой нигде не существовал (иначе достаточно было бы сказать *фашизм*, чтобы стало понятно, о какой стране и какой эпохе идет речь), либо употребляют этот термин для того, чтобы поставить вопрос о том, был ли, например, фашистским режим Виши. В этом случае вопрос предполагает не ответ “да” или “нет”, а, по выражению П. Вейна, описать различий или, точнее, ряд сравнений между идеальным типом фашизма и конкретно-исторической реальностью режима Виши.

При таком сопоставлении исторической реальности с идеальным типом историк неизбежно сталкивается с другими понятиями, которые могут быть как противоположными, так и близкими по смыслу. *Фашизм* прежде всего противостоит *демократии*, *политическим свободам* и *правам человека* и в этой своей противоположности приближается к *диктатуре*. Конкретно это подразумевает: полицейский произвол, отсутствие фундаментальных свобод — печати и собраний — и полное подчинение судебной власти исполнительной. Однако фашизм — это больше, чем диктатура; он, кроме того, характеризуется определенной формой коллективной мобилизации и *лидерства* и стремлением к тоталитарному контролю над обществом; он предполагает наличие харизматического лидера, верноподданнические проявления со стороны своих сторонников, а также институты полного подчинения гражданской жизни через корпоративные объединения, единую молодежную организацию, единый профсоюз и единую партию. Эти черты позволяют отличать режимы Гитлера и Муссолини от южноамериканских диктатур. Но не от советского режима: для проведения такого различия нужно было бы привлечь черты идеологического характера, противопоставить идеологию класса идеологии нации и обратиться к концепту *тоталитаризма*. Только подобное рассуждение позволило бы выявить те черты, которые сближают вишистский режим с фашизмом, и те, которые его от него отличают, и, кроме того, указать на разли-

¹ Об этом см.: Nouvelle Histoire des idées politiques / Dirigée par P. Ory. Paris: Hachette, 1987. Разд. 4.2: Фашистское решение; в частности см. главу, написанную Филиппом Бюрреном, под названием “Власть” (Burrin Ph. Autorité. P. 410–415). См. также наряду с тысячей других названий статью: Paxton R. Les fascismes, essai d'histoire comparée // Vingtième siècle, revue d'histoire. 1995. № 45, janv.-mars. P. 3–13; Bernstein S., Milza P. [Préface] // Dictionnaire historique des fascismes et du nazisme. Bruxelles: Complexe, 1992.

чие между Виши 1940 г. и Виши 1944 г., боровшимся с Сопротивлением при помощи созданной им милиции.

Как видно из сказанного, понятие *фашизм* обретает смысл лишь в рамках концептуальной сети, включающей такие понятия, как *демократия, гражданские свободы, права человека, тоталитаризм, диктатура, класс, нация, расизм* и т. д. Это то, что лингвисты называют семантическим полем, т. е. совокупностью терминов, которые находятся друг с другом в устойчивых отношениях — либо противопоставления, либо связи, либо подчинения. Понятия, находящиеся в сущностной оппозиции друг к другу, представляют симметрично противоположные черты. Связанные друг с другом понятия обнаруживают тождественные черты, но не абсолютно все. Если бы два понятия характеризовались одними и теми же чертами, то они составили бы класс эквивалентов и были бы взаимозаменяемы во всех своих употреблениях.

Французские историки не всегда демонстрируют строгое употребление понятий, ибо их историографическая традиция не побуждает к этому. Более философичная германская традиция отличается в этом смысле, и нередко в Германии книга по истории начинается с главы, всецело посвященной обоснованию понятий, которые в дальнейшем будут использоваться автором¹. Стремясь избежать повторов и применения школярских правил изложения, французские историки иногда используют несколько слов для обозначения одной и той же реалии. Они запросто говорят *государство* и *правительство*, а иногда даже — *власть*, в то время как эти слова являлись разными понятиями. То они говорят об *общественном классе*, то — об *общественных группах*, а то — о *кругах*. Такая легкость достойна сожаления, но она допускается очень часто и не влечет за собой негативных последствий до тех пор, пока не приводит к нарушению структуры и целостности концептуальной сети.

Частично смысл историческим понятиям сообщают те определения, которые они получают. Они редко употребляются в историческом дискурсе в своей абсолютной форме. Почти никогда не говорится — *революция*. Есть одна Революция (*la Révolution*), т. е. Революция 1789–1793 гг. Все другие, чтобы быть понятиями, требуют прилагательных или дополнений, которые бы их квалифицировали. Ими могут быть даты (1830, 1848), эпитеты: *промышленная революция*, и даже *первая* и

¹ В качестве примера см. работы: Schottler P. Naissance des bourses du travail: Un appareil idéologique d'Etat à la fin du XIX^e siècle. Paris: PUF, 1985; и работа: Kocka J. Facing Total War: German Society, 1914–1918. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 1984.

Понятийный аппарат истории

Заимствованные понятия

История постоянно заимствует понятия у соседних дисциплин: она занята тем, что высиживает яйца, которые не несла. Не стоит пытаться составить список таких понятий: его можно продолжать до бесконечности.

Политическая история как ни в чем не бывало использует категории конституционного права и политических наук, да и просто политики: *парламентский* или *президентский* строй, *партия служащих* или *массовая партия* и т. д. Предложенный выше беглый анализ фашизма всецело основывался на понятиях, заимствованных из этой области — как, например, понятие *харизматического лидера*. Экономическая история черпает многие свои понятия из арсенала экономистов и демографов. Стоит последним придумать какое-нибудь новое понятие, как это было с *take off* (отрыв), предложенным Ростоу, как тут же историки завладевают им для того, чтобы выяснять, имел ли место *take off* в Каталонии в XVIII в. и когда он произошел во Франции. Они занимаются тем, что пытаются определить *cash flow* (денежные средства) предприятий начала века, несмотря на трудности, связанные с тем, что бухгалтерские книги того времени не позволяют выявить эту переменную. Социальная история действует аналогичным образом: мы видим, например, как она привлекает понятие *общественного контроля*, чтобы применять его к XIX в., а то и к греческой или римской античности. Наконец, сама “новая” история сформировалась на базе концептуальных заимствований из этнологии.

Если ограничиться этим поверхностным рассмотрением, то создается впечатление, что история не имеет собственных понятий, а скорее присваивает себе понятия других общественных наук. И действительно, потребление ею импортированных понятий огромно.

Эти многочисленные заимствования стали возможными благодаря собственно историческому использованию детерминаций. Переходя из своей родной дисциплины в историю, по-

вторая промышленная революция, железнодорожная революция, технологическая революция, революция крестьянская, сельскохозяйственная, китайская, октябрьская, социально-политическая и т. д. Точный смысл понятия несет в себе то определение, которое оно получает, и очерченная выше сравнительная игра есть точно так же поиск подходящего определения.

Нельзя, следовательно, утверждать, что понятия предписывают истории строгий логический порядок. Правильнее было бы говорить не об уже сформировавшихся понятиях, а о концептуализации как операции и исследовании или о возведении лексических единиц в ранг понятия. Концептуализация упорядочивает историческую реальность, но это упорядочение — относительное и всегда лишь частичное, ибо реальное никогда не может быть сведено к рациональному; оно, реальное, всегда содержит элемент случайности, и конкретные особенности неизбежно нарушают красоту и порядок концептов. Исторические реалии никогда не соответствуют полностью понятиям, с помощью которых мы их мыслим; жизнь без конца выходит за рамки логики, и в списке рационально выстроенных существенных черт, составляющих понятие, всегда имеются такие, которые обманывают наши ожидания либо имеют какую-нибудь непредвиденную конфигурацию. Все это ведет к весьма серьезным последствиям: концептуализация вносит в реальное некоторый порядок, но это несовершенный, неполный и неравномерный порядок.

На данном этапе становится понятно, что за историей признается определенная специфика в обращении с понятиями, в их употреблении. Но надо ли это понимать так, что понятия, которые она использует особым образом, имеют свойственную данной дисциплине природу? Или же имеются в виду понятия как такие исторические факты, которые не существуют?

Понятия претерпевают кардинальные изменения: они становятся более гибкими, теряют свою строгость и перестают употребляться в своем абсолютном значении, немедленно получая спецификацию. Таким образом, заимствование сразу же влечет за собой искажение первоначального значения, за которым неизбежно следуют и другие.

В таких условиях начинаешь лучше понимать двусмысленность отношения истории к другим общественным наукам: заимствование понятий и их детерминированное, помещенное в контекст использование позволяют истории отнести на свой счет все вопросы, поставленные другими дисциплинами, подвергая их диахронному исследованию, которое и есть ее единственная специфика, ее единственное собственное измерение. Отсюда — роль перекрестка общественных наук, которую играла история в некоторых социальных и научных конфигурациях ученого мира. Отсюда также та претензия, которой она иногда одержима, на своего рода гегемонию в сообществе этих дисциплин: обмен понятиями происходит в одном направлении, история импортирует, но не экспортирует, она может становиться на чужую территорию, не переставая при этом быть самой собой, тогда как обратного порядка не бывает.

Единицы общественного устройства

Однако есть понятия, которые, не будучи собственно историческими, занимают в истории не только важное, но и особое место. Это те понятия, которыми обозначают, так сказать, коллективные сущности, или единицы общественного устройства. Высказывание, взятое в качестве примера в начале этой главы, содержит одно из таких понятий: накануне Революции XVIII в. французское общество переживало экономический кризис Старого порядка.

Общество, Франция, буржуазия, рабочий класс, интеллигенция, общественное мнение, страна, народ — все это такие понятия, которые включают в себя совокупность конкретных индивидов и фигурируют в дискурсе историка как множественное единственное число, как коллективные действующие лица. Они употребляются в качестве подлежащего при глаголах действия или волеизъявления, иногда даже при возвратных глаголах: буржуазия хочет, чтобы; думает, что; уверена или опасается; рабочий класс недоволен, восстал; общественное мнение обеспокоено, разделилось, оно реагирует, если, конечно, оно не смирилось...

Но есть ли у нас право наделять коллективные сущности чертами, свойственными индивидуальной психологии? Правомерен ли такой трансферт? У нас еще будет возможность к этому вернуться. Либеральные социологи, сторонники того, чтобы восстанавливать коллективное поведение исходя из рационального поведения индивидуальных действующих лиц, обнаруживают своего рода наивный реализм в таком способе рассматривать группы людей как отдельные лица. Им могут возразить, что индивидуальные действующие лица имеют весьма смутное сознание того, что они составляют некую группу. Если что и позволяет историку сказать, что *Франция* имела такое-то отношение к Германии в 1914 г., так это то, что мобилизованные французы тогда могли говорить: “*Мы* находимся в состоянии войны, Германия с нами воюет”. Точно так же если историк что-либо говорит о *рабочих*, то потому, что те первые говорят, когда бастуют: “*Мы* хотим удовлетворения наших требований”. *Мы* действующих лиц имплицитно создает коллективную сущность, которую и использует историк. Для признания законным такого перенесения индивидуальной психологии на коллективные сущности П. Рикёр предлагает понятие деятельности, или соучаствующей, принадлежности: рассматриваемые группы состоят из индивидов, которые участвуют в этих группах, входя в их состав, и имеют относительно смутное сознание такой соучаствующей принадлежности. Именно эта косвенная и имплицитная соотнесенность и позволяет рассматривать группу как коллективное действующее лицо.

Таким образом, речь не идет ни о простой аналогии, ни о полном слиянии индивидов в группе или сведении индивидуального к коллективному. Поэтому возражение, которое приходит в голову историку, о том, что ощущение принадлежности порой является смутным, несостоятельно. То, что крестьяне поспешили вернуться домой за ведрами, заслышав набат мобилизации 2 августа 1914 г. и расценив его как сигнал о пожаре, в данном случае не имеет значения: это не мешает говорить о том, что Франция вступила в войну с решимостью, поскольку мобилизованные будут говорить о себе “*мы*”. Соотнесенность коллективной единицы с составляющими ее индивидами основывается на обратимости *мы* действующих лиц в коллективное единственное число, которым оперирует историк: она позволяет обращаться с национальной или социальной общностью так, как если бы та была неким лицом.

Впрочем, в этом отношении язык истории не отличается от повседневного языка. Понятия, позволяющие мыслить историю, которую пишут историки, — это те же самые понятия, с помощью которых описывается живая история, происходящая

на наших глазах. Что заставляет нас задуматься о риске возможного анахронизма. Как предохранить себя от этого?

Историзировать понятия истории

Историк имеет право использовать все имеющиеся в языке понятия — он лишь не имеет права использовать их бездумно. Он должен взять себе за правило никогда не рассматривать понятия как вещи. В этой связи предостережение Пьера Бурдьё отнюдь не кажется излишним:

Пьер Бурдьё: Брать понятия историческим пинцетом

...Парадоксальным образом историки явно в недостаточной степени являются историками, когда речь идет об осмыслении тех инструментов, с помощью которых они мыслят историю. Понятия истории (или социологии) всегда следует брать только историческим пинцетом [...] мало составить историческую генеалогию слов, взятых по отдельности: чтобы по-настоящему историзировать понятия, нужно составить социоисторическую генеалогию различных (исторически сложившихся) семантических полей, в которые в каждый момент времени оказалось включенным каждое из слов, и тех социальных полей, в которых они производятся и в которых обращаются и употребляются.

Sur les rapports entre la sociologie et l'histoire, p. 116.

В утверждении о том, что понятия истории надо “историзировать”, помещать их в историческую же перспективу, содержится несколько смыслов. Первый из них касается расхождения между реальностью и понятием, в рамки которого ее заключают. Понятие — не вещь, а название вещи, ее изображение. Рассчитывать эвентуальное расхождение, т. е. проверять, находятся ли составляющие понятие черты в данной вещи и наоборот, — это уже не что иное, как требование критического метода, а именно того, что Сеньобос называл критикой интерпретации.

Второй смысл состоит в том, что “историзация” понятий является одним из элементов реконструкции времени истории. Прошлые значения слов требуют перевода на язык, который мы были бы в состоянии понять сегодня, так же, как и значение современных понятий должно быть пересмотрено, если посредством них мы намереваемся переводить прошлое. Историк, таким образом, учитывает диахронную глубину понятий,

их историю. Неизменность слова не означает неизменности его значений, а изменение значений слова вовсе не всегда совпадает с изменением обозначаемых им реалий. “Долгая жизнь некоторых слов еще не является достаточным признаком устойчивости реалий”¹. И наоборот, изменения в терминологии не являются признаком материальных изменений, ибо часто должно пройти время, прежде чем материальное изменение приведет к возникновению у современников ощущения того, что необходимы новые термины.

Историзация понятий истории позволяет, очерчивая соотношение между понятием и реальностью, мыслить ту или иную ситуацию одновременно синхронно и диахронно, по оси поставленных вопросов и по оси периодов, как структуру и как эволюцию.

Семантика понятий — для лингвистики раздел второстепенный, поскольку он в наибольшей степени зависит от названных реалий и, следовательно, является наименее формальным, — для историка, напротив, имеет фундаментальное значение. Определение границ каждого понятия предполагает учет противоположных и родственных понятий, а в рамках одной парадигмы и учет возможных альтернативных понятий. Такой подход позволяет вместе с плотностью социальной реальности измерить всю совокупность темпоральностей разного уровня. Одна и та же реальность, как правило, может мыслиться и называться посредством нескольких понятий, имеющих, однако, разный ракурс и принадлежащих к разным временным траекториям. Историзировать понятия значит устанавливать, к какой темпоральности они принадлежат. Это — способ улавливать современность несовременного.

Наконец, историзация понятий позволяет историку понять полемическое значение некоторых из них. Начиная с П. Бурдьё и его школы социологи проявляют большой интерес к перформативному значению высказываний: сказать в некотором смысле значит сделать. Различные обозначения социальных групп представляют собой результат борьбы, посредством которой действующие лица пытались закрепить то или иное членение социального организма.

Таким образом, наука, которая стремится предложить наиболее реалистичные критерии истинности, не должна забывать, что она лишь фиксирует некое состояние в борьбе классовых делений, т. е. некое состояние в соотношении материальных и символических сил между приверженцами того или иного варианта классового деления, которые, так же, как и она [наука], нередко апеллируют к научному авторитету для обоснования, онто-

логического и рассудочного, того произвольного членения [общества], которое они собираются узаконить¹.

Понятия истории проистекают, таким образом, из часто незримой борьбы, посредством которой действующие лица пытаются добиться победы имеющихся у них представлений о социальном: определения и разграничения социальных групп, установления иерархии влияния и прав и т. д. Л. Болтански, например, показывает, как в контексте Народного фронта в результате соперничества с понятием среднего класса и в противоположность как хозяевам, так и рабочему классу появляется термин *кадр*, столь характерный для французского способа производить срезы общества². В свою очередь Р. Козеллек усматривает в систематическом употреблении канцлером Пруссии Гарденбергом в начале XIX в. таких описательных терминов, как *обыватели* или *собственники*, или новых юридических терминов, таких, как *граждане*, стремление изменить старую сословную (*Stände*) конституцию³. Следовательно, понятия обретают смысл через их включенность в конфигурацию, унаследованную от прошлого, их перформативную значимость как провозвестников будущего и их полемическое значение для настоящего.

Как видим, понятия — это не вещи; это, в некоторых отношениях, — *оружие*. В любом случае — это *инструменты*, с помощью которых современники, но также и историки, стараются добиться преобладания какого-либо варианта упорядочения реальности и сообщить прошлому его специфику и его значения. Они не находятся где-то вне реальности, но и не приклеены к ней как знаки, совершенно адекватные вещам; между ними и реальностями, которые они называют, всегда имеется определенное расхождение, напряжение, в котором и разыгрывается история. Являясь отражением реального, они в то же время служат его оформлению за счет того, что его называют. Это перекрестное отношение делает историю понятий как не-обходимой, так и интересной. Подобно тому как история есть одновременно работа над временем и работа времени, она есть также работа над понятиями и работа понятий.

¹ Bourdieu P. Ce que parler veut dire. Paris: Fayard, 1982. P. 139. Пример, приведенный Пьером Бурдьё, касается региональных делений. Дальше в тексте идет следующее: “Региональный дискурс — это дискурс перформативный, имеющий целью представить в качестве законного новое определение границ и заставить узнать и признать отграниченный таким образом регион...”

² См.: Boltanski L. Les Cadres, la formation d'un groupe social. Paris: Éd. de Minuit, 1982.

³ См.: [Koselleck R.] Histoire des concepts et histoire sociale // Le Futur passé. P. 99–118.

¹ Koselleck R. Le Futur passé. P. 106.

История как понимание

Все то, что мы видели до сих пор, не позволяет нам составить ясное представление об истории. Складывается впечатление, что она только тем и занимается, что пытается примирить противоречия. В самом деле: ей необходимы факты, взятые из источников, но без вопросов следы, оставленные прошлым, остаются немые и даже не являются “источниками”. Нужно уже быть историком, чтобы знать, какие именно вопросы следует задавать источникам и какими способами можно заставить их говорить. Критический метод, который мог бы гарантировать правильность установления фактов, сам предполагает наличие подтвержденного жизнью исторического знания. В общем для того, чтобы заниматься историей, нужно уже быть историком. Что касается времени и свойственного вопросу историка диа-

хронного измерения, то это не просто вместилище произвольных фактов, а структура, выработанная обществом и уже написанной историей. Историк, перерабатывая это время как сырье, должен также рассматривать его как полноправное действующее лицо своего сценария. Он должен разрабатывать свою собственную периодизацию, а не слепо следовать уже имеющейся, хотя в ней, несомненно, находят отражение некоторые существенные синхронные закономерности. Наконец, для осмысления истории он пользуется понятиями, сообщаемыми ему самой историей или заимствованными из других социальных наук. Все это совсем не похоже на реальный метод, который можно было бы формализовать. История напоминает скорее какую-то эмпирическую деятельность, вроде работы мастера, который каждый раз по-разному мастерит свои изделия из подручного материала, заботясь о том, чтобы их конструкция была достаточно прочной и чтобы соблюдались часто противоречивые требования. А что говорят об этом сами историки?

Автопортрет историка в образе ремесленника

История как ремесло

Когда читаешь тексты историков по истории, поражаешься повторяемости ремесленных терминов. Историк говорит, как столяр, а история в его представлении — это *ремесло*. Именно это слово было выбрано Л. Февром в качестве заглавия для посмертного издания труда М. Блока, но и последний активно использовал его и даже делал из него некую коллективную реальность, говоря: наше ремесло, ремесло историка. В самом начале своего введения к «Апологии истории» он сравнивал себя с «ремесленником, постаревшим занимаясь этим ремеслом». И вновь повторил этот термин в последней фразе, высказывая пожелание, чтобы его книгу брали как «записи ремесленника [...] как блокнот подмастерья, который долго орудовал аршином и отвесом, но за это не возомнил себя математиком»¹. В другом месте он упоминал мастерскую и похвалял эрудицию за то, что она «вернула историка к верстаку».

М. Блок был не одинок. Все историки говорят, подобно Ф. Фюре, о своей мастерской и ссылаются на правила своего искусства. Причем свое ремесло они описывают не как нечто такое, что может передаваться педагогическим путем, а как вид деятельности, зависящий исключительно от практики. Говоря о *корпорации* (*Zunft*), немецкий историк Вернер Конце даже различает мастеров, подмастерьев и учеников². Бернард Бейлин использует слово *craft*: история может быть и чем-то гораздо большим, но, по меньшей мере, она должна быть ремеслом, а *craft* — в том смысле, что умения, *skills*, которые ей необходимы, зависят от практики и требуют времени. Вот почему обучение ремеслу в качестве подмастерья, *guildlike train-*

¹ [Блок М.] Апология истории. С. 14.

² В одном тексте 1983 г. см.: Lipp C. Histoire sociale et *Alltagsgeschichte* // Actes de la recherche en sciences sociales. 1995. № 106–107, mars. P. 54.

ning¹, — это не пустые слова. Истории действительно учатся, как учатся столярному делу, работая в мастерской подмастерья. Историком можно стать только занимаясь историей.

Тем не менее отказ признавать историю такой же наукой, как и все остальные, соседствует с утверждением ее научного характера. Тот же М. Блок говорил об истории как о науке — конечно, науке, еще “переживающей детство”, но зато, по словам Бейля и Фюстель де Куланжа, “самой трудной из всех наук”. Чтобы это показать, недостаточно просто перечислить “один за другим все проверенные временем приемы”, как если бы речь шла об “одном из прикладных искусств [...] история — не ремесло часовщика или краснодеревщика”².

Однако надо же остановиться на чем-нибудь одном: столярное дело не наука, мастерская не лаборатория, а верстак не стол для опытов. Науки можно преподавать, их правила поддаются выведению. Но ведь, как утверждают, правила истории, хоть и существуют, по-настоящему таковыми не являются. Присутствие в одном и том же историческом дискурсе слов и выражений, относящихся к различным интеллектуальным и практическим универсумам, не перестает вызывать вопросы. Ремесленническая метафора повторяется слишком часто для того, чтобы считать ее простым *captatio benevolentiae*, или ложной скромностью. Без сомнения, с помощью лексики, свойственной ремесленным специальностям, историки пытаются передать некий существенный аспект своего опыта, ощущение того, что нет такого правила, которое можно было бы применять автоматически и систематически, что во всем нужны дозировка, мера, понимание. Что, впрочем, отнюдь не мешает им считать себя строгими учеными, каковыми они в действительности и являются, и использовать для этого научную терминологию.

По существу, сложность истории как практики является отражением сложности ее объекта.

Люди — объекты истории

Несмотря на различия в формулировках, на обоснование коих они тратят немало таланта, историки относительно единодушны в том, что касается объекта их дисциплины. Как говорил Фюстель де Куланж, история является изучением человеческих

обществ¹. Ему вторит Сеньобос: “Цель истории описывать с помощью документов прошлые общества и их метаморфозы”². Л. Февр и М. Блок не признают термин *общество*, так как он кажется им слишком абстрактным; но и Фюстель, и Сеньобос в то же время настаивают на конкретном характере истории. Так, в 1901 г. Сеньобос пишет: “История в современном смысле сводится к изучению живущих в обществе людей”³. Таким образом, в данном вопросе у него нет настоящих расхождений с основателями “Анналов”, предпочитающих “истории человеческих обществ” “историю людей в обществе”⁴. Здесь мы не можем отказать себе в удовольствии напомнить читателю хорошо известный текст Л. Февра:

Люсьен Февр: Люди, единственные подлинные объекты истории

...Люди, единственные подлинные объекты истории... истории, которая не интересуется каким-то абстрактным, вечным, неизменным по сути своей человеком, всегда подобным самому себе, — но людьми, рассматриваемыми в рамках общества, членами которого они являются, членами этих обществ в определенную эпоху их развития — людьми, обладающими многочисленными обязанностями, занимающимися всевозможными видами деятельности, отличающимися различными склонностями и привычками, которые перемешиваются, сталкиваются, противоречат одна другой, но в конце концов приходят к компромиссному соглашению, устанавливая некий *modus vivendi*, который называется Жизнью.

Бои за историю, с. 26.

Объект истории обладает тремя характерными чертами. Во-первых, он человечен, а это означает, что даже с виду безразличная к людям история окольными путями все равно ведет к ним. Так, истории материальной жизни или климата безразличны последствия для групп людей тех процессов, которые она изучает. Во-вторых, это коллективный объект: история изучает “не человека и, еще раз, никогда не человека, но человеческие общества, организованные группы”, — говорил

¹ См.: Baily B. On the Teaching and Writing of History. P. 49–50.

² [Блок М.] Апология истории. С. 11.

¹ Слова Н. Фюстель де Куланжа, которые приводит М. Блок, см.: Антология истории. С. 120. Примеч. к с. 17.

² Seignobos Ch. L'enseignement de l'histoire dans les universités allemandes. P. 586.

³ Seignobos Ch. La Méthode historique. P. 2.

⁴ См.: Hartog F. Le XIX^e Siècle et l'Histoire: Le cas Fustel de Coulanges. P. 212–213.

Л. Февр¹. Для того чтобы отдельный человек заинтересовал историю, надо, чтобы он был, как говорится, представительным, т. е. показательным в отношении многих других людей, или чтобы он имел реальное влияние на их жизнь и судьбу, или же чтобы благодаря самой своей исключительности демонстрировал нормы и привычки какой-либо группы в какое-либо данное время. Наконец, объект истории конкретен: историки с недоверием относятся к абстрактным терминам, они хотят видеть, слышать, чувствовать. В истории есть что-то плотское. Об этом-то и говорит Марк Блок в своем известном тексте.

Марк Блок: Историк как сказочный людоед

...Предметом истории является человек. Скажем точнее — люди. Науке о разнообразном больше подходит не единственное число, благоприятное для абстракции, а множественное, являющееся грамматическим выражением относительности. За зримыми очертаниями пейзажа, орудий или машин, за самыми, казалось бы, сухими документами и институтами, совершенно отчужденными от тех, кто их учредил, история хочет увидеть людей. Кто этого не усвоил, тот, самое большее, может стать чернорабочим эрудиции. Настоящий же историк похож на сказочного людоеда. Где пахнет человечиною, там, он знает, ждет его добыча.

Апология истории, с. 17-18.

Говоря о том, что объект истории конкретен, мы говорим тем самым, что он располагается в пространстве и времени. В нем представлено диахронное измерение. Определение “наука о людях” кажется М. Блоку слишком туманным, и он добавляет — “о людях во времени”. В тот же период Л. Февр, в уже цитировавшейся лекции перед учащимися Эколь Нормаль, давал такое определение: история — это “научный способ познания различных сторон деятельности людей прошлого и их различных достижений, рассматриваемых в соответствии с определенной эпохой в рамках крайне разнообразных и все-таки сравнимых между собой обществ (это аксиома социологии), заполняющих поверхность земли и последовательность веков”². Итак, всякое конкретное общество должно непременно располагаться во времени и в пространстве.

¹ Цит. по: Блок М. Апология истории. С. 120. Примеч. к с. 18.

² Февр Л. Бои за историю. С. 25–26.

История и жизнь

Литературное качество, чтобы не сказать — лиризм, текстов, принадлежащих перу основателей “Анналов”, позволяет им всецело завладеть вниманием читателя. Историк же находит в них не что иное, как выражение сути своей повседневной работы, формулирование того опыта, ради которого стоит заниматься этой наукой. Однако приведенная дефиниция остается весьма расплывчатой и ничего не говорит человеку непосвященному. Историк расценивает предписание изучать людей в обществе как открывающееся перед ним практически неограниченное поле. Но с внешней по отношению к истории точки зрения такое расширительное толкование предмета может, пожалуй, поставить в тупик.

Недоумение возрастает еще больше, когда возникает тема жизни и когда жизнь объявляется “нашей единственной школой” — как в той лекции в Эколь Нормаль, которую сам Л. Февр назвал “Жить историей”.

Люсьен Февр: Жить историей

И поскольку я счастлив знать, что в этом зале собрались молодые люди, решившие посвятить свою жизнь историческим исследованиям, я говорю им со всей определенностью: чтобы творить историю, повернитесь спиной к прошлому. Прежде всего — живите. Вмешивайтесь в жизнь. Во все многообразие духовной жизни. [...] Но живите также и практической жизнью. Не к лицу вам, лениво сидя на берегу, смотреть на разбушевавшееся море. [...] Засучите рукава. [...] И постарайтесь помочь матросам.

И только-то? Нет. Все это ничему не послужит, если действия ваши не будут увязаны с мыслями, а ваша жизнь историка — с вашей человеческой жизнью. Не существует никаких перегородок, никаких барьеров между действием и мыслью. История не должна вам казаться сонным кладбищем, по которому бродят одни только бесплотные тени.

Бои за историю, с. 37

Что означает эта ссылка на жизнь? Когда такой историк, как Л. Февр, утверждает необходимость жить, чтобы заниматься историей, вряд ли он говорит это просто так. Но что именно хочет он этим сказать? Каково соотношение между жизнью историка и той историей, которую он пишет?

Понимание и рассуждение по аналогии

Объяснение и понимание

Дело в следующем. То, что объектом истории являются конкретные люди и их жизнь, приводит к существованию специфической формы интеллигибельности, свойственной историческому познанию.

Противоположность между формой интеллигибельности людей и формой интеллигибельности вещей была теоретически обоснована еще Дильтеем и развита во Франции Р. Ароном в его диссертации¹. И хотя этот эпистемологический спор уже не так актуален, он все еще сохраняет свое значение. Он устанавливает радикальное различие между науками о духе, или гуманитарными науками (*Geisteswissenschaften*), и науками о природе (*Naturwissenschaften*), к числу которых в конце прошлого века принадлежали физика и химия. Науки о природе объясняют вещи, материальную реальность; науки о духе позволяют понять людей и их поведение. Объяснение есть собственно научная операция; оно направлено на поиск причин и подтверждение законов. Объяснению свойствен детерминизм: одни и те же причины всегда должны производить одни и те же следствия — именно это и устанавливают законы. Взаимодействие кислоты и окиси всегда дает соль, воду и теплоту.

Совершенно очевидно, что гуманитарные науки не могут подразумевать тот же самый тип интеллигибельности. Человеческое поведение становится интеллигибельным благодаря своей рациональности или, по крайней мере, интенциональности. Человеческая деятельность есть выбор средств в зависимости от цели. Ее нельзя объяснить причинами и законами, но ее можно понять. Это и есть форма интеллигибельности истории. Р. Арон анализирует в этом смысле речи, вошедшие в “Пелопоннесскую войну” Фукидида: важно не то, чтобы знать, были ли эти речи действительно произнесены и точно ли передал их содержание Фукидид. Главное то, что это были

приемы письма, с помощью которых устами главных действующих лиц эксплицировались мотивы, определившие их политическую линию¹.

О различии между “объяснять” и “понимать” написано немало, в том числе и бакалаврских дипломов, не отличавшихся особой оригинальностью. Различие это заслуживает рассмотрения как с точки зрения того, что им отрицается, так и с точки зрения того, что им утверждается. История и вправду не является наукой — хотя бы и находящейся “в детстве” или “трудной”. Ведь наука, как известно, занимается только общим, только событиями, которые повторяются, а история изучает оригинальные события, исключительные ситуации, никогда не встречающиеся дважды в том же самом виде. В этом смысле самое главное было сказано еще Лакомбом более века тому назад: “Событие, исторический факт, рассматриваемый с той стороны, которая делает его особенным, не подчиняется науке, поскольку последняя является в первую очередь констатацией сходных вещей. [...] Философия истории потерпела неудачу в своих попытках именно потому, что не поняла антинаучного характера события и хотела объяснять его так же, как она объясняет общественные институты”². Далее он показывает, в какой тупик может завести стремление к дотошному поиску фактов: “По мере увеличения массы исторической реальности та доля, которую в состоянии освоить каждый из ученых, становится все меньшим фрагментом, все менее значительной частицей целого. Удаляясь от концепции единого целого, знание эрудита постепенно обесценивается. В результате мы приходим к абсолютно никчемным понятиям, которые никак не продвигают вперед познание мира и человека”³.

Многое можно было бы еще сказать об этой концепции науки и научного объяснения, которой противостоит само понятие понимания. Не входя в дальнейшие подробности этой дискуссии, отметим лишь, до какой степени она стара.

Представление о том, что наука устанавливает законы, что она ведет к воцарению строгой предсказуемости типа “если произойдет событие А, то непременно произойдет и событие В”, больше свойственно сциентизму XIX в., нежели современной науке. Однако уже тогда такие светлые умы, как Курно, предостерегали от подобного чрезмерного упрощения⁴. При-

¹ См.: Aron R. Introduction à la philosophie de l'histoire. Paris: Gallimard, 1938.

¹ См.: Aron R. Thucydide et le récit historique // Dimensions de la conscience historique. P. 124–167.

² Lacombe P. De l'histoire considérée comme science. P. 10–11.

³ Ibid. P. X–XI.

⁴ “Хотя невозможно представить себе научной организации без правил, принципов, классификации, а значит, без определенного обобщения фактов и идей, не следовало бы в то же время воспринимать буквально афоризм древ-

мер, который он приводит, говоря о “гармонии” между живыми существами и средой, о “сети”, создаваемой явлениями природы¹, подтверждается современной экологией: несомненно, изучение экосистем — это наука, а развитие водорослей в водоеме объясняется температурными условиями и содержанием кислорода в воде, но все это еще не гарантирует полной предсказуемости. Определение науки через закон не вполне правомерно. Да и научные законы утратили тот чисто детерминистский характер, который они носили в прошлом веке, а современная физика стала вероятностной. Тем не менее она продолжает описываться через строгие процедуры верификации/опровержения², на которые неспособна история, как, впрочем, и другие социальные науки. Ясно, что история не может быть наукой того же плана, что и химия.

К тому же она на это и не претендует. Вот тут-то и проявляется истинное значение понимания. Оно имеет целью обобщить некую форму познания, которая, отличаясь значительным своеобразием, не является в силу этого менее законной, менее строгой или менее истинной в своем роде, на уровне своего порядка обобщений, нежели объективное познание наук о природе.

Понимание и порядок смысла

С этой точки зрения своеобразие объекта истории заключается на самом деле не в его единичности и не в том, что он разворачивается во времени. Конечно, мы видели, какое большое значение придает историк конкретному, особенному, единичному. Приведенные в начале главы цитаты из М. Блока и Л. Февра демонстрируют их отказ превращать объект своего изучения в бесплотную абстракцию. В этом смысле они действительно поворачиваются спиной к методам, используемым физиками или экономистами. Для того чтобы сформулировать

них о том, что индивидуальное и особенное совершенно не относятся к области науки. Уровень обобщения фактов может быть абсолютно различным у наук, в равной степени способных к порядку и классификации, т. е. к тому, что составляет научную законченность” (Cournot A. Essai. P. 363).

¹ Ibid. P. 81.

² “Фальсификации”, как говорит Поппер, для которого научное предложение определяется его “фальсификацией”: предложение, которое невозможно “фальсифицировать”, т. е. невозможно доказать, что оно ложно, не может считаться научным. Высказывание является научным, если — и только если — логически возможно его опровергнуть. См.: Popper K. La Logique de la découverte scientifique.

закон, физик абстрагируется от всех конкретных условий, в которых происходит явление, и оставляет только абстрактную экспериментальную ситуацию, сводимую к нескольким параметрам. Однако за пределами искусственно созданного пространства лаборатории факты бывают только единичными и особенными. Яблоко, падение которого послужило для Ньютона поводом сформулировать закон тяготения, упало только один раз, и в законе тяготения не уточняется, что оно упало как раз в тот момент, когда Ньютон отдыхал в тени яблони. Но ведь не всегда возможно учесть все параметры, отчего и возникают всякие непредвиденные ситуации с техникой: вероятно, при следующем запуске ракета-носитель “Ариан” стартует без проблем, но нельзя исключить и того, что в проводке может застрять какая-нибудь тряпка... У запусков “Ариана” есть своя история.

Но и вписывание исторического явления в некую темпоральность тоже не может быть той чертой, которая бы абсолютно отличала его от других типов явлений. Как отмечает Курно, и бюллетени выигрышей государственной лотереи можно считать определенной последовательностью из единичных розыгрышей, однако они не составляют истории, “ибо розыгрыши следуют один за другим без всякой связи друг с другом и без какого-либо влияния первых на последующие”¹. Другое дело шахматы.

Антуан Курно: Шахматная партия как эмблема истории

...В шахматной игре, где случайные выпадения игровой кости заменяются обдуманым решением игрока, однако при этом замысел игрока, пересекаясь с замыслом его противника, производит множество случайных комбинаций, мы видим, как начинают проступать условия исторического сцепления. Рассказ об одной партии [...] мог бы стать такой же историей, как и всякая другая, — со своими кризисами и развязками: ибо ходы не только следуют друг за другом, но и связаны друг с другом, и в этом смысле каждый ход в той или иной степени влияет на серию последующих и испытывает на себе влияние предшествующих. Стоит условиям игры еще немного усложниться — и история партии станет философски сопоставима с историей сражения [...] за исключением разве что их результатов. Можно даже предположить, совершенно серьезно, что есть немало таких сражений [...] история которых, в сущности, заслуживает внимания не больше, чем история иной шахматной партии.

Essai sur les fondements de nos connaissances, p. 370.

¹ [Cournot A.] Essai. P. 369.

Как полагает Курно, важно не следование, а сцепление. Для истории недостаточно, чтобы факты располагались в хронологическом порядке; необходимо влияние одних фактов на другие. А это влияние пролегает через сознание действующих лиц, воспринимающих ситуацию и адаптирующихся к ней в зависимости от своих целей, культуры и представлений. Это означает, что нет истории, которую можно было бы назвать в чистом виде “естественной”: любая история предполагает значения, намерения, волю, опасения, воображение и верования. Та единичность, которую так ревностно отстаивают историки, есть единичность смысла. Ее-то мы и имеем в виду, говоря о науках о духе или науках о человеке.

Понятие понимания приобретает здесь полемическое значение; его цель — придать наукам о человеке “научную respeitability”¹, легитимность наравне с науками в собственном смысле этого слова. Пусть история не наука, но это вовсе не значит, что она является субъективным мнением и историки могут говорить все, что им вздумается. Между наукой и простым мнением, между знанием и “частным соображением” существуют строгие способы познания, с полным правом претендующие на истинность; их-то и пытаются выразить через понятие понимания, предлагающее свойственную этому порядку явлений модель интеллигибельности.

Мы искажаем это понятие, если сводим область его применения к поиску мотивов, которыми руководствуются люди в своем поведении, намерений и движущих сил, определяющих их действия, даже если это дает нам возможность проводить эффективные параллели между историей и науками в собственном смысле слова и создавать красивые построения, в которых причины восстают против доводов. Понимание более широко определяет форму интеллигибельности, присущую истории (а также, как показывает Ж.-К. Пассрон, социологии и антропологии), поскольку оно распространяется на поступки, наделенные смыслом и облеченные ценностями, даже тогда, когда это происходит неосознанно и люди просто адаптируются к создавшейся ситуации. На самом деле можно сформулировать это еще точнее и, вслед за Максом Вебером, провести различие между действиями, которые субъективно направляются намерениями или верованиями индивидов, преследующих свою цель — или осуществляющих свою мечту — независимо от реальных условий (так называемая субъективная целерациональность), и действиями, которые направляются разумом и адекватны создавшейся ситуации (объективная рациональ-

ность правильности)¹. Есть факты человеческой истории, в которых роль намерений весьма мала — настолько ограничена в них свобода действия: таковы, например, зерновые кризисы. Плохой урожай пшеницы, а отсюда повышение цен на хлеб, голод и увеличение смертности сами по себе не относятся к области мотивов и доводов в противоположность вызвавшим их причинам, но это ситуации, к которым современники вынуждены приспосабливаться и которые они должны осмысливать.

Внутренний опыт и рассуждение по аналогии

Если понимание направлено на то, чтобы восстанавливать истинный смысл ситуаций или фактов, остается выяснить, какими путями оно может это сделать. Ведь точность и строгость его операций, судя по всему, не отвечают его амбициям. Мы имеем дело не с методом, который можно было бы описать, а скорее с интуицией, основывающейся на предшествующем опыте историка. Суть понимания состоит в его укорененности в жизненном опыте субъекта. Тут-то и проясняются кажущиеся на первый взгляд удивительными соображения историков относительно человека и жизни. Ни Блок, ни Февр не цитируют Дильтея, однако их интуиция сродни его рассуждению.

Вильгельм Дильтей: Внутренний опыт и реальность

Созидание [наук о духе] исходит из жизненного опыта, оно идет от реальности к реальности; оно состоит в том, чтобы проникать все глубже в историческую реальность, чтобы подробнее исследовать ее, приобретать все более широкий взгляд на нее. Сюда не включают никакие гипотезы, которые предполагали бы нечто сверх данного. Ибо понимание проникает в формы выражения чужой жизни благодаря перемещению, совершаемому на основе всей полноты личного опыта. [...]

Это понимание означает не только специфический методологический прием, который мы применяем в отношении таких объектов; речь идет не только о разнице (для наук о духе и наук о природе) в положении субъекта относительно объекта, о типе подхода, о методе; но, кроме того, прием понимания объ-

¹ Это выражение из работы П. Рикёра “Объяснять и понимать” ([Ricoeur P.] Expliquer et comprendre. P. 127).

¹ См. Вебер М. Понимающая социология // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 500.

ективно основывается на том, что внешний элемент, составляющий объект наук о духе, абсолютно отличен от внешнего элемента наук о природе. В этих внешних реальностях объективировался дух, в них отвердели цели, в них реализовались ценности, и именно это вписанное в них духовное измерение схватывается пониманием. Между мной и этими реальностями существует жизненная связь. Их целенаправленный характер находит свое обоснование в моей способности ставить цели, то прекрасное и хорошее, что в них есть, основывается на моем умении устанавливать ценности, а их доступность пониманию обуславливается моим интеллектом. [...]

Во внешней природе взаимосвязь явлений выводится из связи абстрактных понятий. Наоборот, в мире духа внутреннее единство переживается и понимается исходя из пережитого. Гармоническое единство природы абстрактно, а психические и исторические сцепления являются живыми, проникнутыми жизнью.

L'Édification du monde historique, p. 72–73.

В то время как науки о природе осуществляют объективное и абстрактное познание, человечество как объект наук о духе предстает перед нами лишь через жизненный опыт каждого: “Мы понимаем самих себя и других живых существ лишь в той мере, в какой переносим содержание нашей жизни на любую форму выражения жизни, будь то наша собственная или чужая жизнь. Поэтому соединение внутреннего опыта, его выражения и понимания всюду является тем специфическим способом, с помощью которого человечество становится объектом наук о духе”¹.

А как конкретно действует историк, который хочет понять или объяснить в обычном, не научном смысле слова какое-либо историческое явление? Как правило, он старается свести его к явлениям более общего порядка либо найти глубинные или случайные причины, его вызвавшие. Так, причинами Великой французской революции были экономическая ситуация, развитие общественной мысли, подъем буржуазии, финансовый кризис монархии, плохой урожай 1787 г. и т. д.

Может возникнуть желание противопоставить этому претендующему на научность “объяснению” какие-нибудь более тривиальные “объяснения”. Такое, например, которое дает свидетель происшествия прибывшему на место полицейскому: “Я вам объясню... Пожилая женщина переходила по наземному переходу, а машина ехала на большой скорости... Водитель затормозил, но, так как было скользко, он не сумел вовремя

остановиться. Вот вам и все объяснение...” Или, например, объяснение результатов выборов, обсуждаемых за столиком в кафе “Коммерс”: “Они проиграли потому, что, во-первых, скомпрометировали себя в глазах избирателей скандалами, во-вторых — у них не было никакой программы и, в-третьих, в стране экономический кризис и безработица”. Эти в переносном смысле “объяснения” совершенно очевидно не имеют научной значимости и не претендуют на нее. Однако это не мешает им быть верными. А ведь наша жизнь состоит в том, чтобы давать, просить и получать такие вот “объяснения”.

С точки зрения логики, объяснение историка не отличается от объяснения обычного человека. Способ рассуждения, применяемый при объяснении причин Французской революции, логически не отличается от того, с помощью которого человек с улицы объясняет причины дорожного происшествия или результаты выборов. В основе своей это тот же самый интеллектуальный прием, лишь утонченный, улучшенный с учетом дополнительных факторов, как можно было бы улучшить объяснение причин дорожного происшествия, обратившись к таким факторам, как состояние опьянения, в котором мог находиться водитель, качество асфальтирования проезжей части или технические характеристики машины, которые, в свою очередь, сами могли бы быть объяснены: “Сказать вам, почему машины марки X плохо тормозят?...”

Все это равносильно констатации того, что исторический метод как таковой не существует. Есть, конечно, критический метод, позволяющий строго устанавливать факты, чтобы оценивать законность выдвигаемых историком гипотез. Но историческое объяснение — это объяснение, которое практикуется ежедневно. Историк объясняет стачку железнодорожников 1910 г. с помощью рассуждений, ничем не отличающихся от тех, которые использует пенсионер в своем рассказе о стачке 1947 г. Он применяет к прошлому те типы объяснений, которые позволили ему самому понять пережитые им лично ситуации или события. Когда историк говорит, что увеличение налогов в конце правления Людовика XIV сделало его непопулярным, в нем говорит налогоплательщик... А на чем же еще может основываться историк, принимая или отвергая объяснения, предлагаемые ему источниками, если не на своем знании мира и на собственном опыте жизни в обществе, который научил его тому, что некоторые вещи действительно могут иметь место, но вместе с тем есть такое, чего просто не может быть?¹

¹ Dilthey W. *L'Édification du monde historique*. P. 38.

¹ Р. Дж. Коллингвуд спорит в работе “Историческое воображение” (*The Historical Imagination*, p. 11) с этим мнением Брэдли, упрекая его в том, что он дает лишь негативный критерий истины.

Итак, мы пребываем в пространстве того, что Ж.-К. Пассрон называет “естественным рассуждением”. Историк рассуждает по аналогии с настоящим, он переносит в прошлое способы объяснения, доказавшие свою пригодность в каждодневном социальном опыте всех и каждого. Это, кстати, одна из причин того успеха, которым история пользуется у широкой публики: чтобы вникнуть в содержание книги по истории, от читателя не требуется никакой специальной подготовленности.

Разумеется, рассуждение по аналогии предполагает одновременно преемственность времени и его объективацию. Те взаимные переходы между настоящим и прошлым, которые мы анализировали выше, здесь оказываются поистине фундаментальными. С другой стороны, это рассуждение основывается на постулате о проходящей сквозь века глубинной преемственной связи между людьми. И наконец, оно предполагает обращение к предшествующему опыту деятельности и жизни людей в обществе. Ведь этот опыт является связующим звеном между пониманием и пережитым.

История как личное приключение

История и общественная практика

Именно в этом заключается истинное значение совета “жить”, который был дан Л. Февром студентам с улицы Ульм¹. Тот, кто не жил в обществе, не может понять истории. Если бы Робинзона поместили на необитаемый остров в возрасте трех лет, он не сумел бы написать свою историю.

На предыдущих страницах нам уже приходилось указывать по поводу вовлеченности историка в политическую и общественную жизнь на наличие связи между общественной практикой и историей. Мы отмечали, что бывшие — или нынешние — коммунисты, пишущие историю коммунистической партии, выигрывают в знании своего предмета, когда не стесняются демонстрировать свою предвзятость. Дело в том, что историк понимает исторические ситуации на основании того опыта, который он имеет в различных областях общественной практики.

В связи с этим вопрос о расширении сферы личного опыта историка — весьма важный вопрос: чем она шире, тем больше у историка шансов понять различные исторические ситуации. Это обстоятельство может послужить оправданием различных форм опыта, которые, казалось бы, должны лишь отвлекать историка от его мастерской, но на самом деле позволяют ему вернуться туда более подкованным для того, чтобы понять собственный объект изучения. Такой жизненный опыт, каким для Блока стала война 1914–1918 гг., а для Лабрусса — участие в социалистическом движении, содействовал их превращению в подлинных мастеров своего дела. Председательство на межминистерских заседаниях сообщает о них гораздо больше, чем чтение протоколов этих заседаний, и я никогда не понял бы по-настоящему войны 1914 г., если бы в свое время мне не пришлось прочесывать алжирские горы в поисках укрывшихся

¹ Имеется в виду Эколь Нормаль (Высшая нормальная школа). — Примеч. пер.

там партизан. Примеров такого рода можно привести много, но смысл у них один: историк понимает вещи сквозь призму своей собственной социальной практики.

Однако у историка только одна жизнь, значительную часть которой он проводит в библиотеках и архивах. Он не может последовательно побывать министром, монахом, рыцарем, банкиром, крестьянином или проституткой; не может он и, одно за другим, познать войну, голод, революцию, кризис или познакомиться с деятельностью органов разведки. Следовательно, он вынужден опираться на опыт других. Этот косвенный социальный опыт переходит к нему как бы по доверенности через рассказы друзей, родственников, свидетелей. Порой вечер, проведенный с директором предприятия, помогает лучше понять представителей буржуазии прошлого или даже XVIII в.; тот же, кто знает деревню лишь по своему загородному коттеджу, никогда не напишет хорошей истории крестьянства. Мемуары политических деятелей одинаково интересны как в том отношении, что они проливают свет на функционирование институтов и соотношение сил, так и в плане того, что в них говорится о собственной деятельности этих политиков. Основным достижением проводимых Национальным фондом политических наук конференций по правительствам Блюма, Виши или Даладье стало как раз сопоставление объяснений свидетелей с объяснениями историков. Историк нуждается в проводниках, которые указали бы ему путь к пониманию незнакомого универсума.

И наоборот: чем больше он историк, тем более богатой находит он современность, ибо перенесение может осуществляться в двух направлениях — как из настоящего в прошлое, так и из прошлого в настоящее. Объяснение прошлого основывается на аналогиях с настоящим, но оно же, в свою очередь, питает собой объяснение настоящего. Именно это обстоятельство служит оправданием необходимости преподавать историю детям и подросткам, но к этому мы еще вернемся.

Характеристика истории как рассуждения по аналогии, как процесса взаимных переходов между прямой или косвенной современной и прошлой социальной практикой позволяет понять дискурс историков о людях и о жизни. Но этим он не исчерпывается.

История как дружба

Понять — в истории, по существу, всегда значит в какой-то мере мысленно поставить себя на место тех, о ком пишешь. Это предполагает определенное расположение, готовность это сделать, внимательность, умение слушать, и учатся всему этому именно в повседневной жизни. Мы открываем для себя вновь мысль Хаммурапи или Солона, говорил Коллингвуд, так же, как открываем мысль друга, написавшего нам письмо¹. И как весьма справедливо отмечает Марру, тот не может быть хорошим историком, кто “превратно” понимает то, что говорят ему его друзья.

Анри-И. Марру: История как слушание

...Мы понимаем другого только через его сходство с нашим “Я”, с имеющимся у нас опытом, с нашим собственным умственным климатом или универсумом. Мы можем понять лишь то, что в достаточной мере уже является нашим собственным, братским; если бы другой был совершенно непохожим на нас, чужим на все сто процентов, неясно, каким образом было бы возможно понимание.

А раз так, то познание другого может существовать лишь в том случае, если я делаю усилие, чтобы пойти ему навстречу, забыв на мгновение, кто я такой [...] Это дано не всем; каждый из нас встречал в своей жизни людей, которые оказывались неспособными открыться, уделить внимание другому (тех людей, о которых говорят, что они не слушают, когда с ними разговаривают): из таких людей получились бы плохие историки.

Иногда это происходит в силу ограниченности, и тогда это — недостаток ума (едва ли можно называть это эгоизмом: настоящий эгоцентризм утонченнее); однако чаще всего речь идет о людях, которые, согнувшись под тяжестью своих забот, отказывают себе в этой своего рода роскоши: открыться людям [...] историк [...] тот, кто согласен дать волю своей мысли, отправиться в долгие странствия, где все будет для него непривычным, потому что он знает, какое расширение рамок “Я” может обеспечить этот кружной путь, пролегающий через открытие другого.

De la connaissance historique, p. 88–90.

¹ См.: [Коллингвуд Р.Дж.] Идея истории: Автобиография. С. 208.

Но понять “правильно”, т. е. попросту “понять”, предполагает определенную форму сговора, сообщничества с другим. Нужно быть согласным войти в его личность, смотреть на мир его глазами, проникнуться его чувствами, судить по его меркам. Ведь правильно понять можно только изнутри. Это мобилизирующее ум усилие осуществляется при участии наиболее интимных сторон личности. Нельзя оставаться безразличным к тем, кого мы понимаем. Понимание — это также симпатия, чувство. Марру даже говорил — “дружба”.

Анри-И. Марру: Историческое понимание как дружба

Если понимание — это та самая диалектика “Я” и “Другого”, которую мы описали, то оно предполагает наличие некоей широкой основы, образованной братской общностью между субъектом и объектом, между историком и документом (скажем точнее: и тем человеком, который обнаруживается посредством документа, этого знака). Разве можно понять, не имея такого расположения духа, которое делает нас соприродными другому, которое позволяет нам испытать его страсти, продумать его мысли в том самом свете, в каком они виделись ему самому, — одним словом, ощутить единение с другим? Здесь даже мало слова “симпатия”: между историком и его объектом должна завязаться самая настоящая дружба, если историк хочет понять, ибо согласно замечательному высказыванию святого Августина “человек познается только в дружбе”, *et nemo nisi per amicitiam cognoscitur*.

De la connaissance historique, p. 98.

Помимо несколько устаревшего христианского гуманизма, которым вдохновлен этот текст, он привлекает внимание в связи с одним существенным моментом, а именно: он утверждает, что полностью холодная, обеззараженная, бесчувственная история невозможна. Историк не может быть безразличным, иначе он напишет мертвую историю, которая ничего не поймет и никого не заинтересует. После продолжительного знакомства с людьми, которых он изучает, историк не может не испытывать к ним симпатии или любви, хотя иногда речь идет о несчастной любви. Наша история — живая история, неизбежно содержащая в себе долю эмоциональности. А это ставит перед нами три проблемы.

Первая из них — проблема моральных границ исторического понимания. “Объяснить глубоко и с симпатией значит, по крайней мере имплицитно, простить”, — говорит Б. Бейлин по поводу Джефферсона и отцов американской Конституции. У них были вполне понятные причины для того, чтобы не осво-

бождать рабов и не записывать отмену рабства в Конституцию. Но “стремление объяснить эти мотивы представляется попыткой извинить их”¹. Тем более, когда речь идет о таких жутких и преступных эпизодах, как концлагеря. Вслед за Примо Леви я не представляю себе, как можно понять Гитлера:

Вероятно, то, что произошло, не может быть понято и даже не должно быть понято, в той мере, в какой понять значит почти оправдать. В самом деле, “понять” чье-то решение или поведение означает (таков этимологический смысл этого слова²) поместить их в самого себя, поместить в самого себя того, кто за них ответствен, поставить себя на его место, отождествить себя с ним. Так вот, ни один нормальный человек никогда не сможет отождествить себя с Гитлером, с Гиммлером, с Геббельсом, с Эйхманом и многими другими. [...] Быть может, было бы даже желательно, чтобы то, что они говорили — а также то, что они, увы, и делали, — уже не могло быть нами понято. Это были нечеловеческие, или скорее античеловеческие, слова и действия, не имевшие прецедентов в истории³.

В этом смысле историей нацизма заниматься невозможно, если только не делать это как-нибудь по-другому, без понимания, так как в противном случае это означало бы для историка в какой-то мере поставить себя на место Гитлера, отождествить себя с ним, но никто не может даже предположить такого...

Вторая проблема — проблема объективности, или, лучше сказать, беспристрастности. У нас еще будет случай к этому вернуться. Пока же лишь укажем на долг историка демонстрировать ясность мысли, вытекающий, в свою очередь, из его долга глубоко понимать всю совокупность партнеров и ситуаций, которые он исследует: санюлоты и эмигранты, солдаты на фронте, штабы и тыл. Именно экуменизм понимания историка позволяет ему поддерживать необходимую дистанцию, от которой зависит ценность его исследования.

Последняя из проблем, бесспорно, самая трудная: это проблема легитимности перестановки. Поставить себя на место того, кого ты изучаешь, замечательно. Но как удостовериться в том, что тебе это удалось? Понимание — вещь ненадежная: никогда нельзя быть уверенным в том, что тебя правильно по-

¹ Bailyn B. On the Teaching and Writing of History. P. 58.

² Глагол *comprendre* (здесь и далее) имеет два значения: “понимать” и “включать, заключать в себе”. — *Примеч. пер.*

³ Levi P. Appendice écrit en 1976 pour l'édition scolaire de *Si c'est un homme*. Paris: Julliard, 1995. P. 261.

няли. Сколько искренних и исчерпывающих объяснений заканчивались досадным недоразумением? Проблема эта, представляющая опасность уже на уровне повседневной жизни, еще более возрастает в силу временной дистанции. Разве, ставя себя, людей нашего века, на место средневековых людей или хотя бы людей 1930-х гг., мы не рискуем впасть в заблуждение? Л. Февр уже предостерегал от “психологического анахронизма — худшего и коварнейшего из всех видов анахронизма”¹:

...Ибо существует проблема исторической психологии. Когда в своих статьях и трактатах психологи говорят нам об эмоциях, о чувствах, рассуждениях “человека” вообще, они на самом деле имеют в виду *наши* эмоции, *наши* чувства, *наши* рассуждения — словом, нашу психическую жизнь, жизнь белокожих обитателей Западной Европы, представителей различных групп весьма древней культуры. Каким же образом мы, историки, должны пользоваться данными психологии, основанной на изучении людей XX в., для объяснения поступков людей далекого прошлого?²

Опасность в том и состоит, что мы говорим о самих себе, полагая, что это говорят люди прошлого. Но что это: опасность или неотъемлемая составляющая любой истории?

История как история самого себя

Усилия историка, направленные на то, чтобы мысленно поставить себя на место других, на самом деле не мешают ему оставаться самим собой. Он переосмысливает, восстанавливает в своем уме тот коллективный человеческий опыт, историю которого он пишет. То, что он излагает, не является мыслями, чувствами, эмоциями или мотивами действующих лиц, как рядовых, так и выдающихся, по следу которых он идет в своих документах. Нет, это его собственные мысли, это то, как он сам представляет себе прошлое. История есть переосмысление, воскрешение, воспроизведение историком в настоящем тех вещей, которые прежде мыслились, испытывались и проделывались другими. Что бы ни делал историк, он никогда не выходит за рамки самого себя.

Именно на этом и настаивает Коллингвуд. Для историка действия, историей которых он занимается, — не зрелище, представшее его взору, но живой опыт, который он должен пережить от начала до конца в своем собственном уме (*experiences to be lived in his own mind*), опыт, который берется здесь в очень широком смысле, как нечто, что переживается, ощущается, мыслится. Эти действия объективны, т. е. могут быть познаны только потому, что они одновременно и субъективны, поскольку являются действиями сознания самого исследователя¹. История для него — это и познание прошлого и познание настоящего, “знание прошлого в настоящем, самопознание историком собственного духа, оживляющего и вновь переживающего опыт прошлого в настоящем”². И в этом смысле история есть только у тех вещей, которые историк воспроизводит в своем сознании в настоящем.

Робин Дж. Коллингвуд: Единственный предмет исторического познания суть мысли

Если спросить, что может быть предметом исторического знания, то ответ будет: то, что воспроизводится в сознании историка. В первую очередь таким предметом должен быть опыт. Что не является опытом, а просто есть предмет опыта, не имеет истории. Так, нет и не может быть истории природы, кроме природы, как она воспринимается или мыслится ученым. [...]

Предмет, изучаемый [историком], — определенная мысль, а ее изучение связано с ее воспроизведением в нем самом. Но чтобы это смогло произойти в его собственном мышлении, его мысль фактически должна быть расположена к тому, чтобы стать вместилищем другой. [...]

Если [...] [историк] попытается овладеть историей мысли, в которую он не может включиться лично, то вместо создания ее истории он просто повторит положения, регистрирующие внешние факты ее развития: имена и даты, заранее заготовленные описания. Такие повторы могут быть очень полезны, но не потому, что они — история. Они — всего лишь скелет, голый костяк, который когда-нибудь и сможет стать подлинной историей, если найдется человек, который будет в состоянии облечь их в плоть и кровь мысли, мысли, которая будет одновременно принадлежать ему самому и им. Все ска-

¹ [Февр Л.] Бои за историю. С. 106.

² Там же. С. 102.

См.: [Коллингвуд Р.Дж.] Идея истории: Автобиография. С. 208.
Там же. С. 167.

занное мною — лишь один из способов выразить мое убеждение, что мысль историка должна порождаться органическим единством его целостного опыта и быть функцией всей его личности со всеми ее критическими и теоретическими интересами.

Идея истории, с. 288–292.

В этом смысле можно сказать, что всякая история есть познание самого себя: *self-knowledge*. Посредством познания прошлого историк продолжает собственные поиски самого себя. Он вполне может в какой-то период своей жизни счесть ту или иную историческую ситуацию не представляющей интереса — и вплотную заняться ею в другой период, понять, спустя время, то, чего прежде не воспринимал. Несмотря на весь свой интерес, специальные очерки по эгоистории сообщают нам об историках меньше, нежели чтение их книг. Мы обнаруживаем здесь, хотя и кружным путем, послание Мишле: историк является порождением своих трудов.

Но, открывая самого себя, историк в то же время открывает, что он способен поставить себя на место бесчисленного множества различных персонажей. Он в каком-то смысле подводит в самом себе итог жизни значительной части человечества, оказываясь при этом во множестве различных ситуаций. История не была бы столь чарующей, если бы не сочетала этого углубления в себя с открытием других.

Робин Дж. Коллингвуд: Познание самого себя и познание мира людских дел

Если историк познает мысли прошлого и познает их, продумывая их вновь в себе, то отсюда следует, что знание, обретаемое им в ходе исторического исследования, не является знанием о его положении, противопоставленным познанию самого себя. Это — знание своего положения, являющееся в то же время и познанием самого себя. Продумывая вновь чью-нибудь мысль, он мыслит ее сам. Зная, что кто-то другой мыслил таким образом, он узнает и о своей способности мыслить таким образом. А убеждаясь, что он в состоянии это делать, он устанавливает и то, каким человеком он сам является. Если он в состоянии понять мысли людей самых различных типов, воспроизводя их в себе, — значит, в нем самом должны присутствовать самые различные типы человека. Он должен быть микрокосмом всей истории, которую он в состоянии познать. Таким образом, познание им самого себя оказывается в то же самое время и познанием мира людских дел.

Автобиография, с. 388.

Нам придется отойти от этой “понимающей” стороны исторического исследования: в самом деле, она должна быть уравновешена другими, менее интуитивными, более рациональными и более надежными элементами. Ведь рассмотренный момент — это еще не все в истории. Однако именно он является ее главной составляющей, придающей объяснению жизненность и теплоту.

Воображение и причиновменение

Основное место в конструировании истории понимание отводит воображению. Ведь переносить на некоторую историческую ситуацию схемы объяснения, которые испытаны на настоящем, ставить себя на место тех, кого изучаешь, значит вызывать эту ситуацию и этих людей в своем воображении. Для иллюстрации данной мысли Коллингвуд приводит в пример человека, который пригласил к себе в гости друга и, спустя несколько минут после его ухода, думает о нем, воображая, как тот поднимается по ступенькам своего дома и ищет в кармане ключи. Когда он представляет себе это, он делает то же самое, что делает историк, конструируя историю.

В этом замечании нет ничего нового. Об этом уже говорил Ш. Сеньобос, которому обычно приписывают достаточно наивные взгляды.

Шарль Сеньобос: Мы вынуждены воображать...

Фактически в социальных науках мы оперируем не реальными объектами, а представлениями, которые мы составляем об объектах. Мы не видим людей, животных, дома, которые перечисляем, мы не видим институты, которые описываем. Нам приходится воображать людей, вещи, действия, мотивы, которые мы изучаем. Именно эти образы и являются практическим предметом науки об обществе, их-то мы как раз и исследуем. Какие-то из них могут быть воспоминаниями об объектах, которые мы наблюдали лично; но воспоминание — это уже всего лишь образ. Большая же часть наших образов даже не была получена через воспоминания; мы изобретаем их по образу и подобию наших воспоминаний, т. е. по аналогии с образами, полученными посредством воспоминания [...] Чтобы описать работу профсоюза, мы пытаемся представить шаги и действия его членов.

La Méthode historique, p. 118.

Сеньобос говорит, хотя и другими словами, то же самое, что и Коллингвуд. Можно было бы на этом и не останавливаться, если бы воображение было задействовано только в конструировании исторических фактов. Но все дело в том, что оно, кроме того, играет первостепенную роль в исследовании причин, т. е. в том, что мы обычно называем историческим объяснением, понимая под этим не нечто, противостоящее пониманию, как это было с “научным” объяснением в предыдущей главе, а скорее его логическое продолжение.

В поисках причин

Причины и условия

Конечно, вопрос о значении, которое должно отводиться в истории поиску причин, является спорным. Но мы не ставим перед собой нормативных целей: наша задача состоит не столько в том, чтобы сказать, чем именно должна быть история, сколько в том, чтобы проанализировать, как ею обычно занимаются. И все же, несмотря на то что в истории существуют иные, чем воссоздание причинных связей, формы интеллектуальности, мы вынуждены констатировать, что историки уделяют большое внимание поиску причин изучаемых событий и определению того, какие из них наиболее важны. Каковы, например, причины нацизма? Или войны 1914 г.? Или революционного террора якобинцев? Или конца Римской империи? Вокруг такого рода вопросов и строится обычно историческая дискуссия.

Для того чтобы понять, что имеют в виду историки, когда говорят о причинах, необходимо внести некоторые уточнения, ибо есть причины — и причины.

Нередко противопоставляют причины поверхностные и причины глубинные, что связано с наложением темпоральностей: глубинные причины труднее заметить, они являются более общими, более важными и всеобъемлющими; они сильнее довлеют над событиями; они в некотором роде больше “причины”, чем причины поверхностные. А это, в свою очередь, ставит вопрос об иерархии причин, которая полностью отсутствует в мире науки: с точки зрения логики детерминизма, причина — либо причина, либо нет, она не может быть ею в большей или меньшей степени. Ясно, что данное слово имеет в этих двух мирах разный смысл.

Возможно, более наглядным является деление на конечные причины (или конечные цели), материальные причины и случайные причины. Конечные цели относятся к области намерений, поведения, оцениваемого с точки зрения его рациональности, т. е. к области понимания, причем вслед за Вебером не-

обходимо различать объективную рациональность правильности и субъективную целерациональность (см. выше, с. 158–159). Но наряду с конечными целями есть еще и материальные причины, т. е. объективные данные, объясняющие историческое событие или ситуацию: плохой урожай, повышение цен на хлеб и т. п. В данном случае следовало бы говорить не столько о причинах, сколько об условиях: они не предопределяют, в строгом смысле, ситуацию или событие, они не делают его неотвратимым, и все-таки можно думать, что без них оно бы не произошло. Эти условия сделали его возможным и даже вероятным. Что касается случайных причин, то они всегда немного зависят от случайного совпадения, они в любом случае являются результатом стечения обстоятельств и служат своего рода спусковым механизмом. Они объясняют, почему событие, вызванное материальными причинами, происходит именно в данный момент и в данном виде. Вспомним в этой связи известный пример, который приводят по очереди сначала Сеньобос, потом Симиан, в противовес Сеньобосу придавая этому примеру прямо противоположный смысл, и наконец М. Блок. Во взрыве мины искра, воспламеняющая порох, — причина случайная; материальные причины взрыва другие: полая минная камера, плотность горной породы вокруг камеры, пороховой заряд¹. И наконец, можно добавить к этому конечную цель: мотивы, по которым кто-то решил взорвать мину, — например планируя расширить дорогу.

В каком-то смысле подобное исследование и подобное выстраивание иерархии причин сближают историю с науками: мы отдаляемся здесь от эмпатического понимания или романтической интуиции, чтобы вступить в иной интеллектуальный порядок — порядок рассуждения и аргументации. Здесь есть также вторая сторона дела, совершенно иного свойства — по крайней мере, на первый взгляд. Дело в том, что понимание и объяснение исторических явлений имеют некоторую аналогию с пониманием и объяснением литературных текстов. Как отмечает П. Рикёр², бессмысленно противопоставлять непосредственное, интуитивное понимание текста структурному анализу, которому можно его подвергнуть, ибо как можно быть уверенным, что текст понят правильно, если не был произведен его анализ, и зачем, с другой стороны, производить анализ, если нет того, что надо понять. Точно так же и в истории: одного понимания недостаточно, и оно рискует стать ошибочным, если мы не удосужимся выстроить на его основе более систе-

матическое объяснение, прибегнув для этого к анализу первоначальной ситуации, выявив разнообразные факторы и взвесив все причины.

Такое обращение к рациональному объяснению сокращает расстояние, отделяющее историю от науки. Разумеется, в науке есть законы, а в истории их нет, но всякий закон подчинен условиям, при которых он имеет силу. Так, химические реакции зависят от температурных условий и создаваемого давления. Так что же: сама природа истории исключает возможность закона или же условия, при которых эти эвентуальные законы имели бы силу, настолько многочисленны, сложны и взаимозависимы, что этот клубок невозможно распутать? Но в таком случае можно было бы предположить, что когда-нибудь история, которой будут свойственны большая законченность и большая результативность, сможет все-таки стать в один ряд с другими науками. Именно в этом смысле М. Блок говорил о ней как о науке, находящейся еще “в детстве”.

И все же нужно отказаться от этой иллюзии. По меньшей мере по двум причинам. Первая была подробно рассмотрена в предыдущей главе: человеческое поведение, составляющее объект истории, находится в ведении порядка смысла, а не порядка научных обобщений. Вторая причина — не менее веская: это необычайная сложность переплетений причин в истории. Даже превосходному историку, всепонимающему и всезнающему, распутать их было бы не под силу. Эта сложность является неотъемлемым свойством исторических объектов. Как говорил Вебер, “даже описание самого маленького фрагмента реальности никогда не может быть осмыслено исчерпывающим образом. Число и природа причин, предопределивших какое-нибудь единичное событие, всегда бесконечны...”¹

Получается весьма противоречивая картина. Полностью история необъяснима, но она объяснима. Если бы ее можно было объяснить до конца, то она была бы абсолютно предсказуема. Итак, она не является ни всецело детерминированной, ни всецело зависящей от случая. Случиться может далеко не все, и если бы историк захотел, он смог бы до некоторой степени предвидеть будущие события, но, естественно, не в их точном виде. Прогноз, который бы ставил точный диагноз и вдобавок оставлял бы место для разных стечений обстоятельств, невозможен. “Можно предсказать, что произойдет, но лишь с оговоркой, что мы не станем заниматься предсказанием каждой вещи в деталях”, — говорил в 1850 г. Штайн, чей прогноз конституционного развития Пруссии выдержал про-

¹ См.: *Seignobos Ch.* La Méthode historique. P. 270; *Simiand F.* Méthode historique et science sociale. P. 93; Блок М. Апология истории. С. 60.

² См.: [Ricoeur P.] Expliquer et comprendre.

¹ Вебер М. Понимающая социология. С. 376.

верку историй¹. Но случается также, что историки ошибаются: многие описывали социалистические режимы Восточной Европы как абсолютно стабильные структуры, а между тем Берлинская стена пала... В повседневном опыте присутствуют не абсолютный детерминизм, с одной стороны, и чистое совпадение, с другой, но их смешения в различных дозах — от вполне определенного предсказания до полной непредсказуемости, включая все стадии вероятного и возможного.

Историческое объяснение, призванное распутать этот клубок многочисленных причин, обязано данной ситуации несколькими своими особенностями, делающими его весьма специфической интеллектуальной операцией.

Ретросказание

История, как подчеркивал в конце XIX в. П. Лакомб, восходит от следствия к причине, тогда как наука движется от причины к следствию. Такое направление вытекает из того значения, которое ученые-натуралисты придают воспроизводимости своих экспериментов: одни и те же причины, действующие в одних и тех же экспериментальных условиях, производят одни и те же следствия. История же видит одни только следствия, причем каждый раз разные, и пытается докопаться до их истоков. Она, таким образом, не предсказание; она — ретросказание.

Поль Лакомб: От случайного к необходимому

...Причиной одного явления является другое явление, которое по необходимости ему предшествует. Если бы последующему явлению для того, чтобы произойти, не требовалось предшествование другого, мы бы и не подумали считать это последнее причиной.

С идеей необходимого предшествования связывается в каком-то смысле полярная идея более или менее обязательного следования. Мы понимаем, что если имеется первый член, то будет и второй; вслед за причиной мы ожидаем наступление следствия, но уже не с той уверенностью, какая у нас бывает, когда речь идет о предшествовании причины.

Действительно, опыт учит нас, что следование не всегда является неумолимо заданным. Мы наблюдаем бесконечное мно-

жество ступеней в том своего рода принуждении, которое antecedent осуществляет над консеквентом — от совершенно неизбежного до вероятного и возможного.

Когда нам кажется, что следствие с неумолимостью вытекает из вызвавшей его причины, мы говорим, что оно необходимо; когда же, несмотря на наличие причины, нам кажется, что следствия может и не быть, мы говорим, что оно случайно. Это два субъективных термина, которые имеют отношение к нам самим и выражают некое интеллектуальное и вместе с тем моральное впечатление [...] в этих терминах нет ничего абсолютного; не в природе имеются две отчетливо различные вещи — необходимое и случайное, но в нас самих присутствует некое градуированное впечатление; мы противопоставляем необходимое случайному, как говорим: холодное и горячее. [...]

До сих пор мы употребляли слово “причина”. Но можно употреблять и слово “условие”. Все, что называют причинами некоего следствия, представляет собой условия наступления этого следствия. Условие может быть абсолютно обязательным для наступления следствия: пока оно не выполнено, следствие невозможно. Но, с другой стороны, даже когда условие выполнено, бывает, что следствие не наступает еще неопределенно долгое время. Оно, таким образом, его настоятельно обуславливает, но при этом вовсе не предопределяет.

De l'histoire considérée comme science, p. 250–251.

Ретросказание предполагает возможность двигаться во времени в обоих направлениях — мы еще поговорим об этом. Оно привносит в поиск причинности в истории элемент стабильности и силы, который не следует недооценивать: конечный пункт задан, и в своей работе историк исходит именно из него. Этим, однако, не устраняется полностью риск бредовых построений, но, по крайней мере, он сведен к минимуму. Так, историк может предлагать всевозможные трактовки Французской революции, но в любом случае у всех его объяснений имеется общий инвариант, к которому они должны сводиться: сама революция. Так что полет фантазии приходится сдерживать.

Это замечание не лишено основания, ибо в поисках причин историк очень часто обращается к своему воображению.

¹ См.: Koselleck R. Le pronostic historique dans l'ouvrage de Lorenz von Stein sur la Constitution prussienne // Le Futur passé. P. 81–95.

Воображаемый опыт

Писать историю в сослагательном наклонении

Частенько приходится слышать, что историю, дескать, не пишут в сослагательном наклонении. Но в том-то и дело, что пишут.

Конечно, есть только одна история — та, что произошла. Воображать, что вещи могли бы быть не такими, какими они были, не имеет смысла — по крайней мере, так считается. Например, на первый взгляд — пустая трата времени представлять, что Революция могла бы не произойти или что Франция могла не быть поверженной в 1940 г., что железные дороги могли быть не изобретены или что в Римской империи не возделывался бы виноград. Напоминая о том, что в истории не должно быть сослагательного наклонения, тем самым возвращают к реальности тех, кто пытается от нее уйти; это просто необходимая регулирующая норма, о которой считают нужным напомнить.

Однако повторяющийся характер этого предостережения заставляет задуматься над вопросом: а нет ли здесь какого-то постоянного искушения, присущего историческому исследованию? Можно ли понять, почему вещи произошли именно так, как они произошли, если не спрашивать себя: а могли ли они произойти иначе? По правде говоря, вообразить себе другое развитие истории — это и есть единственный способ найти причины истории реальной.

Такой подход был даже систематизирован американскими историками в журнале *New Economic History*. Чтобы измерить влияние железных дорог на рост американской экономики, они решили реконструировать развитие этой экономики на основе допущения, что железные дороги были в то время неизвестны¹. Другие историки выстраивали модель российской

экономики после 1918 г., основанную на гипотезе о том, что эта экономика могла не быть социалистической, т. е. предположив крах советской революции.

Французские историки в основном отнеслись к этому демаршу сдержанно. Построения, противоречащие фактам, казались им авантюрными. Действительно, как следует из приведенных примеров, в этих построениях задействовано слишком большое число переменных, а их сочетание является отчасти случайным. Но сам по себе демарш совершенно законен. Чтобы это показать, я приведу пример, кажущийся мне бесспорным.

Историки войны 1914 г. и историки, занимающиеся изучением народонаселения Франции, имеют обыкновение при подсчете военных потерь складывать собственно военные потери с тем, что они называют «повышенной смертностью среди гражданского населения». Война повлекла за собой многочисленные неблагоприятные последствия для населения, нехватку продовольствия, недостаток угля в условиях очень суровой зимы 1916–1917 гг. Эти плохие условия жизни привели к смерти большего числа гражданских лиц, чем в мирное время. Казалось бы, логично включать этот показатель в общий итог войны.

Однако данный анализ имеет несколько недостатков. Во-первых, он включает потери, ставшие следствием эпидемии испанки 1918 г. Но ведь никто не может утверждать, что эпидемия явилась следствием войны, ибо она затронула также жителей нейтральных стран, и иногда уже после войны.

Второй недостаток — приблизительность выводов. Уже само понятие «повышенная смертность среди гражданского населения» предполагает анализ, противоречащий фактам: чтобы говорить о повышенной смертности, нужно сравнить фактическую смертность с тем, что было бы, если бы не было войны. Но поскольку эта противоречащая фактам история не осознает себя таковой, она не располагает оформленными гипотезами, и это не дает ей возможности их верифицировать.

Так попробуем же это сделать¹. Итак, половая и возрастная статистика смертей известна. Немного критики, чтобы не огорчать старика Сеньюбоса, позволяет исключить из анализа показатели смертности среди мужского населения, так как их трудно отделить от военных потерь, являющихся к тому же столь значительными для некоторых возрастов, что это делает невозможным любое сравнение. Возьмем лишь показатели

¹ См.: *Fogel R. Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History*. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1964.

¹ Мы используем здесь неопубликованные результаты исследований д-ра Дж. Уинтера из Колледжа Пемброук в Кембридже (Dr. Jay Winter, Pembroke College, Cambridge).

смертности среди женщин. Они достоверно описывают ту историю, которая реально имела место.

Чтобы сравнить ее с тем, что произошло бы, если бы не было войны, нам нужно подсчитать, сколько женщин из разных возрастных групп умирало бы ежегодно, если бы все было нормально; причем мы должны помнить, что это гипотеза, которая противоречит фактам. Но ведь эти “теоретические” смерти прекрасно можно подсчитать: мы знаем средние показатели смертности для разных возрастов и полов за предвоенные и послевоенные годы. Выдвигая гипотезу о том, что известные нам тенденции без войны имели бы продолжение, мы получаем “теоретические” средние показатели смертности в годы войны. Применяв их к известной нам численности женского населения, мы получим количество “теоретических” смертей. Сравнение становится возможным.

И вот что удивительно: в 1915, 1916 и 1917 гг. смертность среди женщин была ниже, чем должна была бы быть, если бы все было нормально. В указанные годы не только не наблюдается “повышенная смертность”, но, наоборот, следовало бы говорить о “пониженной смертности” среди гражданских лиц. Анализ данных приводит к сходным результатам по Соединенному Королевству, но к противоположным — по Германии. Отсюда напрашивается вывод, что союзникам удавалось поддерживать приемлемые условия жизни гражданского населения в годы войны, тогда как могущественная в других отношениях немецкая администрация оказалась к этому абсолютно неспособной. Подобное обстоятельство немало содействовало общей дезорганизации германского общества в 1918 г. и попыткам революционного переворота, имевшим место по ту сторону Рейна в конце войны.

Я счел нужным достаточно подробно рассмотреть этот пример не только по той причине, что он интересен сам по себе, но и для того, чтобы показать, что обращение к расчетам предполагает формализацию. В этом смысле данный пример можно считать наглядной иллюстрацией того самого контрфактического демарша, который, как правило, неосознанно, присутствует в любой истории.

Воображаемый опыт

Если уж на то пошло, всякая история противоречит фактам. Но для того чтобы выявить причинные связи, нет другого способа, кроме как мысленно перенестись в прошлое и задаться вопросом, остался ли бы ход событий тем же самым в случае

изменения того или иного отдельно взятого фактора. Как уже подчеркивал век тому назад П. Лакомб, в истории возможен только воображаемый опыт.

Поль Лакомб: Воображаемый опыт в истории

Я должен [...] сказать несколько слов о том особенном опыте, который является единственно возможным в истории, — воображаемом опыте. Он состоит в мысленном допущении того, что целый ряд событий мог иметь другой ход по сравнению с тем, который они имели в действительности, например — в переделывании Французской революции. Многие, без сомнения, сочтут, что это напрасная и чуть ли не опасная затея. Но я не разделяю этого чувства; более реальную угрозу я вижу в той тенденции, которая заставляет всех нас считать, что исторические события и не могли быть другими, чем они были. Надо, наоборот, создавать в себе ощущение их крайней зыбкости. Попытка представить себе историю другой, чем она была, служит прежде всего этой цели.

De l'histoire considérée comme science, p. 63–64.

Философы обычно рассматривали этот вопрос, основываясь на примерах, взятых из классической событийной истории. Так, Макс Вебер рассуждает о роли, которую сыграл Бисмарк в развязывании войны 1866 г. между Австрией и Пруссией¹, а Раймон Арон на том же самом примере очень тонко прослеживает операции, которые производит при этом историк.

Раймон Арон: Взвешивать причины...

Если я говорю, что решение Бисмарка стало причиной войны 1866 г. [...] то я имею в виду, что без решения канцлера война бы не началась (или, по крайней мере, не началась бы в тот момент) [...] фактическая каузальность выявляется только путем сопоставления с тем, что имелось в возможности. Любой историк для объяснения того, что было, задается вопросом о том, что могло бы быть. Теория же служит лишь для того, чтобы облечь в логическую форму этот спонтанный прием, которым пользуется всякий рядовой человек.

¹ Макс Вебер берет этот пример у Эдуарда Майера (*Meyer E. Zur Theorie und Methodik der Geschichte. Halle, 1902*), который представляет войну 1866 г. как результат решения Бисмарка. Всю эту дискуссию см.: Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 465.

Если мы ищем причину явления, то не ограничиваемся простым сложением или сопоставлением antecedentов. Мы стараемся взвесить собственное влияние каждого из них. Для осуществления подобной градации мы берем один из этих antecedentов, мысленно полагаем его несуществующим или видоизмененным и стараемся реконструировать или вообразить, что произошло бы в этом случае. Если нам приходится признать, что изучаемое явление в отсутствие этого фактора (или в случае, если он был бы не таким) было бы иным, мы заключаем, что этот antecedent является одной из причин какой-то части явления-следствия, а именно той его части, изменения в которой нам пришлось предположить. [...]

Таким образом, логически исследование включает в себя следующие операции: 1) расчленение явления-следствия; 2) установление градации antecedentов и выделение того antecedenta, влияние которого нам предстоит оценить; 3) конструирование ирреального течения событий; 4) сравнение между собой умозрительных представлений и реальных событий.

Предположим на время [...] что наши общие знания социологического характера позволяют нам создавать ирреальные конструкции. Но каков будет их статус? Вебер отвечает: речь в этом случае будет идти об *объективных возможностях*, или, иначе говоря, о развитии событий в соответствии с известными нам закономерностями, но лишь вероятном.

Introduction à la philosophie de l'histoire, p. 164.

Этот анализ, помимо событийной истории, в полной мере относится и ко всему остальному: "Любой историк для объяснения того, что было, спрашивает себя о том, что могло быть". По сути, это один и тот же интеллектуальный прием, практикуемый независимо от конкретной исторической проблемы: "Фактическая каузальность выявляется только путем сопоставления с тем, что имелось в возможности".

Если, например, перед нами встает вопрос о причинах все той же Великой французской революции и если мы хотим взвесить то значение, которое имели соответственно экономические факторы (кризис французской экономики в конце XVIII в., плохой урожай 1788 г.), социальные факторы (подъем буржуазии, дворянская реакция), политические факторы (финансовый кризис монархии, отставка Тюрго) и т. д., то не может быть иного решения, кроме как рассмотреть одну за другой все эти различные причины, предположить, что они могли быть другими, и попытаться вообразить развитие событий, которое бы могло последовать в этом случае. Как говорит М. Вебер, "чтобы распутать реальные причинные отношения,

мы создаем нереальные"¹. Такой "воображаемый опыт" является для историка единственным способом не только выявить причины, но также *распутать, взвесить* их, как выражаются М. Вебер и Р. Арон, т. е. установить их иерархию.

Эта решающая роль воображаемого опыта в конструировании исторических объяснений заставляет обратиться к выяснению тех условий, при которых он возможен.

¹ Цит по: Ricoeur P. Temps et Récit. Т. I. P. 328.

Основания и импликации причиновмещения

Прошлое, настоящее и будущее в прошедшем

Во-первых, воображаемый опыт основан на манипулировании временем. Конструирование ирреального течения событий для нахождения причин их реального течения предполагает дистанцирование и реконструкцию времени. Мы много говорили о свойственной истории форме темпоральности, подчеркивая тот факт, что это прошедшее время, доходящее вплоть до настоящего, может прокручиваться историком в двух направлениях — как вверх по течению, так и вниз. Именно посредством этих непрерывных взаимных переходов между настоящим и прошлым, а также между различными моментами самого прошлого и строится история. Исследование причин есть прокручивание времени посредством воображения.

Впрочем, и само это исследование может касаться времени: среди причин, важность которых стремится взвесить историк, непременно фигурирует время — слишком короткое или слишком долгое. Была бы Германия побеждена в 1918 г., вступили американцы в войну позже? Если бы царская Россия не была ввергнута в войну 1914 г., смогла бы политика создания сельской буржуазии заложить достаточные социальные основы конституционного строя?

В этом прокручивании времени историк помещает себя в тот его момент, когда будущее предвосхищалось в их настоящем людьми прошлого в свете их собственного прошлого. Силой своего воображения он восстанавливает некий момент прошлого в качестве вымышленного настоящего, относительно которого он по-новому определяет, что есть прошлое и что есть будущее. Его прошлое является, таким образом, трехмерным временем.

Но прошлое и будущее этого прошлого сделаны из разного теста. Р. Козеллек оформляет это различие с помощью двух отнюдь не симметричных понятий: поле опыта и горизонт

ожиданий¹. Поле опыта людей прошлого есть присутствие для них их прошлого, то, каким именно образом оно становилось для них актуальным. Это поле одновременно рациональное и иррациональное, личностное и межличностное. Оно перешагивает через хронологические рамки и перескакивает через целые временные отрезки, ибо люди прошлого, так же, как и мы, предпочитали стирать некоторые элементы своего прошлого, чтобы придать весомость другим. Горизонт же ожиданий — это присутствие для них будущего: горизонт, который никогда не обнаруживается целиком, в том виде, в каком его видит сегодняшний историк, но который может угадываться шаг за шагом: людям прошлого приходится долго ждать, чтобы он открылся перед ними полностью. Это прошлое будущее является предметом предвосхищения, возможных альтернатив, надежд и опасений.

В таком манипулировании временем заключено большое преимущество, но также и большой риск. Преимущество состоит в том, что историк является уже после события или ситуации, которые он изучает. Ему известен, таким образом, реальный ход событий. Как раз это-то знание последующего (относительно изучаемого прошлого) развития событий и придает фактам исторический характер. Как совершенно верно замечают учащиеся, “исторические”, в смысле “запоминающиеся”, “достойные описания”, события — это те, которые имеют последствия. Пойти купить в бакалее банку консервов — это не исторический факт. Для того чтобы стать историческим, факт должен обладать способностью вызывать какое-то изменение². Историк как бы опережает изучаемое время. Он может совершенно точно диагностировать то, что должно произойти, поскольку это уже произошло. Он легко, даже слишком легко, отличает важные события от менее важных. Ф. Бродель называл это “неумолимыми удобствами нашего ремесла”:

Разве мы не можем уже в самом начале исследования выделить главное в той или иной исторической ситуации с точки зрения ее становления? В столкновении сил уже известно, кто одержит верх, мы заранее распознаем важные события, “те, которые будут иметь последствия”, за которыми — будущее. Какая громадная привилегия! Сумел бы кто столь же надежно отличить долговременное от эфемерного в сутолоке современной жизни!³

¹ См.: Koselleck R. Champ d'expérience et horizon d'attente // Le Futur passé. P. 307–329.

² См.: Sadoun-Lautier N. Histoire apprise, Histoire appropriée. Ch. 3. Из инаугурационной лекции в Коллеж де Франс: [Braudel F.] Écrits sur l'histoire. P. 30. Приведенный отрывок приобретает особую ценность в силу того, что Ф. Бродель воспроизводит его дважды в одних и тех же выражениях: в первый раз — в этой лекции 1950 г., во второй — в статье для *Revue économique* тоже 1950 г., впоследствии включенной в *Écrits*, p. 123–133.

“Очевидное и опасное упрощение”, говорит Ф. Бродель в другом месте¹. Действительно, эта счастливая возможность неотделима от большого риска. Ретроспективное познание того, что для людей прошлого было будущим, в действительности чревато риском искаженно воссоздать горизонт их ожиданий, неоправданно сузить его и даже закрыть историю глаза на те возможности, которые таила в себе ситуация.

Хороший пример тому — история французской кампании 1940 г. Поражение было событием настолько быстрым и широкомасштабным, что историки, находясь под впечатлением разгрома и болезненно переживая падение Франции, нередко описывали те пять недель, истекшие с момента немецкого прорыва в Арденнах до просьбы о перемирии, как античную трагедию, в которой трагическая развязка неотвратима. Но для горизонта ожиданий французов в начале мая 1940 г., неразрывно связанного с тем полем опыта, на котором еще не померкла память о битве на Марне и о выстраданной победе 1918 г., поражение было лишь одним из альтернативных сценариев — возможным, но ни очевидным, ни неизбежным. Прошло полвека, прежде чем на основе тщательного изучения документов, проведенного к тому же одним из участников Сопротивления, было показано, что потери французской армии в мае-июне 1940 г., равнявшиеся 100 000 человек, превосходили потери в боях под Верденом и что в конце мая в ходе попытки удержать позиции на Сомме войска на время воспряли духом. Принимая во внимание наличные силы и темпы производства вооружения, достигнутые на тот момент, — в мае, несмотря на военные действия, Франция производила танков больше, чем Германия, — можно утверждать, что поражение не было неотвратимым².

Это показывает нам, насколько важно для историка не злоупотреблять самоцензурой и не сводить свои гипотезы к тому состоянию дел, которое он может знать в силу того, что идет по следам событий. Создавать ирреальные сценарии развития

событий — “единственный способ избежать ретроспективной иллюзии фатальной предопределенности”¹.

Объективные возможности, вероятности, фатальная предопределенность

Здесь мы затронули самое сокровенное в ремесле историка, наиболее чувствительную его точку. Дело в том, что такое вероятностное воображаемое конструирование является, в сущности, тем, что позволяет истории примирить свободу действующих лиц и непредсказуемость будущего с выявлением и иерархизацией причин, которыми обусловлены их действия.

П. Рикёр вслед за Р. Ароном особо подчеркивал это обстоятельство. То, что историк воссоздает имевшиеся в горизонте ожиданий прошлого объективные возможности, которые были всего лишь вероятными, да и то в неодинаковой степени, вовсе не является литературным приемом, позволяющим ему ввести в свое повествование элемент “напряженного ожидания”; это прежде всего — дань уважения принципиальной неизвестности события.

Поль Рикёр: Уважать неизвестность события

...Логика ретроспективной вероятности приобретает вполне определенное значение, представляющее непосредственный интерес для нашего исследования исторической темпоральности. “Смысл осуществляемого историком исследования причин, — говорит Арон, — не столько в том, чтобы очерчивать контуры исторического рельефа, сколько в том, чтобы сохранять или воссоздавать в изучаемом прошлом неизвестность будущего” (с. 181–182). И еще: «Ирреальные конструкции должны оставаться неотъемлемой частью науки, даже если они не выходят за пределы весьма сомнительного правдоподобия, ибо они являются единственным средством избежать “ретроспективной иллюзии фатальной предопределенности”» (с. 186–187). Как это возможно? Следует понять, что операция воображения, посредством которой историк мысленно полагает один из исчезнувших или видоизменившихся antecedентов, а затем пытается сконструировать то, что произошло бы с учетом этого допущения, имеет выходящее за рамки эпистемологии значение. Ис-

¹ В знаменитой статье о долговременности (*longue durée*). [Écrits sur l'histoire.] Р. 58.

² Читатель, которому интересно узнать подробности этих событий, приведенных мною лишь в качестве примера, может обратиться к работе: *Crémieux-Brilhac J.-L. Les Français de l'an quarante*. Paris: Gallimard, 1990. 2 vol. Жан-Пьер Азема в своем разделе написанной им совместно с Мишелем Виноком работы попытался рассказать о кампании 1940 г. так, как если бы он не знал ее исхода, но в то время он еще не располагал результатами архивных разысканий, проводимых — вот уже в течение десяти лет — Ж.-Л. Кремье-Брилаком.

¹ Aron R. Dimensions de la conscience historique. Р. 186–187.

торик выступает здесь в роли рассказчика, который устанавливает новые соотношения для трех измерений времени относительно некоего вымышленного настоящего. Стремясь увидеть событие другим, он создает ухронию, противостоящую гипнотической силе минувшего. Ретроспективная оценка возможностей приобретает, таким образом, нравственное и политическое значение, превосходящее ее чисто эпистемологическое значение: она напоминает читателям истории о том, что «прошлое с точки зрения историка было будущим с точки зрения его исторических персонажей» (с. 187). В силу своего вероятностного характера причинное объяснение сообщает прошлому непредсказуемость, являющуюся маркером будущего, и вводит в ретроспекцию неизвестность события.

Temps et Récit, t. 1, p. 331–332¹.

Таким образом, нравственный и политический урок уважения непредсказуемости будущего — это урок свободы. Р.Дж. Коллингвуд в свойственной ему парадоксальной манере и в рамках своей идеалистической философии доказывал, что нельзя понять, что история является автономной наукой, не поняв при этом, что человек свободен². Тем самым он затрагивал основополагающий вопрос: при условии уважения неизвестности события именно история позволяет мыслить одновременно свободу человеческого действия и принуждение, накладываемое ситуацией.

В то же время вероятностное воссоздание вариантов будущего, которые могли бы иметь место, есть единственное средство, позволяющее вскрывать причины и устанавливать их иерархию в истории. Воображение, к которому здесь настойчиво взывают, не является чистой фантазией. Да, ирреальные конструкции, которые оно создает, — это, конечно, вымысел, но они не имеют ничего общего с бредом или сном. Они укоренены в реальном и вписываются в воссоздаваемые историком факты. Гипотеза о возможности стабилизации линии фронта в мае 1940 г. основывается на анализе упущенно-

¹ Ср. имеющийся перевод: Рикёр П. Время и рассказ. М.; СПб.: Культурная инициатива — Университетская книга, 2000. Т. 1. С. 218. «Ухрония» — *ischronie* — термин, образованный П. Рикёром по аналогии со словом «утопия» и обозначающий несуществующее время, в отличие от «ахронии» — отсутствия времени (см.: Рикёр П. Указ. соч. С. 279). — *Примеч. пер.*

² См.: Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. С. 304. Для Коллингвуда человек отнюдь не свободен по отношению к ситуации; но ситуация существует лишь как мысль человека об этой ситуации, и постольку, поскольку он осмысливает ситуацию, она является созданной им самим, т. е. он свободен (с. 302–303).

го французским командованием времени вследствие замены Гамелена Вейганом на посту главнокомандующего, на знании того, какие трудности со снабжением испытывала немецкая армия, на данных о наличной бронетехнике. Плодотворность этой гипотезы очевидна: она позволяет выделить в числе причин поражения, с одной стороны, ошибки, совершенные военными, с другой — доктрину использования бронетанковых войск. Под вопросом в этой гипотезе остается количественное и качественное отставание французской авиации. Воображаемый опыт — это учет различных факторов, направляемый альтернативными гипотезами.

Будучи укорененным в реальном, конструирование ирреальных вариантов развития событий учитывает вдобавок все то, что может знать историк об общественных закономерностях, о том, что М. Вебер называл «правилами опыта», т. е. о том, как люди обычно реагируют на данную конкретную ситуацию. Иногда речь идет о том, чему научила историка его жизнь и что он открыл для себя в результате своей собственной социальной практики; иногда же он опирается на достижения истории и социологии. В любом случае он руководствуется прецедентами и мобилизует свои многочисленные познания, а не просто ведом каким-то «нюхом» хитрой ищейки. Именно такой ценой, и только такой ценой, он добивается того, что Р. Арон называет «сомнительным правдоподобием».

Вот так укорененный в реальном и вооруженный социальным знанием воображаемый опыт ведет историка к распознаванию в прошлом возможностей, которые были вполне объективными, но так и не реализовались, которые, следовательно, не были необходимыми, но лишь вероятными. Самое трудное в ремесле историка — определить для каждой объективной возможности соответствующую ей степень вероятности, которой и будет определяться иерархия причин.

Вот тут-то и происходит самое главное. Зная это, историк и не требует от своего читателя верить ему на слово, когда указывает на эти разноречивые объективные возможности. Он чувствует себя обязанным дать отчет и, как выражается П. Рикёр, «привести доводы в пользу того, что он считает тот, а не иной фактор достаточной причиной для такого-то хода событий». Он должен аргументировать свой выбор, «потому что знает, что можно объяснить и по-другому. А знает он это потому, что находится, подобно судье, в ситуации спора и судебного разбирательства, и потому, что его заключительное слово никогда не бывает окончательным: ибо суд имеет больше оснований для того, чтобы снять все кандидатуры на каузаль-

ность [...] чем для того, чтобы бесповоротно присудить ее кому-то одному”¹.

Все это вновь возвращает нас к неудобному положению историка. Мы, конечно, чувствуем, что он не просто рассказывает все что угодно, а доказывает свое мнение с помощью фактов, выстроенных на основе документов и по всем правилам этого искусства. Мы, конечно же, понимаем, что воображаемый опыт ирреального течения событий, позволяющий ему взвешивать причины, учитывает все объективные данные. И тем не менее речь идет об операции, производимой в воображении, а следовательно, о фикции. Весы, на которых он взвешивает причины, не были проверены никакой службой мер и весов. А раз так, то он всегда привносит в свою оценку нечто субъективное. Те причины, которые по завершении своего исследования он объявляет решающими, вполне могут проистекать из его теории. Вот почему А.-И. Марру, цитируя Р. Арона, имел право сказать, что “теория предшествует истории”.

Анри-И. Марру: Теория предшествует истории

...Теория, т. е. позиция, сознательная или несознательная, которую историк занимает в отношении прошлого, — выбор и поворот темы, постановка вопросов, используемые понятия и особенно типы связей, системы интерпретации, относительная ценность, признаваемая за каждой из них. Именно личная философия историка диктует ему выбор системы мышления, в соответствии с которой он будет воссоздавать и, как он полагает, объяснять прошлое.

Богатство, сложность природы антропологических фактов и вследствие этого исторической реальности делает последнюю [...] практически неисчерпаемой для усилий, направленных на открытие и понимание. Будучи неисчерпаемой, историческая реальность заодно и двусмысленна (Р. Арон, с. 102): в ней всегда столько разных аспектов, столько действующих сил, пересекающихся и накладывающихся друг на друга в одной точке прошлого, что мысль историка всегда найдет в ней для себя тот специфический элемент, который в соответствии с его теорией окажется решающим и выступит в качестве системы интеллигибельности — в качестве объяснения. Историк выбирает то, что ему надо: данные для его доказательства всегда найдутся, и их можно приспособить к любой системе. Он всегда находит то, что ищет...

De la connaissance historique, p. 187–188.

Но если историк всегда находит то, что ищет, то как быть с правдой истории? Отличается ли она чем-нибудь от литературного дивертисмента? И хотя благодаря интеллектуальному конструированию объяснений и поиску причин мы несколько дистанцировались от романтической или гуманистической интуиции понимания, статус истории на данном этапе все еще остается весьма хрупким. Вправе ли мы этим ограничиться?

¹ Об этом см.: Ricoeur P. Temps et Récit. Т. 1. Р. 329.

Социологическая модель

Многие не желают довольствоваться описанной выше методологической приблизительностью. Если быть требовательными к себе при выработке концепции истины, то полагаться на не выразимое словами понимание и на причинное вменение, основанное на воображении, согласиться, очень трудно. Сколько бы ни упрекали историков в том, что в силу необходимости аргументировать свои заявления, и аргументировать не как-нибудь, а на основе фактов, сконструированных по всем правилам ремесла, они слишком часто увлекаются фантазиями, — от этого мало что изменилось: их личная точка зрения, их собственная личность по-прежнему довлеют над их действиями. И мы все так же далеки (мы уже не раз это повторяли) от того, что принято называть наукой, даже от такой науки, как

медицина, в которой трудно отделить собственно научную деятельность от клинической практики.

И все же вот уже целое столетие престиж науки в нашем обществе так высок, что заставляет историков, а вместе с ними социологов и антропологов, упрочивать свои методы и отстаивать большую строгость исследовательских процедур. Они всячески стараются приблизиться к модели легитимности, принятой в точных науках, но эта модель, хотя, как мы видели, и претерпела изменения, все еще остается сколь желанным, столь и недостижимым идеалом.

Историки конца XIX в. пытались утвердить научный характер своей дисциплины за счет критического метода и установления фактов. Это вылилось в целый спор (о котором мы упоминали выше) о соотношении непосредственного наблюдения химика или натуралиста и опосредованного наблюдения историка (см. выше, с. 74). Но участники спора были слишком историками, чтобы суметь скрыть столь явно присутствующий в их ремесле субъективизм. Мы видели, как Сеньобос, например, подчеркивал роль воображения в истории. Он был еще очень далек от модели позитивных наук. При этом его концепция была рассчитана не только на историю, но и на все вообще гуманитарные науки. Он решительно настаивал на ней перед лицом появления социологии, представлявшей для истории серьезную угрозу.

Аргументация Сеньобоса зиждется на двух основных моментах. Во-первых, как мы видели, все социальные науки имеют дело “не с реальными объектами, а с теми представлениями, которые мы составляем об этих объектах”. Следовательно, практическим предметом социальной науки являются образы. То, что история занимается фактами прошлого, не придает ей в этом отношении никакого особого статуса.

Во-вторых, Сеньобос идет дальше и обращает особое внимание (конечно, в стиле своего времени) на то, что мы (в стиле нашего времени) выразили бы следующим образом: если хочешь понять антропологические факты, нельзя не считаться с заключенным в них смыслом.

Шарль Сеньобос: Танец не разучивают без музыки

Людские дела, составляющие предмет социальной науки, могут, следовательно, быть поняты лишь посредством сознательной мозговой деятельности. Таким образом, мы неизбежно приходим к мозговой (т. е. психологической) интерпретации социальных фактов. Огюст Конт надеялся избежать этого, строя социологию на наблюдении внешних фактов; но эти внешние факты суть не что иное, как продукт внутренних со-

стояний; изучать их изолированно, без знания тех психологических состояний, которыми они мотивированы, — все равно что хотеть понять движения танцора, не слыша музыку, под которую он танцует.

La Méthode historique, p. 109.

Задетые критикой в адрес своего первоотца О. Конта, социологи от имени позитивной науки резко опротестовали эту точку зрения. Это был поистине фундаментальный спор, имевший далекоидущие последствия, и он стоит того, чтобы напомнить его содержание.

Метод социологии¹

Отказ от субъективизма

По мнению социологов-позитивистов, социальная наука по своему образу действий ничем не отличается от всех прочих наук. А значит, им нужно было опровергнуть Сеньобоса. За это взялся Симиан в своей известной статье 1903 г.:

...Распространенная практика сводится к тому, чтобы воображать действия, мысли, мотивы людей прошлого и делать это, исходя из действий, мыслей и мотивов людей, которых он [историк] знает, — современных людей. И вот из этой-то основанной на воображении, произвольной конструкции, из некритического использования этой туманной и плохо разработанной психологии, из неосознанного применения правил аналогии, выдвигаемых без всякого предварительного обсуждения, историк и берет свое “объяснение”.

Но ведь уничтожают лишь то, что имеет замену. А что станет с историей, если отказаться от воображения по аналогии?

На это следует категоричный ответ: история должна брать за такие объекты, из которых она могла бы сделать науку. А это значит, что она должна отбросить всякую ненужную эрудицию, служащую только для того, чтобы накапливать единичные факты, из которых нельзя сделать науки, поскольку наука может быть только об общем. Вслед за П. Лакомбом, к которому он относится весьма одобрительно, Симиан повторяет следующее предписание: “Если изучение антропологических фактов хочет конституироваться как позитивная наука, оно вынуждено отвернуться от фактов уникальных и заняться фактами повторяющимися, т. е. устранить индивидуальное и изучать социальное”².

¹ Я пользуюсь этим термином со ссылкой на “Метод социологии” Э. Дюркгейма, предпочитая его более современным и менее общим терминам.

² Simiand F. Méthode historique et science sociale. P. 95.

Смысл этого указания проясняют выводы, которые делает Симиан. Он отрицает не только психологическую интерпретацию поведения его мотивацией; он отрицает также то, что кажется в действиях историков наиболее объективным: способ, с помощью которого они выявляют уникальность того или иного периода, или, точнее, данного общества в данный момент, и показывают взаимосвязь и взаимозависимость всех сторон жизни этого общества в каждый конкретный момент времени. Не то, чтобы он отрицает существование этих связей: конечно, *Zusammenhang* — реальность (см. выше, гл. 5). Но традиционный исторический метод не в состоянии это установить. Здесь аргументация Симиана становится слишком ученой, чтобы разбирать ее дальше.

Пример, который он приводит в этой связи, является цитатой из А. Озе, на которую впоследствии часто ссылались. Он пишет: “Завоевание мира, приход к власти *homines novi*, изменения, внесенные в куриатскую собственность и в *patria potestas*, формирование городского плебса [...] составляют неразрывный *complexus*, причем все эти факты объясняются друг через друга гораздо лучше, чем эволюция римской семьи объясняется через эволюцию семьи еврейской, или китайской, или ацтекской”. Но ведь, возражает ему Симиан, это утверждение остается беспочвенным “до тех пор, пока А. Озе не установит, что римская семья эволюционировала совершенно иначе, чем семья аналогичного автохтонного типа где-нибудь в другом месте; что эта идиосинкразическая эволюция была обусловлена социальными явлениями иного рода, как это следует из его примеров; что особые исторические обстоятельства, которыми отмечена история римского общества, имели действительно решающую причинную роль, а не просто роль случайной причины. Однако каким образом смог бы он это сделать — со всей необходимой строгостью, методологически обоснованно и так, чтобы это имело статус научного доказательства, — иначе, как обратившись к сравнительному методу”¹. Иными словами, сама цель, которую преследуют историки — понять своеобразие общества в его различных взаимосвязанных аспектах, — предполагает необходимость определить, в чем состоит своеобразие каждой из его составляющих, а это, в свою очередь, требует сначала провести сравнительное изучение.

Этот спор имеет фундаментальное значение, и впоследствии он часто возобновлялся, причем стороны иногда менялись местами. Такие разные историки, как Ф. Фюре и

¹ Simiand F. Méthode historique et science sociale. P. 104–105.

П. Вейн, которые, конечно же, никогда не были социологами-позитивистами, тоже выступали против изучения синхронных связей, или *Zusammenhang*, и за системное сравнение аналогичных реалий в разных обществах, иногда ссылаясь именно на тот пример, который использовал Симиан¹.

Социологи-позитивисты отказывают конкретному в историчности: оно, конкретное, всегда уникально. Наука же может заниматься только общим, т. е. абстрактным. Чтобы возвести историю в ранг истинной науки, нужно конструировать абстрактные социальные или политические факты, такие, например, как монархический абсолютизм.

Симиан не дает другого примера таких абстрактных социальных фактов, которые, по его мнению, должна была бы изучать история. Если мы хотим понять, что такое конструирование социальных фактов, нужно обратиться к творчеству социологов, и прежде всего — Дюркгейма, работа которого о самоубийстве стоит того, чтобы ее рассмотреть.

Пример самоубийства

Смелость замысла очевидна: есть ли на свете более индивидуальный, более психологический акт, чем самоубийство? Тем не менее Дюркгейм возводит самоубийство в ранг социального факта.

Первым делом он дает ему определение: ведь ученый не может употреблять слова обыденного языка без их специальной переработки. Самоубийство интересует его не как индивидуальный акт, но как совокупность всех случаев самоубийств, составляющая факт *sui generis*. И действительно, на основе статистических данных по шести разным странам Дюркгейм показывает устойчивость и постоянство общего числа самоубийств из года в год и объясняет исключения из общего правила. Показатели самоубийств относительно общей численности населения этих стран подтверждают отмеченное постоянство, но при этом демонстрируют серьезные и устойчивые

различия между ними. Таким образом, для каждого общества количество добровольных смертей является строго определенным¹. Так от чего же зависят существующие различия?

Придется проанализировать все факторы, могущие дать объяснение зарегистрированным расхождениям. Вначале — экстраординарные факторы. Вопреки тому, что можно было бы думать, самоубийство не связано с психопатическими состояниями. Доказательством тому послужило сравнение статистики душевнобольных и самоубийц: эти две группы населения очень сильно отличаются друг от друга, в частности по половому и религиозному признаку. Не лучшим объяснением является и алкоголизм, ибо карта самоубийств по департаментам резко отличается от карты потребления алкоголя.

Значит, надо обратиться к таким несоциальным и непатологическим факторам, как расовые признаки и наследственность и, кроме того, климат, также позволяющий сделать интересные выводы. Действительно, можно констатировать сезонный характер самоубийств, кульминация которых приходится на лето, а общее число колеблется в зависимости от средней долготы дня.

Затем Дюркгейм обращается к факторам социальным, прежде всего к религии, влияние которой весьма ощутимо. Так, протестанты кончают жизнь самоубийством чаще, чем католики, которые, в свою очередь, делают это чаще, чем евреи. Затем — семейное положение. Самоубийств больше среди холостяков, чем среди женатых людей. Таким образом, он неумолимо подводит к выводу о том, что самоубийство становится возможным в результате ослабления социальных связей, в результате социальной аномии.

Здесь можно остановиться. Положенный в основу метод ясен: это метод, представленный Дюркгеймом за несколько лет до “Самоубийства” в работе “Метод социологии” (1895 г.).

Правила метода

Центральной задачей, которой подчинен метод, является стремление к доказательности. Наука не может состоять из правдоподобных или даже истинных утверждений, но лишь из утверждений верифицированных, доказанных и неопровержи-

¹ Следует отметить колебания, свойственные наследникам Симиана в этом вопросе. Проект глобальной истории, отстаиваемый Броделем, был как нельзя более тесно связан с *Zusammenhang*, достижение которого было объявлено Симианом невозможным. А, например, П. Вейн и Ф. Фюре, при том что они возвращаются к той истории, которая в чем-то была ближе Сеньобосу, нежели Симиану, отказываются от принципа “все взаимосвязано”, равносильного для них, как и для Симиана, принципу “все в одну кучу”, и отстаивают сравнительную историю, сосредоточенную на данном конкретном институте.

¹ См.: Дюркгейм Э. Самоубийство // Западноевропейская социология XIX — начала XX в. М.: Международный университет бизнеса и управления, 1996. С. 383.

мых. Недостаточно говорить умные вещи, открывающие новые горизонты науки; надо представить доказательство тому, что говорится. Наука относится не к области частного мнения, пусть даже истинного, но к области доказанной истины. Вопрос, следовательно, в том, как, говоря об антропологических социальных фактах, сделать утверждение доказательным?

Для Дюркгейма метод социальных наук не отличается в принципе от метода естественных, или так называемых экспериментальных, наук.

Эмиль Дюркгейм: Сравнительный метод

У нас есть только одно средство доказать, что одно явление служит причиной другого, — это сравнить случаи, когда они одновременно присутствуют или отсутствуют, и посмотреть, не свидетельствуют ли изменения, представляемые этими различными комбинациями обстоятельств, о том, что одно зависит от другого. Когда они могут быть воспроизведены искусственно, по воле исследователя, метод является экспериментальным в собственном смысле этого слова. Когда же, наоборот, произведение фактов не в нашем распоряжении и мы можем сравнивать лишь факты, возникшие не по нашей воле, тогда употребляемый метод является косвенно экспериментальным, или сравнительным.

Метод социологии, с. 355¹.

Это не что иное, как метод экспериментальной медицины, разработанный Клодом Бернаром. Надо выяснить, сопровождается ли отсутствие одного факта отсутствием другого и, наоборот, всегда ли присутствие одного из них сопровождается присутствием другого. “Как только доказано, что в известном числе случаев два явления изменяются одинаково, можно быть уверенным в существовании в данном случае известного закона”². Так, самоубийство не связано с психическим заболеванием, так как количество самоубийств отличается в обратную сторону от числа душевнобольных. Зато оно связано с возрастом, религией, семейным положением, полом и т. д. Это тот самый метод совпадающих изменений, который используется в науках о природе, с той единственной разницей, что он не основан на эксперименте в собственном смысле: это *экспериментальный метод a posteriori*.

¹ Дюркгейм Э. Метод социологии / Западноевропейская социология XIX — начала XX в.

² Там же. С. 361.

Естественно, он предполагает, что сначала выявляются различные социальные ситуации для того, чтобы затем можно было сравнить их между собой и посмотреть, изменяются ли изучаемые факты одновременно (как правило) или нет. Именно это заставляет выйти за рамки одного периода или одной страны. “Самоубийство” охватывает весь XIX в. и несколько европейских стран. Мы не поймем римскую семью, если не выйдем за пределы римской истории и не будем искать сравнения с еврейской или ацтекской семьей. Для того чтобы подобный экспериментальный метод *a posteriori* можно было применять, необходимо, чтобы социальные факты вырабатывались именно с этой целью. Самое главное — конструировать социальные факты именно в качестве социальных, чтобы они поддавались сравнению. Как раз в этом смысле следует понимать знаменитое правило Дюркгейма: “Социальные факты следует рассматривать как предметы (*choses*)”. Это не значит, что они являются предметами (вещами), и мы бы злостно исказили Дюркгейма, если бы упрекнули его в игнорировании морального или психологического аспекта вещей: он прекрасно об этом знал. Просто он предпочел отделить данный аспект, потому что это единственный способ конструировать социальные факты, которые поддавались бы сравнению: “Чисто психологическое объяснение социальных фактов не может не приводить к тому, что упускается из виду все то специфическое, т. е. социальное, что в них есть”¹.

Социальный факт должен выводиться из данных (*data*, как сказали бы англосаксы), доступных наблюдению. Эти данные являются внешними по отношению к индивидам, они навязаны им извне, а это означает, что они являются коллективными или что они суть принуждение по отношению к коллективу. Количество самоубийств в процентном отношении для данной группы населения есть социальный факт, так же как и смертность в результате дорожно-транспортных происшествий или безработица: тут все бессильны, и мы видим, как трудно людям, которые нами управляют, снизить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий или показатель безработицы! Можно было бы даже определить “волонтаризм” в политике как манеру обрушиваться на социальные факты, которые по большей части ей неподвластны.

Для того чтобы социальные факты можно было сравнивать, их нужно конструировать на основаниях, допускающих сравнение: мы ничего не можем сделать с показателем самоубийств среди мужчин в Германии и аналогичным показателем

¹ Ср. имеющийся перевод: Дюркгейм Э. Метод социологии. С. 342.

среди женщин в Австрии. Системное сравнение может осуществляться лишь на основе предварительного конструирования, а его значимость напрямую зависит от значимости этого конструирования.

Мы видим, как аргументирует социология свои претензии на право быть настоящей социальной наукой. А что же история? Может ли она принять этот вызов и взять на себя такие же методологические обязательства?

Метод социологии в применении к истории

От типологии к статистике

Разумеется, некоторые типы истории не могут подчиняться столь строгим правилам и в результате оказываются дискредитированными. Есть заклеенные виды истории. Свою статью Симнан завершил тремя показательными проклятиями, из которых первые два предназначались соответственно идола политического и идола индивидуального. Это неприятие вполне логично, ибо политика по определению входит в порядок намерений, т. е. в порядок психологического, а не социального, в дюркгеймовском смысле. Что до индивидуального, то оно неизбежно исключается из науки, претендующей на звание социальной.

Неприятие индивидуального влечет за собой неприятие монографии: для того чтобы такая монография, как, например, история какой-нибудь деревни или какой-нибудь семьи, могла при такой постановке вопроса претендовать на научный статус, необходимо, с точки зрения этой логики, суметь доказать ее репрезентативность. Но ведь само это доказательство уже предполагает выход за рамки монографии и сравнение ее объекта с другими объектами того же класса. Чтобы стать легитимной, монография должна включать в себя сравнительную фазу, т. е., по существу, отказаться от того, чтобы быть монографией.

Напротив, та история, которой следует отдавать предпочтение, должна заниматься поисками совпадающих изменений, причем уровень этих поисков может быть различным.

На самом скромном уровне эта история для выявления типологии ограничивается наложением простых критериев типа "наличие/отсутствие". В этом смысле она всегда имела широкое распространение, в том числе среди авторов, даже не помышлявших причислять себя к наследникам Дюркгейма¹. В качестве примера можно сослаться на то место из работы П. Барраля, где автор сравнивает между собой с социополити-

¹ Ж.-К. Пассрон убедительно доказывает типологический характер метода Дюркгейма. Мы вернемся к этой дискуссии в конце настоящей главы.

ческой точки зрения сельские районы, которые он для этого конструирует¹. Если говорить упрощенно, Барраль использует три критерия, накладывая их друг на друга: господствующий способ извлечения дохода (арендатор или польщик/собственник), нарезка сельскохозяйственных угодий и религия. В соответствии с этим он различает сельские демократии (правого или левого толка, в зависимости от религиозного фактора), земли, находящиеся в прямом или косвенном подчинении, и зоны капиталистического сельского хозяйства.

На следующем уровне история занята поиском системных сравнений во времени или в пространстве. В качестве примера колебаний в пространстве можно было бы взять первую в своем роде книгу Андре Зигфрида "Политическая картина западной Франции", появившуюся в 1913 г. В ней была принята попытка составить подробные карты различных социальных переменных и сравнить эти переменные с политической ориентацией. С тех пор сравнение карт стало одним из привычных методов исторического ремесла, которым, правда, нередко пользуются весьма приблизительно. Между тем корреляции между картографическими данными нужно рассчитывать систематически: тогда можно было бы заметить, что различия часто имеют большее значение, чем сходства, которым обычно и посвящаются комментарии².

Лучшим примером колебаний во времени, несомненно, является изучение предреволюционного экономического кризиса в том виде, в каком его провел Ж. Мевре³. В данном случае речь идет о выражении изменений социальных фактов с помощью кривых, которые поддаются сравнению. Так, кривая цен на зерно поднимается высоко вверх вследствие плохого урожая и опускается в конце следующего года ниже пересечения с осью X, если новый урожай был хорошим; если же нет — она взлетает к новым вершинам. Кривая смертности следует за колебаниями кривой цен на зерно. Что касается кривой рождаемости, она изменяется в противоположном направлении, с от-

¹ См.: *Barral P. Les Agrariens français de Méline à Pisani*. Paris: Presses de la FNSP, 1968. Эта типология была подхвачена и видоизменена Морисом Агюлоном в III томе его "Истории сельской Франции": *Agulhon M. Histoire de la France rurale* (sous la dir. de G. Duby et A. Wallon. Paris: Éd. du Seuil, 1976).

² Когда рассчитывают корреляцию между величинами, которые выражаются двумя рядами карт, часто приходят к недостаточно показательным результатам. Дело в том, что так называемые экологические корреляции (между пространственными данными) очень сильно зависят от использования единых правил анализа. Между религиозной практикой и правыми политическими симпатиями корреляция будет сильно разниться в зависимости от того уровня, на котором ведется расчет, — общины, кантона или департамента.

³ См. выше, примеч. 1, с. 131.

рывом примерно в один год: ясно, что голод не является благоприятным периодом для зачатия. Этими тремя совпадающими изменениями не исчерпывается описание предреволюционного экономического кризиса, однако они точно отвечают рекомендациям социологов.

На еще более высоком уровне мы уже не ограничиваемся системным сравнением явлений, которые предварительно выразили с помощью цифровых показателей (цены на хлеб, смертность, рождаемость). Теперь мы хотим измерить совпадение вариативности, узнать, является ли степень этого совпадения высокой или всего лишь достаточно высокой. Сам Дюркгейм писал в то время, когда статистические тесты, позволяющие измерить ковариативность или корреляцию между явлениями, еще не существовали¹. В "Самоубийстве" сопоставляются многочисленные статистические ряды, позволяющие производить расчет корреляций без дополнительной обработки, и порой это дает очень высокие результаты.

Здесь мы входим в область статистики. Надо сказать, что эта область многих историков просто пугает, причем до такой степени, что у нашей дисциплины накопилось в данном вопросе драматическое отставание. В государственных дипломных работах по истории можно найти такие ошибки, допустив которые студент-психолог или социолог просто засыпался бы на экзамене. Они не знают порой азбучных истин — причем не знают скорее из лени или кокетства, чем из-за недостатка умственных способностей, поскольку та статистика, которая нужна историкам, как правило, элементарна: здесь достаточно простого здравого смысла. Тем не менее некоторые считают хорошим тоном разыгрывать сильно умных, надменно пренебрегая как чем-то второстепенным, как какими-то мелочными придирками требованиями научной строгости и необходимостью ссылаться на цифры даже тогда, когда это совершенно очевидно... Все это приводит к лишенным смысла высказываниям, когда без всякой верификации заявляется, что одно явление "выражает собой" или "означает" (как — это уже неважно) другое². В конце концов подобная бездоказательность обнаруживает себя, и за нее приходится дорого расплачиваться.

¹ "Самоубийство" написано в 1897 г. Линейная корреляция (Брауэ и Пирсон) была изобретена Пирсоном в начале века с целью продемонстрировать отсутствие связи между алкоголизмом родителей и уровнем умственного развития детей и, следовательно, доказать наследственный характер отставания умственного развития. Об этом см.: *Armatte M. Invention et intervention statistiques: Une conférence exemplaire de Karl Pearson // Politix*. 1994. № 25. P. 21–45; *Desrosières A. La Politique des grands nombres*.

² Статистическая несостоятельность бывает двух видов: либо историк просто-напросто самоустраняется от любой статистической обработки данных, в то

Чтобы стала понятной необходимость прибегать к минимуму статистической обработки для построения доказательства, я обращусь к двум примерам. Вот официальные воззвания кандидатов, баллотировавшихся на выборах в законодательные органы 1881 г.¹ Было составлено два одинаковых внешне образа их текстов, соответственно консервативной и республиканской, или радикальной, направленности. Возникает вопрос: какие слова являются характерными для дискурса тех и других? Слова “республика” и “прогресс” встречаются, разумеется, чаще у левых, чем у правых. Но другие слова, такие, как “право”, “свобода” и т. п., распределяются по принципу политической принадлежности менее четко. Можно ли считать случайным, что одно слово используется трижды справа и дважды слева? Разница 4 : 2 кажется более убедительной, но так ли это? В конце концов достаточно было, чтобы одного кандидата просто “заело” на этом слове, чтобы получить такой же счет. Десять против пяти — это, конечно, более убедительно... Но где проводить черту?

А вот второй пример: общины, которые можно распределить по шкале политической ориентации, исходя из того, как они голосовали на выборах 1919 г., устанавливают памятники погибшим на войне. Естественно, что выбор места для памятника зависит от местных условий, от наличия свободного места. Поэтому как правыми, так и левыми общинами памятники ставились в школьных дворах, на кладбище, на общественных площадях и т. д. Тем не менее складывается впечатление, что установка памятников на общественных площадях для общин республиканской, левой ориентации более характерна, чем использование ими для этой цели других мест, в частности кладбищ. В самом деле, только памятники, возводимые на кладбище, могли носить религиозную символику; поэтому логично предположить, что те общины, которые считали абсолютно необходимым поместить на свой памятник крест, могли отдавать предпочтение кладбищам. Между тем

время как она является возможной; либо он обращается к статистическому анализу, но при этом игнорирует его требования. Я был свидетелем того, как один, ныне исчезнувший после блистательного дебюта, исследователь воспроизводил в опубликованном варианте своей докторской диссертации все ту же ошибочную формулу коэффициента корреляции и все тот же неправильный коэффициент корреляции, на безусловной значимости которого он продолжал настаивать даже несмотря на то, что на эти две ошибки ему указал во время защиты экономист А. Гитон. Из этого видно, к какому вольному отношению к статистике привела количественная мода среди тех исследователей, которые относились к ней именно как к моде, а не как к механизму построения доказательства.

¹ См.: Prost A., Girard L., Gossez R. Vocabulaire des proclamations électorales de 1881, 1885 et 1889. Paris: PUF-Publications de la Sorbonne, 1974.

нам известно, что влияние католицизма было в то время повсеместно связано с правой политической ориентацией. Однако из этого нельзя вывести некое простое правило вроде следующего: все общины левого толка ставят свои памятники на общественной площади, а все правые — на кладбище; и у правых и у левых можно встретить оба расположения. Вопрос в пропорциях. И все же достаточно ли этой разницы, чтобы говорить о склонности, о тенденции, о предпочтении? Или же это просто случайное стечение обстоятельств?¹

На этих двух примерах мы интуитивно чувствуем, что одни количественные различия являются достаточно убедительными для того, чтобы позволить сделать выводы, а другие — нет. Мы также чувствуем, что при маленькой выборке доля случайности выше, чем при большой²: когда на 750 000 рождений мальчиков приходится несколько больше, чем девочек, то это позволяет сделать очень надежные выводы, тогда как надо быть просто дураком, чтобы объявлять очень разными два лицейских класса, в одном из которых было бы 52% мальчиков, а в другом 48%... А вот если взять два лица по 2 000 учащихся в каждом, при том что один из них был бы бывшим мужским лицеем, а другой — бывшим женским, то тогда то же самое процентное соотношение позволило бы сделать достаточно веские выводы.

Если историк действительно хочет что-то доказать, он должен задавать себе все эти вопросы. Тем более, что разрешить их не составит большого труда: достаточно лишь немного поразмыслить. Статистические подсчеты были некогда тяжелым и утомительным занятием, и тогда вполне резонным считалось оставлять их для действительно критических моментов. Но калькуляторы и компьютеры полностью изменили картину, и обращение к статистическим тестам должно бы стать таким же естественным навыком для историков, каким оно является для психологов и социологов.

Принцип таких подсчетов прост. Вначале устанавливается уровень допустимых значений для показателей различий, обусловленных чистой случайностью. Иногда ведь причиной различий действительно является случайность. Если мы хотим быть очень требовательными, то тогда решаем, например, что статистическое различие для того, чтобы быть пригодным в

¹ Более подробно этот пример, на материале департамента Луар-Атлантик, рассматривается в моей статье: [Prost A.] Mémoires locales et mémoires nationales: les monuments de 1914–1918 en France // Guerres mondiales et Conflits contemporains. 1992, juil. P. 41–50.

² Поэтому очевидна абсурдность процентных отношений, рассчитанных с двумя или даже одним знаком после запятой, когда речь идет о численности всего в несколько десятков.

качестве доказательства, должно иметь один шанс из ста быть отнесенным на счет случайности. В этом случае говорят, что оно является “показательным” при статистической погрешности 0,01, или 1%. Но можно принять и другие погрешности: в 5% или в 10%. При более высокой погрешности вывод о существовании различий выглядел бы слишком смелым. Таким образом, мы получаем, со ссылкой на отсутствие гипотезы, некий градуированный указатель доказательной ценности констатируемого различия с учетом, с одной стороны, масштабов этого различия, с другой — численности того контингента предметов или лиц, в отношении которого оно констатируется. Теперь нам известно, какие из различий ничего не доказывают, а какие имеют доказательную ценность и в какой пропорции, при условии, однако, что мы не будем чересчур строги и учтем тот факт, что задействованные переменные настолько многочисленны, что результаты не могут быть безупречными¹.

Конструирование показателей

Количественная история вызывала во второй трети нашего века сильнейший интерес у французских историков и, в частности, у тех из них, кто входил тогда в состав VI секции Практической школы высших исследований. Один из наиболее выдающихся представителей этой исторической школы, который, судя по всему, был в то время на коне, договорился до того, что закончил свою статью в газете “Монд” словами: “Научная история может быть только количественной”².

¹ Франсуа Фюре и Жак Озуф в работе “Читать и писать” (Furet F., Ozouf J. Lire et Écrire, l’alphabétisation des Français de Calvin à Jules Ferry. Paris: Ed. de Minuit, 1977. Т. 1) под заголовком “Приговор компьютера” констатируют чрезвычайно сильную корреляцию (0,927 в 1866 г. и 0,866 в 1896 г.) между уровнем грамотности призывников и показателями обязательного школьного образования. Они отмечают, и это действительно так, что в данной корреляции учтено 80% от изучаемого феномена (квадрат коэффициента корреляции) и что, следовательно, грамотность “по меньшей мере на 20% не связана со школой” (с. 306). Но это уже слишком сурово: с учетом всех тех переменных, которые не были учтены в исследовании этого типа (например занятия в комнате отдыха), полученная корреляция является исключительно высокой, и мало кому из исследователей доводилось констатировать столь же сильные корреляции. Такой показательный результат позволяет сделать вывод о наличии очень сильной связи между обоими феноменами.

² Ле Руа Ладюри в статье от 25 января 1969 г. Опубликовано: Le Territoire de l’histoire. [Т.] 1. Р. 22. Чтобы составить представление о том, чем была в то время “мода” на количественные методы для французских историков, следует обратиться к такому историческому документу, как материалы знаме-

Сегодня господствуют другие настроения, и многим историкам прямо-таки претит использование этих научных методов. Но так как сила их очевидна, и так как эти историки не осмеливаются признаться в наличии психологического барьера или просто в своей лени, они аргументируют свой отказ с помощью критики возможностей численного выражения. Причем нельзя сказать, чтобы эта критика была вполне добросовестной, ибо, как отмечает Поппер, “эти методы реально и очень успешно использовались в некоторых социальных науках. Как после этого можно отрицать их применимость?”¹. Тем не менее некоторые возражают, что не все, дескать, поддается численному выражению. Нетрудно догадаться, что к этому они могли бы добавить: численному выражению поддается только то, что не имеет особого смысла и особого значения.

Этот аргумент как-то не вяжется с действительностью, и в нем явно отсутствует воображение. Когда историк делает объектом своего изучения какой-либо социальный факт в дюркгеймовском понимании, т. е. факт коллективный, последний касается некоторой группы людей, более или менее точно поддающейся формализации, а это уже нельзя назвать областью уникального или невыразимого. Подобно тому как для народов, находящихся под угрозой голода, первейшим качеством пищи является ее количество, для историка, изучающего социальный факт, связанное с этим фактом количество является одним из его качеств. Можно, конечно, отказаться от изучения социальных фактов, а также убрать из индивидуальных фактов их социальную сторону, но тогда трудно будет претендовать на звание историка. Изучать идеи Прудона или Моррасса и не интересоваться теми, к кому они были обращены, означает заниматься историей не больше, чем, например, при изучении аллитерации в творчестве Малларме. Всякое историческое исследование имеет социальную, а значит, коллективную, а значит, выражаемую в числах, или исчисляемую, сторону.

Смысл противопоставления “качественное/количественное”, за которое многие прячутся, в действительности состоит лишь в тех трудностях, что связаны с конструированием показателей, позволяющих рассуждать в сравнительном ключе. Количественное — это та область, в которой показатели являются очевидными и как бы вписанными в сами факты: если вас интересуют цены на зерно, выбор показателя не представляет

инитой и к тому же небезынтересной конференции, проходившей в Эколь Нормаль г. Сен-Клу в 1965 г. под названием “Социальная история: источники и методы”.

¹ Popper K. Misère de l’historicisme. P. 23.

проблемы. Иногда это даже оказывается западней: ведь есть цены — и цены, и результат не может быть одинаковым, если мы берем цены на выходе с фермы или по прибытии на мельницу, ввозные цены или цены на внутреннем рынке.

Качественное же — это та область, в которой конструирование подходящих показателей требует определенной изобретательности. Именно здесь проявляется творческое воображение исследователя. Есть ли более качественная тема, чем религия? Габриэль Ле Бра не собирался зондировать индивидуальную веру верующих, вторгаться в их внутренний мир и выяснять всю правду об их истинных отношениях с Богом. Он рассматривал религию как социальный факт, исходя при этом из религиозной практики, представляющей собой коллективное проявление религии. Поэтому он строил свои показатели, опираясь на те культовые действия, которые требует католическая церковь: посещение мессы каждое воскресенье, пасхальное причастие. Отметим, что эти показатели являются прерывными: в них заложена некая типология. Так, Г. Ле Бра различает верующих католиков, которые ходят к мессе каждое воскресенье, сезонных католиков, которые празднуют Пасху и ходят к мессе по большим праздникам, таким, как Рождество, Праздник всех святых, и, наконец, неверующих.

Коль скоро установлены показатели, численное выражение данных зависит уже от источников. Если в нашем распоряжении имеется хорошая религиозная статистика, как, например, по Орлеанской епархии в годы епископата Магистра Дюпанлу¹, мы можем вычислить процентное соотношение по общинам верующих, “сезонников” и неверующих. Если же у нас нет нормальной статистики, а есть только фрагментарные свидетельства, можно ограничиться определением типа, господствующего в данной местности. Организовать же наше доказательство нам позволяет в первую очередь не численное выражение, а установление отвечающих нашим целям показателей, причем от весомости этих показателей зависит и весомость доказательства.

В конечном счете конструирование социального факта и конструирование показателей, которые позволили бы провести сравнение этого и других социальных фактов, — одно и то же. Операциональной дефиницией социального факта и будут его показатели.

¹ См.: *Marcelhacy Ch. Le Diocèse d'Orléans sous l'épiscopat de M^{gr} Dupanloup, 1849–1878. Paris: Plon, 1963.*

Пределы социологического метода

Эпистемологические пределы

Сделанный выше вывод и есть ответ на вопрос о том, каковы эпистемологические пределы социального факта.

Я далек от мысли принизить ценность численного выражения в истории или Дюркгеймова способа рассуждений вообще. Я считаю, что они совершенно необходимы. Но они не панацея. На мой взгляд, есть два предела их применимости.

Первый предел — эпистемологического порядка. Долгое время я полагал, что историк — это “мастерской”, связывающий воедино рассказы в духе Фукидида с жесткими элементами “истинной” социальной науки в духе Дюркгейма¹, и не мог понять, какой эпистемологический статус следует присвоить этому “руководию”, состоящему из столь различных по материалу и фактуре кусочков. По сути, я переоценивал Дюркгеймов подход и принимал его за более научный, чем он есть на самом деле. Этот спор можно переформулировать в современных терминах, исходя из определения “научного” высказывания как “опровержимого” (или фальсифицируемого, как говорит Поппер)². На первый взгляд утверждения социологии, в частности те из них, которые опираются на количественные данные и статистические расчеты, являются “опровержимыми” и в этом качестве могли бы претендовать на статус “научных”. На деле же это не так. Несомненно, эти утверждения внушительнее других, но они не могут рассчитывать на то, чтобы считаться универсальными законами. Ведь невозможно же, как показывает Ж.-К. Пассрон, полностью извлечь из любого исторического контекста те реалии, которых касаются

¹ См. мой спор с Ж.-К. Пассроном: *L'enseignement, lieu de rencontre entre historiens et sociologues // Sociétés contemporaines. 1990. № 1, mars. P. 7–45.*

² *Popper K. La logique de la découverte scientifique* (“Логика научного открытия”). Это гораздо более важная работа, чем “Нишета историцизма”, которая представляет собой памфлет, направленный против “крупнейших” теорий, и прежде всего против марксизма.

данные утверждения¹. Социологическое утверждение всегда бывает также и историческим, ибо относится к реалиям, неотделимым от совершенно определенного контекста, и, таким образом, оно может иметь силу только в пространстве и времени этого конкретного контекста. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть, “с какой легкостью исследователь [...] всегда может возразить по поводу эмпирического заключения, которое идет вразрез с его собственным, что это заключение, дескать, сделано не в том контексте, для которого имело силу его предложение”². А оговорка “при прочих равных условиях” может стать “неограниченным алиби” как в социологических, так и в исторических сравнениях. Обращение к методу Дюркгейма не позволяет историку уйти от истории в тех разнообразных конкретных ситуациях, которые являются объектом его изучения.

Более того, статистическое мышление представляет собой всего лишь перспективу, модель, к которой стремится социология. Чаще всего пресловутый сравнительный метод сводится к методу совпадающих изменений или даже к его упрощенной версии — методу различий. Мы не выходим за рамки естественного рассуждения. Просто социология предлагает более оснащенный, более строгий и, может быть, более внушительный вариант естественного рассуждения. Различие между ней и историей — это разница в степени, но не в природе.

Точно так же и постоянное чередование в историческом дискурсе объясняющих или понимающих секвенций с секвенциями сравнительными или даже количественными следует считать не смесью ужа с ежом, не каким-то недопустимым смешением разнородных методов, но всего лишь использованием всей гаммы доказательств, раскрывающей целиком в том универсуме, где понятия неотделимы от их контекстов.

Это также означает, что социологический подход является типологическим: он образует типы, которые потом сравнивает, между которыми устанавливает отношения совпадающего наличия или несовместимости либо рассчитывает различия или корреляции. Но эти отношения не имеют универсальной значимости: их значение ограничивается рассматриваемыми типами.

¹ Да простят меня за то, что я не привожу здесь доказательство этого положения Ж.-К. Пассроном из его “Социологического рассуждения”, а точнее — из заключения к нему.

² Passeron J.-C. Le Raisonnement sociologique. P. 64.

Основные сферы применения

Во-вторых, социологическое рассуждение не может быть использовано в истории собственно событий. Конечно, иногда оно может привлекаться для подтверждения или опровержения причиновменения: если мы полагаем, что нищета является причиной забастовок, то можно численно выразить уровень зарплаты и уровень безработицы, с одной стороны, и частоту забастовок — с другой, чтобы затем выяснять, действительно ли они взаимосвязаны. Конечные же причины, или цели, абсолютно не поддаются численному выражению, и статистика никогда не сможет ответить на вопрос, лежит ли на решении Бисмарка ответственность за войну 1866 г. или нет.

Итак, совершенно ясно, что существуют два способа исторического рассуждения. Для упрощения скажем, что первый интересуется сцеплениями, возникающими во времени, второй — связями, существующими внутри данного общества в данное время. Первый занят рассмотрением событий и развивается вдоль оси повествования, второй привязан к структурам и вписывается в таблицу. Разумеется, и тот и другой пересекаются, так как в любой конкретно-исторической проблеме есть и причинное повествование, и структурная таблица.

Некоторые виды истории предпочтение отдают повествованию; их важнейшим измерением выступает анализ сцеплений, как это хорошо видно на примере события. Политическая история, история войн или революций, всего того, что остается для наших современников “великим” событием, строится главным образом на основе серии причиновменений. Об этом говорилось в предыдущей главе.

Величайший вклад социологического метода (одним из элементов которого наряду с символом выступает формализация) состоит в том, что он дает возможность строго научного осмысления тех внутренних связей, которыми спаяно общество, его структуры, *Zusammenhang*, за что Симиан, непонятно почему, так сильно критиковал Озе (см. выше, с. 199). Некоторые из наиболее сильных исторических произведений нашего века, начиная со “Средиземноморья”, строятся именно вокруг этой внутренней солидарности, взаимосвязанности. “Объяснять, — говорит Бродель, — значит находить, воображать корреляции между дыханием материальной жизни и другими столь разнообразными колебаниями жизни людей”¹. Обесценивание события и утрата интереса к вопросу о причинах сопровождаются растущим вниманием к долговре-

¹ Цит. по: Rosental P.-A. Métaphore et stratégie épistémologique.

менности географических, экономических и технических структур. Социологическое рассуждение в данном случае вполне уместно, хотя Бродель демонстрирует некоторое недоверие к чересчур детерминистским системам.

Можно пойти еще дальше и утверждать, что в указанном выше смысле история бывает только тотальной. Разумеется, претендовать на написание тотальной истории, которая бы была историей человечества в целом, с его возникновения до наших дней, абсурдно. Мы уже показывали ранее (гл. 4), что неизбежное и необходимое обновление вопросника делает невозможной какую-либо собирательную концепцию исторического знания. Но если говорить в другом смысле, то всякая история является тотальной, поскольку она ставит перед собой задачу показать, каким образом исследуемые ею элементы образуют целое. Мы не можем знать абсолютно все о той или иной эпохе или обществе. Но истории свойственно создавать целостную картину, т. е. усматривать организованные структуры там, где поверхностный взгляд видит лишь нагромождение или рядоположение¹.

Нетрудно заметить, что одни области соотносятся с этим типом истории легче, а другие труднее.

Историческая демография является, конечно же, избранной территорией для той истории, которая особо заботится о доказательности. Демографы выработали многочисленные показатели (смертность, рождаемость, темпы прироста, воспроизводство), и их изобретательность не имеет границ. Выше, в связи с проблемой «повышенной смертности» среди гражданского населения в годы войны 1914–1918 гг., мы уже имели возможность оценить их искусность.

Другой областью, непосредственно поддающейся изучению с помощью количественных методов, является экономическая история. Экономисты воссоздают непрерывные численные ряды, обеспечивающие надежность сравнений. Здесь приходят на ум такие работы, как крупное исследование под руководством Ж. Бувье о прибылях в промышленных районах Севера² или разработки Ф. Крузе по французской промышленности в XIX в.³

Поддается сравнительному методу и история социальных групп. Само собой разумеется, необходимым элементом этой истории является изучение их благосостояния, и надо сказать,

что исследователи достигли в этой области значительных результатов. При изучении уровня имущественных состояний в Париже или в таких крупных провинциальных городах, как Лион, Лилль или Тулуза¹, историки систематически использовали в связи с несколькими краугольными для XIX в. датами декларации о наследовании, позволявшие провести сравнение между социальными группами и между городами. Превосходство благосостояния парижан оказалось абсолютным. Другой пример — Габриэль Дезер, в своей диссертации о крестьянах Кальвадоса в XIX в.², проанализировав изменение цен на продукты сельского хозяйства — зерно, молоко, сыр и т. д., изменение размера оброка и налогов, а также новшества в обработке земли, сумел показать, как менялся в течение века доход нескольких типов производителей — от собственника, обрабатывающего 35 гектаров запашки в районе Кана, до мелкого крестьянина, занимающегося выращиванием овощей на 5 гектарах, включая также животноводов, — и, кроме того, отметил разницу в способе получения доходов.

С помощью более или менее математизированных показателей столь же успешно можно изучать мобильность различных социальных групп, их образ жизни, поведение. Кристоф Шарль в своей диссертации об элитах во Франции в конце XIX в. сравнивал административную элиту (государственных советников и т. д.), деловую элиту (банкиров и т. д.) и университетскую элиту (университетских профессоров) на основании нескольких критериев, не ограничиваясь одними доходами. Он, например, учитывал место, где проживала элита (на каких улицах, в престижных ли кварталах), и место, где она обычно проводила отпуска³.

Политическая история часто использует такой показатель, как свободное волеизъявление на выборах. Исследования географии выборов, начатые А. Зигфридом и продолженные Ф. Гогелем, входят в число основополагающих элементов всякой политической истории. Они также позволяют проследить процесс имплантации политических партий и выявить связь социального, местного и национального. Да и для многих других политических сюжетов тоже вполне применим этот способ рассуждения. С его помощью можно, например, изучать манифестации, шествия и митинги. Именно так Жан-Луи Робер ис-

¹ См.: Popper K. Misère de l'historicisme. P. 81.

² См.: Bouvier J., Furet F., Gillet M. Le Mouvement du profit en France au XIX^e siècle. Paris: La Haye: Mouton, 1965.

³ См.: Crouzet F. Essai de construction d'un indice annuel de la production industrielle française au XIX^e siècle // Annales ESC. 1970, janv.-févr. P. 56–99.

¹ См.: Daumard A. Les Fortunes françaises au XIX^e siècle. Paris: La Haye: Mouton, 1973; Léon P. Géographie de la fortune et Structures sociales à Lyon au XIX^e siècle (1815–1914). Lyon: Université de Lyon-II, 1974.

² См.: Désert G. Les Paysans de Calvados: 1815–1895. Lille: Service de reproduction des thèses, 3 vol multigr, 1975.

³ См.: Charle C. Les Élités de la République, 1880–1900. Paris: Fayard, 1987.

пользовал в своей диссертации отчеты, составленные инспекторами полиции, о 18 000 профсоюзных, социалистических и пацифистских собраниях, имевших место в годы Первой мировой войны¹.

История ментальностей, по-видимому, меньше пригодна для подобного “научного” подхода. Эта уточенная область вся состоит из нюансов, и ее нельзя уловить с помощью хотя и надежных, но грубых инструментов математического моделирования. По крайней мере, так говорят, когда не хотят заниматься поисками надлежащих показателей. Но если все же удосуживаются их поискать, как это сделал Г. Ле Бра, то находят. Например, неисчислимы возможности представляет системный анализ словаря². Не менее плодотворным является также системный анализ символических действий, о котором я уже говорил в связи с памятниками погибшим. А Даниэль Рош или Мишель Вовель, например, продемонстрировали, какую пользу можно извлечь из изучения библиотек или завещаний³. Если есть социальная история политических процессов, то почему не может быть социальной истории ментальностей как представлений?

Эта история, которую можно было бы назвать социологической в той мере, в какой она соотносится с нормами Дюркгеймовой социологии и применяет аналогичные методы, является особенно эффективной при изучении долгой и средней временной протяженности. Она знавала периоды славы, и было время, когда Школу “Анналов” интересовали лишь крупные количественные исследования и серийная история, опиравшаяся на длинные ряды цифр — как в диссертации П. Шоню о нелегальной торговле драгоценными металлами между Америкой и Испанией в XVI в.⁴ Это было время, когда Э. Ле Руа Ладюри, работавший над изучением французских призывников XIX в., в категорической форме провозгласил в одном из своих текстов: “Или завтрашний историк будет программистом, или его больше не будет”⁵.

¹ См.: Robert J.-L. Les Ouvriers, la Patrie et la Révolution, Paris, 1914–1919. Besançon: Annales littéraires de l'université de Besançon. 1995. № 592.

² Я позволю себе отослать читателя к написанному мною разделу в работе Рене Ремона: [Prost A.] Les mots // Rémond R. Pour une histoire politique. Paris: Éd. du Seuil, 1988. P. 255–285.

³ См.: Roche D. Le Peuple de Paris: Essai sur la culture populaire au XVIII^e siècle. Paris: Aubier-Montaigne, 1981, Vovelle M. Piété baroque et Déchristianisation en Provence au XVIII^e siècle: Les attitudes devant la mort d'après les clauses des testaments. Paris: Plon, 1973.

⁴ См.: Chaunu P. Séville et l'Atlantique entre 1504 et 1650: 8 vol. Paris: SEVPEN, 1959–1960.

⁵ Le Roy Ladurie E. L'historien et l'ordinateur // Le Nouvel Observateur. 1968. 8 mai. Цит. по: Le Territoire de l'historien. Т. 1. P. 14.

После чего он выехал в Монтанью...¹ Так в результате очередного крена, имеющего больше общего с модой, чем с наукой, с духом времени и запросами средств массовой информации, чем с планомерным развитием научной дисциплины, количественная история была заброшена в дальний ящик.

Однако ее заслуги очень велики, что мы и старались здесь показать. И в заключение еще несколько слов. Это история, которая представляет доказательство своих утверждений. Это история, которая позволяет докопаться до структур и сравнить их между собой. Но модель, длительное время господствовавшая в историографии Франции, — модель социальной истории — не может быть сведена только к сравнительно-количественному методу. Ее внутренняя организация много сложнее и заслуживает отдельного рассмотрения.

¹ Намек на работу Э. Ле Руа Ладюри “Монтанью, окситанская деревня” (Montaillou, un village occitain. Paris, 1971), в которой он отходит от количественных методов, чтобы посвятить себя изучению микросмоса отдельной деревни.

Социальная история

Понять, как на практике соединяются структура и событие, анализ взаимосвязей и поиск причин, позволяет пример социальной истории. Эта история находится “в гуще” всех тех подходов и практических действий, которые рассматривались нами до сих пор. Я имею в виду социальную историю в широком смысле — как долговременную традицию, тянущуюся от Вольтера и Гизо до Лабрусса и Броделя и включающую таких историков, как Мишле, Фюстель, Тэн, Сеньобос, Блок, Лефевр и многие другие. Для того чтобы объяснить свойственный ей способ рассуждения, то, как она пытается осуществить синтез события и структуры, я воспользуюсь двумя примерами. Первый взят из “Курса новейшей истории” Гизо (1828), второй — из введения к диссертации Лабрусса (1943).

Гизо: классы и классовая борьба

Пример: появление буржуазии

В 1828 г. Гизо возобновляет запрещенное ему ранее ультрароялистами чтение лекций в Сорбонне. Он посвящает свой курс развитию “современной цивилизации”, которое он намеревается проследить на протяжении десятка веков. Как видим, понятие долговременности родилось не вчера... В седьмой лекции этого курса¹ речь идет о появлении буржуазии и ее укреплении в период с X по XVI в. Вот как Гизо представляет этот процесс.

Когда феодальный строй более или менее упрочился — при этом Гизо не указывает ни дат, ни территорий, — у владельцев фьефов появились новые потребности. Чтобы их удовлетворить, в городах стали понемногу возрождаться небольшие ростки торговли и промышленности, а с ними — и бывшее богатство. В города начали возвращаться люди. Но сильные мира сего, вынужденные отказаться от грабежей и завоеваний, вовсе не утратили своей алчности. “Вместо того чтобы грабить на стороне, они стали грабить тех, кто был рядом. С X в. вымогательства сеньоров в отношении горожан удваиваются”. Это приводит к жалобам со стороны купцов, которые не могли спокойно торговать, и горожан, ставших жертвами поборов и штрафов.

Здесь надо отметить психологический характер объяснений, которые дает Гизо поведению и горожан и сеньоров. Но пусть он скажет об этом сам.

Горожане, которых не устраивало такое положение дел и которым нужно было оградить свои интересы, подняли “великое восстание XI века”. “Избавление общин от произвола [...] стало результатом настоящего восстания, настоящей войны, войны, объявленной населением городов своим сеньорам.

¹ Я цитирую по старому изданию: Cours d'histoire moderne / Par M. Guizot. Histoire générale de la civilisation en Europe. Paris: Pichon et Didier, 1828, в котором каждая лекция имеет свою собственную нумерацию страниц.

Первое, что всегда встречается в таких историях, — возмущение горожан, которые вооружаются всем, что попадает под руку; изгнание людей сеньора, которые приходили в город и занимались вымогательством...”

То, что делает в данном случае Гизо, несомненно, заинтересовало бы Симиана: он конструирует социальный факт, забегая вперед. Для того чтобы сказать: “Первое, что всегда встречается в таких историях” (во множественном числе), нужно знать, по крайней мере, несколько случаев городских восстаний, сравнить их и выделить общие черты. Мы имеем здесь дело с тем порядком закономерностей, которым так любят заниматься социологи. Но в понятии “городское восстание”, как и в предполагаемых им понятиях “буржуа” и “сеньор”, мы узнаем характерные черты всякого идеального типа: с одной стороны, эти понятия представляют собой умозаключения, а не только общие описания, с другой — они неотделимы от конкретных контекстов, которые могут мыслиться только с их помощью.

Судьба этих восстаний (так называемых коммунальных революций. — *Примеч. пер.*) была разной, но постепенно они привели к установлению вольностей. Освобождение от сеньориального гнета явилось важнейшим фактом, последствия которого анализирует Гизо. Прежде всего королевская власть начала вмешиваться в дела фьефа. Хотя все эти процессы происходили на местном уровне, монархический режим выступил посредником в ссоре и “буржуазия приблизилась к центру государства”. Два других последствия заслуживают того, чтобы мы не просто изложили их вкратце, но дали высказаться самому Гизо.

Франсуа Гизо: Класс буржуазии и классовая борьба

Хотя все решалось на местах, в результате освобождения по всей стране образовался новый класс. Между горожанами не было никакой коалиции; как класс они не имели никакого общего и публичного существования. Но в стране было полно людей, оказавшихся в одной и той же ситуации, имевших одни и те же интересы, одни и те же нравы, людей, между которыми не могла не возникнуть мало-помалу некоторая связь, некоторое единство, которое не могло не породить буржуазию. Образование большого общественного класса, буржуазии, стало неизбежным результатом освобождения горожан на местах.

Не следует думать, что этот класс был в то время тем же, чем он стал впоследствии. С тех пор не только сильно изменилось его положение, но и сами его элементы были тогда совершенно иными; в XII в. класс буржуазии состоял, по сути, лишь

из купцов, торговцев, занимавшихся мелкой торговлей, и мелких собственников, владевших домами или землями и поселившихся в городе. Спустя три века буржуазия уже включала адвокатов, врачей, разного рода образованных людей, всех местных судей. Она сформировалась постепенно и из очень разных элементов [...] Всякий раз, когда речь заходила о буржуазии, создавалось впечатление, что ее представляют состоящей во все времена из одних и тех же элементов. Но это абсурдное предположение. Может быть, как раз в этом разнообразии ее состава в различные эпохи и следует искать секрет ее исторических судеб. Пока буржуазия не включала судей и ученых, пока она еще не была тем, чем стала в XVI в., она не имела в государстве тех характерных черт и того значения. Чтобы понять преемственности ее судьбы и ее власти, нужно видеть, как последовательно в ее недрах рождались новые профессии, новые нравственные ситуации, новое интеллектуальное состояние. [...]

Третий не менее важный результат освобождения городских коммун — это классовая борьба, борьба, которая сама по себе является событием и наполняет собой всю новейшую историю. Современная Европа родилась из борьбы различных классов общества.

Cours d'histoire moderne, 7^e leçon, p. 27–29.

Разумеется, вся эта лекция требует бесчисленных фактических уточнений. Все происходило совсем не так просто, и только полностью разочаровавшись в прогрессе истории, можно было бы спустя два века счесть, что анализ Гизо не нуждается в серьезной корректировке. Но нам в данном случае важно понять, как он рассуждает, а не выяснять, прав он или неправ. И можно лишь удивляться тому, какое значение занимает в его анализе понятие общественного класса.

Общественный класс

То, как Гизо определяет буржуазию, представляется интересным в трех отношениях. Прежде всего речь идет об определении ее через право, через институты: “В результате освобождения повсеместно образовался новый класс”. Буржуазия, таким образом, не просто реальность, возникшая де-факто: она оформляется институционально.

По сути, существует своего рода круговорот факта и права. Гизо упоминает о буржуа еще до освобождения, поскольку восстание, результатом которого оно явилось, было делом рук

этих самых буржуа. Следовательно, буржуа¹ существовали еще до того, как благодаря освобождению образовалась буржуазия. Это был процесс усиления, консолидации, в результате которого буржуазия становится в общем и целом тем, чем она уже была. Здесь мы имеем дело с особенностью политики и политического, которая состоит в том, чтобы служить обнаружению и созданию социального, с чем не могли бы не согласиться некоторые из современников. Но политическое берется Гизо не в событийной перспективе: он указывает на вмешательство в конфликт между городами и сеньорами именно королевской власти, а не просто того или иного короля. И здесь он также на основе конкретного, фактического конструирует общее, на этот раз — институциональное общее.

В его построении юридическое и политическое определения не оставляют места для определения экономического. Не то чтобы экономические факторы им полностью игнорировались: он, например, отмечает, что горожане восстают против сеньоров прежде всего потому, что ущемляются их интересы. Такое объяснение вытекает из самой элементарной психологии, из поведения, которое может быть понятно любому человеку. Но до марксистской концепции общественного класса еще очень далеко: нет никаких упоминаний о способе производства, структурах системы производства и обмена и их трансформациях.

Во-вторых, это институциональное определение сопровождается определением через перечисление отдельных персонажей, составляющих буржуазию: купцы, торговцы, потом адвокаты и т. д. Такое перечисление было совсем не обязательно: можно было определить буржуазию через список присущих ей черт, критериев принадлежности, таких, как состояние, равное той или иной сумме или превышающее ее, начала образованности и т. д. Гизо же предпочитает назвать членов этого класса поименно. Но, с одной стороны, он не претендует на то, чтобы назвать их всех: перечисление не является исчерпывающим, и список остается открытым. С другой — Гизо не ставит вопрос о границах класса; он не выясняет, входит та или иная социальная категория в состав буржуазии или нет.

Дело в том, что он ставил перед собой цель наполнить этот класс конкретным содержанием, дать слушателям возможность представить, вообразить себе буржуазию. И делает он это не путем составления портрета каких-то определенных людей, а называя те профессиональные группы (купцы, адвокаты и т. д.), которые сами уже являются первым уровнем обобщения. Буржуазия же составляет второй уровень, так как она

¹ “Буржуа” — первоначально все полноправные граждане, пользовавшиеся имущественными правами и личной свободой. — *Примеч. пер.*

объединяет в себе эти группы. Следовательно, мы удалены от реальных людей. И если перечисление все же имеет шанс быть эффективным, то только потому, что используемые слова сохраняют некий современный смысл: Гизо знает, что его слушатели знают, что такое купец или адвокат. В стремлении вообразить прошлое мобилизуются знания, сформированные каждодневной практикой того общества, в котором мы живем. Мы подробно объясняли это выше.

Остается третья, по Гизо, характерная черта класса буржуазии: преемственность во времени, диахронная устойчивость в изменении. Буржуазия не неподвижна, она меняется: “Не нужно думать, что этот класс был тогда тем же, чем он стал впоследствии...” Состав класса преобразуется за счет присоединения новых элементов, и эта внутренняя эволюция влечет за собой эволюцию его места и роли в государстве, — говорит Гизо (можно было бы добавить: и в обществе). Но, несмотря на все эти изменения, речь идет о том же самом классе.

Сохранение идентичности и поддержание преемственности сквозь чередование обликов делают общественный класс неким коллективным лицом: буржуазия XVIII в. остается тем же общественным классом, что и буржуазия X в., от которой она существенно отличается, так же, как и я остаюсь тем же самым человеком, что и в бытность мою студентом, военным и т. д. Обращение к понятию общественного класса позволяет оперировать множественной реальностью в единственном числе. Оно, это понятие, преобразует набор индивидуальных и местных реалий в коллективное действующее лицо.

Данный пункт чрезвычайно важен, и нам еще придется к нему возвратиться. Это то, что позволяет Гизо рассказывать историю общества тем же способом и по той же схеме, что и историю отдельных людей: общественный класс для него — это действующее лицо истории, со своими намерениями и поведенческими стратегиями. Он даже наделяет его чувствами: классы “друг друга ненавидели” — сказано чуть ниже. Гизо говорит и об их “страстях”. История становится у него историей борьбы классов между собой: “Борьба, вместо того чтобы быть принципом застоя, стала причиной прогресса”. “Из нее вышел, может быть, самый энергичный, самый плодотворный принцип развития европейской цивилизации”. Классовая борьба “сама по себе является событием и наполняет собой всю новейшую историю”.

Мы видим, каким способом понимаемая таким образом социальная история приходит к компромиссу между событием и структурой. Коллективное действующее лицо несовместимо для Гизо с бессмысленным историческим анекдотом; оно изначально находится на том уровне всеобщности и устойчиво-

сти, который обладает значимостью для общества в целом. Совокупность общественных классов составляет конфликтное, взаимозависимое единство. Но коллективные действующие лица делают историю: под действием борющихся классов преобразуются и состав класса, и его место в обществе и государстве, и сами структуры этого общества и этого государства. Следовательно, понятие класса предполагает такую историю, которая пытается мыслить общество как таковое. Несомненно, история Гизо таковой не является. Токвиль же вообще полагал, что “классовое сознание может вытекать только из классовой принадлежности”, и говорил о классах в другом месте, что “только они одни и должны занимать историка”¹.

¹ Цит. по: Lefebvre G. *Réflexions sur l'histoire*. P. 135.

Лабрусс: экономическая база общественных классов

Пример: кризис французской экономики в конце эпохи Старого порядка

Второй пример я взял из введения к диссертации Лабрусса¹. Это цельный текст, блистательно написанный, в котором, как в реферате, представлен весь его метод.

Первое, что привлекает внимание в этом исследовании, — то, что Лабрусс еще до Броделя увязывает вместе три темпоральности, имеющие разный ритм. Так, XVIII век — это время долгого, медленного развития. Растут цены. Сельскохозяйственное производство увеличивается, но медленно, ибо повышение цен “может работать на предпринимателя, только если он продает, если у него имеется излишек, который можно продать”. Именно так обстоят дела у виноделов, как крупных, так и мелких, но технические возможности того времени не позволяли иметь прибыль производителям зерна или животноводам, исключая разве что очень крупных производителей, находившихся в меньшинстве. Таким образом, “не считая виноградарей, конъюнктура складывается благоприятно лишь для незначительного меньшинства хозяев, имеющих в силу этого стимул для расширения и интенсификации землепользования”.

Однако в руках этого меньшинства крупных собственников находится множество земель, которые они сдают внаем фермерам. Последним выгодно повышение цен, так как арендная плата остается неизменной в течение всего срока аренды, в то время как цены растут. Собственники, которые сами не ведут хозяйства, также в массе выигрывают от повышения цен: буржуа, сдающие земли в аренду, — при каждом новом заключении арендного договора, а сеньоры, получающие оброк нату-

рой, — раз в год. “В отличие от буржуазной ренты сеньориальная рента не отстаёт от прибыли”. Спекулянты делают огромные деньги во время сильных скачков цен. Наконец, все рекорды побил лес, а ведь леса, являясь важным элементом крупной земельной собственности, никогда не сдаются в аренду: “Здесь аристократическая земельная рента не идет на сделку с крестьянской прибылью”.

“Но в отличие от прибыли собранная рента чаще всего не возвращается обратно на землю”. Она вкладывается в городе: в новое строительство, в неумеренное потребление, в расширение штата прислуги, но также в промышленные предприятия. Существует городское перераспределение сельской ренты. Слуги, строительные рабочие, мастера художественных промыслов, рабочие мануфактур, разнообразные предприниматели стекаются в города; местная торговля существенно выигрывает от этого притока и сама пополняется за счет многочисленных приезжих.

Лица наемного труда, как в городе, так и в деревне, также по-своему выигрывали от этого экономического движения, хотя им и нечего было продавать: “Они просто зарабатывали себе на жизнь”. Кризисное существование “намного меньше убивает поденщиков, рабочих, исполщиков, парцелляристов. Следствие: пролетариат или не находящий себе применения полупролетариат быстро наводняет рынок труда [...] Наемный рабочий, которому позволили жить, заплатит за эту проявленную к нему терпимость подневольной работой за гроши”.

Второй процесс был более кратким — он продолжался около десяти лет. Начало его приходится примерно на 1778 г., когда цены пошли на убыль. В это время ухудшается положение фермера-арендатора, так как прибыль снижается, а арендная плата остается ориентированной на ее рост, ибо кандидатов на заключение нового арендного договора всегда хватает. Дело в том, что “демографический всплеск [...] привел к увеличению численности крестьянской семьи: теперь отцы вместе со всем своим семейством простаивают в ожидании у дверей фермы”. Единственным способом для фермеров защитить свою прибыль становится уменьшение заработной платы своим рабочим. Собственники же, наоборот, удовлетворены. “Аренда переживает подъем, невиданный подъем! Земельный капитализм выступает не только как мощный социально защищенный сектор. Он ведет наступление, он продвигается вперед рекордными темпами, и перед ним беспорядочно отступает крестьянская прибыль”. Следует по ходу дела отметить косвенный персонализм того “действующего лица” истории, которым для Лабрусса является земельный капитализм: он “ведет

¹ См.: Labrousse C.-E. Introduction générale // La Crise de l'économie française à la fin de l'Ancien Régime et au début de la Révolution. I: Aperçus généraux, Sources, Méthode, Objectifs, la crise de la viticulture. Paris: PUF, 1944. P. VII–LII.

наступление”, а это действие предполагает наличие одушевленного субъекта. Создавшимся положением воспользовалась индустрия предметов роскоши, но в целом сокращение сельского рынка сбыта неблагоприятно сказалось на торговле и промышленности. Сокращение расходов на рабочую силу привело к безработице, которая была в то время “сущим наказанием для пролетариата города и деревни”.

Третий процесс, который занял очень короткое время, — циклический кризис 1789 г., начавшийся с плохого урожая 1788 г. На этом я заканчиваю рассмотрение данного примера, так как сам Лабрусс анализирует его весьма кратко, и к тому же в его собственных глазах он не так уж важен, да и не так уж нов. Лабрусс завершает свое введение вопросом: что это было — революция нищеты или революция благосостояния? Он склоняется к первой интерпретации, ибо, по его мнению, суд над монархическим режимом черпает силу в недовольстве. “Грубейшей ошибкой истолкования является выведение политического кризиса из кризиса экономического. Революционные события [...] в значительной мере порождены снижением прибыли и заработной платы, материальными затруднениями промышленника, ремесленника, арендатора, собственника, занимающегося хозяйством, бедственным положением рабочего, поденщика. Неблагоприятная конъюнктура объединяет в общем противостоянии буржуазию и пролетариат. И в этом отношении [...] революция действительно предстает как революция нищеты”.

Экономика, общество, политика

Если проанализировать рассуждение Лабрусса в том виде, в каком мы его изложили, то прежде всего можно констатировать большую тщательность при конструировании общественных групп. Лабрусс использует такие крупные образования, как пролетариат и буржуазия, однако предпочтение отдает более мелким категориям — арендаторам, собственникам, ведущим хозяйство, собственникам, не ведущим хозяйства, лицам наемного труда в городах и т. д.

Дело в том, что фактически Лабрусс проводит различие не столько между общественными группами, сколько между типами доходов¹. Он находится на самом стыке экономического и

социального, в той самой точке, где движение цен и произведенной продукции принимает конкретную форму материальных средств, строго определенных для отдельных индивидов. Следовательно, он определяет общественные группы, исходя из тех разнообразных способов, с помощью которых они вписываются в экономику. Отсюда, например, проистекает различие между аристократией и буржуазией, т. е. между сеньориальной рентой (оброк) и рентой земельной (арендная плата).

Такой способ рассуждения радикально отличает Лабрусса от Гизо. Психология не играет у Лабрусса никакой роли, а юридические и институциональные аспекты выходят на поверхность лишь в той мере, в какой они регулируют распределение доходов. Общественные группы детерминированы их объективным положением на экономическом поле. Их удовлетворенность или недовольство являются не сменой настроения или реакцией на посягательства, но непосредственным отражением повышения или понижения доходов. Вернее, удовлетворение и недовольство не имеют никакой плотности, никакой собственной реальности, они не выступают объектом социального или культурного конструирования: это просто-напросто выражение улучшения или ухудшения материальной ситуации тех, кого это касается. Лабрусс допускает без какого бы то ни было специального доказательства (настолько это ему кажется очевидным), что повышение доходов влечет за собой удовлетворенность, а их снижение — недовольство. Этот постулат кажется само собой разумеющимся, хотя при внимательном рассмотрении он мог бы обернуться неожиданностями. Ведь он обеспечивает автоматический переход от изменения доходов, т. е. от экономических изменений, к изменениям социальным.

Вдобавок для того, чтобы современники реагировали на улучшение или ухудшение своих условий, необходимо, чтобы они их осознавали. Как они воспринимали изменение своего материального положения? Какому из многочисленных движений цен они придавали наибольшее значение? Как перейти от ретроспективной статистической конструкции историка к реальности, переживаемой современниками событий? Именно здесь мог бы состояться культурный анализ восприятия современниками экономических изменений — анализ непростой из-за отсутствия источников о людях низшего сословия. Но Лабрусс этим не занимается. Он утверждает, что реальное, т. е. то, что воспринималось современниками, — это подвижное среднее арифметическое цен, нивелирующее случайные отклонения. Этот постулат очевидно недоказуем, но он абсолютно необходим в Лабруссовой парадигме. Устранив психологию на уровне связи между движением цен и удовлетворенностью или

¹ См. исследование Ж.-И. Гренье и Б. Лепти: Grenier J.-Y., Lepetit B. L'expérience historique: À propos de C.-E. Labrousse.

недовольством, Лабрусс устраняет ее к тому же и на уровне самого восприятия движения цен¹.

Но дело в том, что и индивид тоже устраняется, причем с самого начала, с момента выбора источников, так что и в этом пункте общественный класс в понимании Лабрусса отличается от класса Гизо. Гизо конструировал класс, соединяя вместе конкретных индивидов; Лабрусс же исходит из уже абстрактных, коллективных, сконструированных данных. Как справедливо замечает К. Помян, источники Лабрусса — это бюллетени курсов цен, т. е. серии цифр, собираемые по рынкам, среднее арифметическое, а не конкретная цена, заплаченная тем или иным покупателем, внесенная таким-то арендатором или полученная таким-то сборщиком десятины, что для А. Озе и было “настоящей ценой”². Как самоубийства Дюркгейма, так и цены Лабрусса — это социальные факты, конструируемые для того, чтобы сделать возможным сравнение между различными группами, что Лабрусс, собственно, и делает.

И все же, по двум причинам, мы имеем дело именно с историей. Во-первых, в центре внимания Лабрусса остается диахронное исследование: работа над временем является для него основополагающей. Время Лабрусса радикально отличается от времени Гизо. Оно подчинено экономической, а не политической периодизации, но в то же время это и циклическое, многоскоростное время, время сопряженных друг с другом экономических циклов. Кроме того, это уже не обязательно время прогресса, время наступления “современной цивилизации”. В нем нет никакой заданности, которая была бы внешней по отношению к работе историка: эта темпоральность есть не что иное, как некая организация, обнаруживаемая *a posteriori* в результатах исследования.

¹ Это обстоятельство было замечено Ж.-И. Гренье и Б. Лепти. Оно относится ко всей лабруссской школе. Ж. Дюпё в своей диссертации подсчитывает подвижное среднее арифметическое цен по девяти годам. Он обосновывает выбор девяти лет (почему не семи и не пяти?) средней продолжительностью циклических колебаний, составляющей девять лет. Предположим. Далее он утверждает, что цена в восприятии современников есть подвижное среднее арифметическое девяти предыдущих лет. Затем он констатирует, что воспринимаемые цены на девять лет отстают от реальных. Какое восхитительное открытие по завершении исследования постулатов, выдвинутых еще в самом начале! Но на чем основано утверждение о том, что воспринимаемые цены являются средним арифметическим девяти предыдущих лет? См.: *Dupeux G. Aspects de l'histoire sociale et politique du Loiret-Cher, 1848–1914. Paris: Impr. nationale, 1962. Ch. I. P. 2.*

² См.: *Pomian K. L'Ordre du temps. P. 77–78.* Ж.-И. Гренье и Б. Лепти (*Grenier J.Y., Lepetit B. L'expérience historique*) также настаивают на этом пункте: статистическое конструирование серийных цен является фундаментальным для Лабруссской парадигмы, но довоенным историкам было очень непросто принять его.

Во-вторых, лабруссская история продолжает объяснять события, но статус события изменился: оно стало конъюнктурным. Это уже не действия того или иного исторического персонажа, не столкновение тех или иных общественных групп, как у Гизо, который занимал позицию на стыке социального и политического: событие стало инцидентом, прерывающим линейную непрерывность кривых на графике; оно стало точкой наибольшего подъема цен, вызванного, например, плохим урожаем, поворотным пунктом, когда за снижением следует повышение, и наоборот. Рыночная конъюнктура в каком-то смысле возвращает истории ее событийное измерение, исключив из нее измерения индивидуальное и психологическое.

Мы видим, насколько связаны все аспекты этой истории, причем в двояком смысле. Прежде всего, с точки зрения действий историка, постановка вопросов соотносится здесь с выбором предпочтительных источников и с методом их истолкования. Объяснение основывается на двойном сравнении: с одной стороны, сравниваются однотипные события по кривым, отражающим их изменение, с другой — сами эти кривые. Лабрусс сравнивает два сравнения. Метод не нов: великим мастером его был Симиан, хотя задолго до него, в XIX в., он использовался, например, Э. Левассером. Но Лабрусс доводит этот метод до совершенства, создав на его базе целую школу. Сравнение кривых является абсолютно историческим и в то же время абсолютно научным методом: абсолютно историческим — потому что кривая есть изменение во времени; абсолютно научным — потому что, будучи совершенно объективной, кривая непосредственно поддается сравнительному методу. Наконец, ясно, что темпоральность лабруссской истории полностью соответствует ее общему замыслу.

Но соответствие, внутреннее единство проявляются также в интеграции различных аспектов социальной реальности, историей которой занимается Лабрусс. Хотя прежде всего это социально-экономическая история, ее неотъемлемой частью является также политическое, понимаемое как прямое или косвенное следствие социального, как результат творчества тех одушевленных коллективных героев (актеров), коими являются различные социальные группы (арендаторы, лица наемного труда, рантье и т. д.). Интенциональность их поведения объективно заключена в данных, естественно вытекающих из экономических процессов. Политическое, таким образом, непосредственно увязано с социальным, которое, в свою очередь, увязано с экономическим. В результате, хотя, разумеется, ценой некоторых издержек, мы получаем непротиворечивое и глобальное объяснение.

И тогда становится понятным то поистине гипнотическое воздействие, которое Лабруссова парадигма имела на несколько поколений студентов. Ведь она позволяла удовлетворить сразу три интеллектуальные потребности. Во-первых — стремление к синтезу и обобщению: она возводила объяснение до уровня всеобщности и этим создавала ощущение господства над общественным развитием в целом. Во-вторых — стремление к причинному объяснению: она представляла ход истории в качестве неотвратимого результата влияния глубинных сил, осуществляющегося через доступные наблюдению опосредования. Лабруссова парадигма как бы описывала силу вещей, немолимое действие глобальных объективных процессов. И наконец, в-третьих — стремление к научности: она опиралась на надежные процедуры построения доказательства, в которых невозможно было усомниться. Это был, таким образом, в полной мере экспликативный и в полной мере научный синтез.

Именно поэтому вся французская историография второй трети века развивалась под знаком социальной истории в описанном выше понимании. С учетом естественной разницы, связанной как с личностью авторов, так и с темой их исследования, диссертации таких историков, как П. Губер, П. Шоню, Ф. Бродель, П. Вилар, Э. Ле Руа Ладюри, Ж. Дюпё, П. Вижье, А. Домар, Р. Базрель, Р. Трампэ, М. Перро, Ж. Дезер, А. Корбен и многие другие, удачно вписываются в перспективу синтеза между экономическим, социальным и политическим или религиозным аспектами истории¹. Во всех этих диссертациях приводятся количественные серии, выраженные с помощью графиков и карт и служащие для объективации фактических построений и подкрепления выдвигаемых гипотез. “Новая” история только еще робко стучалась в дверь, а Школа “Анналов” уже всю рекламу количественных методов, делая ставку на новые возможности, открываемые компьютером².

¹ В том случае, если бы читатель захотел узнать мою позицию относительно этой авторитетной когорты, я ответил бы, что моя диссертация о ветеранах войны (*Les Anciens Combattants et la Société française, 1914–1939*. 3 vol. Paris: Presses de la FNSP, 1977) имела целью изучение одной социальной группы, которая, не будучи классом, пронизывала все общественные классы и определялась критериями, отличными от экономических. Чтобы восхищаться Лабруссом, не обязательно быть его учеником...

² См., в частности, об этих умонастроениях два текста Э. Ле Руа Ладюри: статью в газете “Монд” от 25 января 1969 г. и лекцию, прочитанную в Торонто в декабре 1967 г. Оба текста можно найти: *Le Territoire de l'historien*. I: *La révolution quantitative et les historiens français: bilan d'une génération (1932–1968)*. P. 15–22; *Du quantitatif en histoire: la VI^e section de L'École pratique des hautes études*. P. 23–37.

Закат Лабруссовой парадигмы

Лабруссова парадигма и марксизм

Расцвет Лабруссовой парадигмы совпал с тем историческим контекстом, который и сделал ее столь значимой и убедительной¹. Сначала это был кризис 30-х гг., который, казалось, обошел стороной советскую экономику; затем война 1940 г., на фоне которой неизмеримо вырос престиж защитников Сталинграда, и наконец освобождение Франции от гитлеровской оккупации, в результате которого рабочий класс превратился в носителя всенародного будущего во всемирном масштабе, а “его” коммунистическая партия как партия “научного” социализма и диалектического материализма получила значительное доверие в среде интеллигенции.

Напротив, подрыв доверия к Лабруссовой парадигме вписывается в ту историческую ситуацию, которая развивалась под знаком краха реального социализма в странах с советским режимом. Эта потеря влияния была подготовлена и сопровождалась тем более жесткой критикой марксизма, что последний в середине 1960-х гг. приобрел во Франции догматический и мессианский характер. Его философской моделью стали взгляды Альтюссера, а политической — Мао. Р. Арон не был по-настоящему услышан, когда пытался показать, что Токвиль очертил основные исторические тенденции общественного разви-

¹ Вывод, который я здесь формулирую в связи с историей Лабруссовой парадигмы, является способом исторического объяснения, бесчисленные примеры которого можно найти в любой книжке по истории. Говорить, что расцвет этого типа истории “совпадает” с определенным историческим контекстом, значит объяснять его этим контекстом. Здесь задействовано то самое, критиковавшееся Симианом, понятие *Zusammenhang*. Мы чувствуем, какой силой обладает объяснение, которое можно было бы при необходимости подкрепить фактическими аргументами. Но мы чувствуем также и его слабость: что это за “совпадения”, за связи, которые утверждаются, не будучи исследованными во всех своих модальностях? Однако именно так и пишется история. Джек Хекстер весьма талантливо объяснил таким способом успех Броделя. См.: *Fernand Braudel and the Monde Braudellien (sic)* // *On Historians*. P. 61–145.

тия намного лучше, чем Маркс¹. Однако он был прав, а повышение общего уровня жизни населения капиталистических стран в конце концов дискредитировало пророков пауперизации, причем задолго до того, как их несостоятельность продемонстрировал экономический крах восточноевропейских стран.

В этом новом общественном климате все, что так или иначе кажется связанным с марксизмом, объявляется устаревшим, и некоторые представители интеллигенции заходят так же далеко в изобличении малейших следов марксизма, как их предшественники в 1945–1950 гг. — а порой они же и сами — в его возвеличивании. Потеря доверия такова, что это оборачивается гонением на все те понятия, которые кажутся хоть как-то связанными с марксизмом. Случается, что даже искушенные в принципе историки не могут устоять против этого поветрия. Но в таком случае история лишается таких понятий, как “класс” и “классовая борьба”, а ведь они вовсе не марксистские и употреблялись еще историками прошлого, в том числе историками консервативных взглядов, такими, как Гизо.

Карл Маркс: Я не изобретал ни классов, ни классовой борьбы

Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собой. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты — экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего: 1) что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства, 2) что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата, 3) что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов.

Письмо к Вейдемейеру, 5 марта 1852 г.²

Отказ от таких понятий, как “класс” или “классовая борьба”, бывших, по признанию самого Маркса, понятиями “буржуазной” истории и политэкономии, угрожает сделать невозможной какую бы то ни было историю общества. Действительно, как можно мыслить эту историю, если не представлять себе общество как образование, состоящее из множества коллективных сущностей, дефиниция и конфигурация которых могут меняться, но которые вполне нормально определяются

термином “общественный класс”? Как можно понять “общественные классы”, если не учитывать экономические реалии, лежащие в их основе, даже если эта связь реализуется в несравненно менее очевидных опосредованиях, чем те, которые предлагал Лабрусс? Интеллектуальная мода, которую не без доли деспотизма внедряют современные критики марксизма, может привести к тому, что историки просто откажутся от какого бы то ни было синтетического дискурса обо всех наших обществах вместе взятых.

С другой стороны, уже невозможно наивное, некритическое использование этих и аналогичных им понятий (*буржуазия, рабочие* и др.). Хотя они и не являются марксистскими по своей природе, в них заключены две, тесно переплетающиеся, серьезные опасности.

Первая состоит в овеществлении, материализации классов, в том, что из них делают реалии сами по себе. У Лабрусса, как и у других историков 1950–1960-х гг., не было никаких сомнений: общественные группы существуют. Они вполне реальны и готовы служить категориями анализа¹. Но этот наивный реализм был сражен двойным ударом: с одной стороны — вопросами, поставленными социологами, с другой — новыми явлениями среди статистиков. Социологи стали сомневаться в реальности рабочего класса и заговорили о “новом” рабочем классе или о раздроблении рабочего класса². Существование самого очевидного общественного класса становилось, таким образом, проблематичным. Что касается статистиков, взявшихся размышлять над историей своей дисциплины, то они создали историю социопрофессиональных категорий³. В настоящее время все больше утверждается идея о том, что разного рода классификации — это не данные социальной природы, но результаты конструирования, которое само социально. Бурдьё и его школа настоятельно подчеркивали, что социальные классификации проистекают из исторического противоборства, являясь изначально его объектом⁴. Понятие класса тре-

¹ См.: Aron R. Dix-huit Leçons sur la société industrielle. Paris: Gallimard, 1968.

² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М., 1962. Т. 28. С. 424–427.

¹ Дискуссии, которые велись на конференции 1965 г. по проблемам социопрофессионального кодирования, показали всю глубину этого реализма: есть группы, а уж классификации должны к ним приспособливаться. См.: L'Histoire sociale, sources et méthodes.

² См.: [Prost A.] Qu'est-il arrivé à la sociologie du travail française? // Le Mouvement social. 1995. № 171, avr.-juin. P. 79–95.

³ См.: Desrosières A. Éléments pour l'histoire des nomenclatures socioprofessionnelles // Pour une histoire de la statistique. Т. 1. P. 155–231. Конференция по истории статистики в Вокрессоне (1976), на которой был представлен этот текст, стала важной вехой в развитии социальной истории.

⁴ Красивый пример исторического конструирования одной социальной категории см.: Boltanski L. Les Cadres: la formation d'un groupe social. Paris: Éd. de Minuit, 1982.

бует, следовательно, пересмотра, реконструкции; оно может быть приемлемым лишь по завершении исторического исследования, а не в качестве его исходной точки.

Другая опасность некритического использования этих понятий заключается в упрощенчестве. И у Лабрусса и у Гизо классовая борьба является движущей силой не только политики, но и социальных изменений. Она имеет совершенно прозрачные мотивации: общественные группы борются за улучшение своего положения относительно друг друга. Однако если в чем-то Лабрусс пошел дальше Гизо, то в некоторых отношениях он ему явно уступает. Преимуществом его концепции можно считать тщательный учет экономических реалий, экспликативная ценность которых очевидна. Но это достигается ценой двойной редукции: сведения социального к экономическому, а политического к социальному. В концепции Лабрусса нет места тем историческим процессам, в результате которых акторы приходят к осознанию — иногда обоснованному, а иногда искаженному — объективной реальности и тем самым содействуют формированию групп, четко представляющих свои интересы, и установлению изменчивых границ, отделяющих союзников от противников. Тот реализм, который заставляет считать различные общественные группы естественными, самоочевидными, не дает возможности видеть их историческое конструирование, превращая его в автоматическое. Лабрусс, без сомнения, не осознавал, что его объяснения основываются на постулате, согласно которому рост доходов влечет за собой удовлетворенность, а их уменьшение — недовольство соответствующих общественных групп. Постулат, конечно, весьма внушительный и достаточно правдоподобный, и он казался ему совершенно очевидным, но при внимательном рассмотрении этот постулат оборачивается некоторыми неожиданностями: не все так просто. Однако подобное упрощение не смущало лабруссовскую социальную историю, поскольку оно позволяло ей выявить главное — конфликты между различными группами — и добиться одновременно синтетического и динамического видения общества.

Конечно, можно было внести некоторые поправки в Лабруссову парадигму, чтобы устранить из нее этот наивный реализм и это упрощенчество. Но на деле ее не столько исправили, сколько просто-напросто забросили. Все было так, будто чары прекратили свое действие, и отныне этот тип истории принадлежит прошлому.

Лабруссова парадигма и “новая” история

В самом деле, Лабруссова парадигма наглядно продемонстрировала недостатки собственных преимуществ. За ее экспликативные возможности приходилось платить двойную цену, на которую соглашались историки того времени, но которая кажется чрезмерной их сегодняшним последователям.

Во-первых, занимаясь исключительно разложением силы вещей, эта история оставляла слишком мало места свободе действующих лиц. Вмешательство людей в историю было сведено до минимума. Бесчисленные действия рядовых людей находятся между собой в противоречии и аннулируют друг друга, так и не произведя ничего стоящего¹. Что касается тех, кто полагают, что “делают историю”, то они являются жертвой иллюзии. То, что случается, должно было случиться. Это наставление на необходимость, неизбежности того, что случается в ходе истории, эта в своем роде *фаталистская*, в противоположность мнению Арона или Вебера, точка зрения не является чем-то свойственным лично Лабруссу или историкам, находящимся под влиянием марксизма. Она характерна для всей социальной истории. Разделяя эту точку зрения, социальная история вынуждена придавать особое значение объективным условиям и игнорировать определенную свободу вмешательства действующих лиц. В этой связи Ф. Досс приводит весьма недвусмысленное высказывание Броделя: “Ты ведь не станешь бороться с морским приливом?... Так и с грузом прошлого — ничего не поделаешь, его можно разве что осознать”. “Поэтому когда речь идет о человеке, мне всегда хочется рассматривать его как пленника своей судьбы, которая едва ли была делом его собственных рук”². Мы находимся в царстве детерминизма, где свободе действующих лиц отведено ничтожно малое и ничего не значащее место.

¹ Эта точка зрения была сформулирована, в частности, Ф. Энгельсом в одном из писем 1890 г., опубликованном в *Le Devenir social* (март 1897): “История делается таким образом, что конечный результат всегда вытекает из конфликта множества индивидуальных актов воли, каждый из которых является тем, что он есть, вследствие многочисленных особых условий; следовательно, имеются бесчисленные пересекающиеся силы, бесконечная группа параллелограммов сил, из которых выводится равнодействующая — историческое событие, которое само по себе может рассматриваться как продукт одной силы, действующей как целое, *бессознательно* и не имеющей воли. Ибо тому, чего хочет каждый, противоречит то, чего хотят все остальные, и то, что происходит, есть нечто такое, чего никто не хотел”. Необходимость, прокладывающая себе дорогу сквозь все эти случайности, есть, по Энгельсу, экономическая необходимость.

² L'Histoire en miettes. P. 114. Первая цитата — из выступления Броделя по ТФ-1 22 августа 1984 г.; вторая — из *La Méditerranée*, éd. 1976, t. 2, p. 220.

В пику этой истории общественных структур «новая» история вернула былое значение изучению более конкретных вещей. «Люди не находятся в социальных категориях, как ручки в коробках, и [...] потом «коробки» не имеют иного существования, кроме того, которое дают им, в соответствующем контексте, люди (т. е., применительно к исторической дисциплине, — уроженцы прошлого и сегодняшние историки)»¹. Таким образом, социальная история сегодня обратилась к менее общим уровням исследования, где вновь обретает свое место свобода действующих лиц. Изменился масштаб. Наступило время микроистории, которая в своих слишком узких и потому труднодоступных рамках путем сопоставления многочисленных источников изучает социальные практики, самосознание, родственные связи, жизненный путь отдельных индивидов и целых семей вместе со всеми представлениями и ценностями, которые они с собой несут.

Казалось, реабилитация действующих лиц могла бы сыграть на руку политической истории. Лабруссова парадигма не позволяла мыслить специфику политического и вообще культурного: ее склонность к упрощениям приводила к полной слепоте в этом вопросе. Сводя политическое к социальному, а социальное — к экономическому, она делала невозможным понимание того, что сходные экономики могли ужиться с совершенно различными типами общества, а сходные общества — с различными политическими режимами. Однако несмотря на то что сам Лабрусс, относивший себя к марксизму, иногда, особенно для XIX в., несколько упрощенно применял свою схему, в соответствии с которой социальный кризис вытекает из экономического, а политический — из социального, историки его школы, даже коммунисты, сумели все же сохранить интерес к нюансам и специфике политического. Поэтому, как правило, они избегали переносить на политику идеологические штампы. Так что вряд ли политическая история выиграла в результате заката лабруссовской социальной истории: последняя скорее ее обогатила, чем дезориентировала.

Сегодня взоры историков обращены уже к другим объектам. Лабруссова парадигма сходит с нашего горизонта, так и не найдя себе реальной замены, поскольку наших современников уже не интересуют те вопросы, которые можно было рассматривать с ее помощью. В этой эволюции исторических интересов немалое значение имело отношение истории к другим общественным наукам.

Научная конъюнктура 1930-х, 1940-х и 1950-х гг. благоприятствовала «Анналам» в их стремлении сделать из истории

всеобъемлющую общественную науку. Это притязание, однако, было оспорено этнологией в лице Леви-Строса, причем даже активнее, чем социологией. В создавшейся ситуации Бродель потребовал отдать истории область долговременности и структур, что означало претензию на сильное, по существу, господствующее, положение, вследствие чего другие общественные науки оказывались науками о кратковременности, о настоящем моменте. Но таким образом история завладела их объектами, которые она стала изучать по-своему. Этой перетасовкой был подготовлен будущий раскол истории.

Сегодня уже невозможно представить себе социальную историю, которая бы не брала в расчет сферу конкретных социальных практик, сферу представлений, символического творчества, обрядов, обычаев, отношения к жизни и окружающему миру, короче говоря — сферу того, что одно время называли «ментальностями», сферу культур и культурных практик. Конечно, речь в данном случае идет о коллективных реалиях, а значит, их можно было бы конструировать по аналогии с социальным фактом. Но это имело бы смысл лишь для сопоставления данных реалий с другими, в целях их дальнейшего, еще более масштабного конструирования: ведь эти универсумы лишились бы в новом конструкте своего вкуса, цвета, человеческой теплоты, а их функционирование и внутреннее устройство могли бы остаться незамеченными. Вот почему для новой истории антропологическое описание важнее объяснения, а изучение функционирования важнее исследования и выстраивания иерархий причин. Монографии получают новый статус: от них требуется уже не репрезентативность, а проникновение в тайники общественного или индивидуального бытия. Уже сама новизна этого подхода позволяет им «рельефно» обнаруживать имплицитные нормы изучаемого общества.

Более пессимистический и более полемиический взгляд видит причину поворота в домогательствах со стороны средств массовой информации и в духе времени¹. История больше не претендует на глобальное объяснение обществ и культивирует не события, а разрозненные предметы, которые каждый может выбирать по своему настроению, локальные структуры со своей собственной темпоральностью, т. е. то, что позволяет уйти от скучного настоящего². Таким образом, исходные принципы «Анналов» и Лабруссова парадигма приходят к своему диалектическому отрицанию.

¹ См.: Dosse F. L'Histoire en miettes.

² «Для меня история — это как бы форма бегства из XX века. Мы живем в достаточно мрачное время» — слова Э. Ле Руа Ладюри, приводимые Ф. Доссом (с. 250).

¹ [Lepetit B.] // Les Formes de l'expérience. P. 13.

Франсуа Досс: Новый исторический дискурс

Что представляют собой «Анналы» сегодня? При поверхностном подходе можно было бы поверить [...] в отсутствие связи между господствующей властью, технократией, технокультурой и современными историками, занятыми неподвижной и далекой историей. Но это не так. Новый исторический дискурс точно так же, как и прежние, приспосабливается к власти и окружающей идеологии. В нашем современном мире желание изменений сведено до маргинальности, до статуса галлюцинации, бреда, когда изменение мыслится как качественное [sic, для качественного], а не как простое количественное преобразование, простое воспроизводство настоящего. Сегодняшние «Анналы» пытаются представить фазы ломки, революций как досадную оплошность, допущенную в отношении преемственности, этой основы линейной эволюции. Революция в этом историческом дискурсе превратилась в мифологию, и тот, кто захотел бы помыслить изменение, не найдет ничего стоящего в многосложных и вместе с тем плодотворных трудах Школы «Анналов», как это признает, кстати, Жак Ревель. Дискурс «Анналов» выражает собой господство средств массовой информации, он адаптируется к их нормам и преподносит историю, являющуюся по преимуществу культурной, этнографической. Речь идет о зрелищном описании материальной культуры в неоромантическом духе, где юрдивые соседствуют с колдуньями, где обочина, периферия поменялись местами с центром, где новая эстетика становится необходимой оборотной стороной окружающей технократии, торчащего из воды бетона. Эта история вбирает в себя сновидения, подавляемые инстинкты, пытается осуществить консенсус по проблемам нашего современного общества, а на историка возложена обязанность разгрести все эти аномалии, чтобы вновь соединить их в некоем разноплановом мире, где каждому найдется место в едином и непротиворечивом общественном целом.

L'Histoire en miettes, p. 255.

Разочарование в глобальных парадигмах, как в марксистской, так и в структуралистской, которое вполне соответствует как трауру по великим коллективным надеждам, так и индивидуализму конца XX в., можно также считать отказом вести разговор об обществе в целом и о его эволюции. В этом смысле социальная история не получила замены: ее место, место синтеза, остается пустующим.

Закат коллективных сущностей

В произведенном только что анализе социальной истории от Гизо до Лабрусса мы неоднократно указывали на то, что историки охотно прибегают к персонификации коллективных сущностей. Для того чтобы оставаться историей, доступной пониманию на уровне побудительных мотивов и намерений, при том что она конструирует в каком-то смысле абстрактные коллективные сущности, объяснимые лишь на уровне устанавливаемых закономерностей, социальная история распространяет на коллективного героя те же намерения, те же эмоции и ту же психологию, что и на отдельного индивида. Она создает, так сказать, коллективных индивидов. Класс может «думать», «хотеть», «ненавидеть», «нуждаться», «чувствовать». Лингвисты относят слово «класс» к разряду одушевленных существ, которые могут выступать подлежащими при глаголах действия, волеизъявления и т. д. На этой-то возможности перенесения схем, объясняющих поведение индивидов, на коллективные действующие лица и основывается существование социальной истории, понимаемой как история коллективных героев.

Из приведенного выше (с. 142) высказывания П. Рикёра мы видели, как этот перенос индивидуального на групповое мог закрепиться в сознании индивидов в виде некоего «мы», составной частью которого они себя признают. Однако это имеет силу лишь для человеческих сообществ. Но ведь как к этому ни относиться — отвергать или приветствовать, — факт, что социальная история заходит в персонализации гораздо дальше, остается фактом.

У Лабрусса наступление ведет капитализм. А для Февра уже и область Франш-Конте выступает «коллективным историческим лицом». У Броделя постоянно персонифицируются географические реалии. Пустыня становится хозяйкой, горы — неуклюжими людьми с грубыми и неприветливыми лицами. Бродель страстно любил Средиземноморье — этот сложный, не идущий ни в какое сравнение персонаж, которому нужно было утолить голод. Человека же он, наоборот, сближал с природой через использование метафор: он растет, как многолетнее растение, роится, как пчелы, когда улей становится слишком тесным; бедняки у Броделя похожи на гусениц или на майских жуков. Возможно, реакция «новой» истории не была бы столь явно направленной в сторону индивидуализма, если бы у ее предшественников не была столь сильна дегуманизация акторов истории. Как бы то ни было, персонализация неодушевленных действующих лиц является одним из центральных приемов любой социальной истории. Для того чтобы показать

действие структур и заставить понять их вмешательство в ход истории, историк прибегает к персонификации своих объектов.

Когда персонализация имеет место в отношении человеческих коллективов (профессиональной группы, класса, нации), риск существует, но он ограничен: он состоит в том, что соответствующие сущности преподносятся как “естественные”, без учета того, что все они являются конструкциями человеческого ума и продуктами истории. О буржуазии или о Франции говорят так много, что забывают спросить себя, каким образом та и другая сформировались в качестве общностей в представлении самих членов этих общностей. Объективированный класс заслоняет собой класс в субъективном восприятии или жизненной ситуации, а также пути его осознания.

Когда же персонификация имеет место применительно к материальной реальности, например географической, или применительно к институтам, обрядам, политическим курсам, социальным практикам (праздники, школа и др.), она оказывается всего лишь метафорой, т. е. фигурой стиля. Несомненно, история становится от этого более живой, но остается ли она при этом верной? Сеньобос и методическая школа полностью отвергали метафоры, которые, по их мнению, “ослепляют, но не освещают”. Отказ от истории в качестве литературного жанра означал также отказ от использования литературных приемов. Ценой этого шага было то, что историческое повествование неизбежно становилось менее выразительным, скучным.

Те историки, которые выступали против этого — как во имя объективной социальной науки, так и во имя жизни (вспомним приведенные выше тексты Февра), — решили эту проблему, придав жизненности общественным единицам благодаря использованию метафор. Февр, Блок, Лабрусс, Бродель и правда были великими писателями. Однако здесь мы уже затрагиваем другой аспект истории: она ведь состоит не только из фактов, вопросов, документов, темпоральностей, концептуализации, понимания, поиска причин и исследования структур; она также сочиняется как некая интрига и пишется с помощью фраз, составленных из слов. Любая история имеет литературное, или лингвистическое, скажем также — риторическое и языковое — измерение, которое мы и рассмотрим ниже.

Построение интриги и нарративность

Признание нами того, что история целиком подчинена естественному рассуждению, имеет определенные последствия.

С одной стороны, это оправдывает наш отказ от какой-либо избирательности. Мы с самого начала решили считать историей всю интеллектуальную продукцию, которая исторически известна под таким названием; не испытывая большой любви к манифестам и еще того меньше — к обвинительным речам, мы избрали для себя не нормативный, а аналитический угол зрения. Теперь эта позиция обоснована логически. В самом деле, существует один критический метод для нахождения в источниках ответов на поставленные вопросы, но им пользуются все. А вот что должен представлять собой единый ис-

торический метод, соблюдение которого гарантировало бы “хорошую” историю, нам установить не удалось.

С другой стороны, это означает новый виток анализа. Если история относится к области естественного рассуждения, то она в этом не одинока: социология и антропология обращаются к тем же самым идеально-типическим понятиям и точно так же ищут причины и соответствия. Более того, журналисты или завсегдатаи кафе “Коммерс” тоже практикуют именно этот тип рассуждения. Чем же тогда отличается история? Ибо отличие существует, так как книгу по истории можно узнать сразу.

И утверждение и вопрос можно сформулировать иначе: ясно, что в основе серьезных книг по истории, глубокомысленных произведений, сообщающих нам нечто новое и интересное и полностью удовлетворяющих наши запросы, если, конечно, нас интересует их тема, могут лежать самые разные методы. Есть ли что-либо более непохожее одно на другое, чем, например, последние книги Жан-Батиста Дюроселя “Упадок” и “Бездна” и “Материальная цивилизация, экономика и капитализм в XV–XVIII вв.” Ф. Броделя, если взять более или менее современные работы!¹ С одной стороны, дипломатическая история за короткий временной отрезок, с другой – история структур на протяжении добрых трех столетий. И тем не менее эти работы выдерживают самую строгую критику. Если судить о дереве по его плодам, то мы вынуждены объявить эти столь различные произведения столь же безупречно и всецело историческими. И, между прочим, читатель, который с ходу признает их таковыми, нисколько не ошибется. Отсюда вопрос: что же в них такого, что позволяет так безапелляционно отнести их к историческим?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется сменить ракурс. Теперь мы уже не будем шаг за шагом следовать за историком в его дознании, чтобы понять, как он конструирует свои факты и интерпретации. Это аналитическое занятие было по-своему интересным, но оно уже предоставило нам все, чего мы могли от него ожидать. К тому же мы находимся в мире истории, где факты неотделимы от соответствующих контекстов, и как раз поэтому оно не позволяет нам понять самого главного в действиях историка.

От целого к части

История на самом деле не является восхождением от части к целому. Она не строится путем соединения отдельных элементов, называемых фактами, в целях их последующего объяснения, подобно тому как каменщик строит из кирпичей стену. Она не нанизывает объяснения на нитку, как жемчуг. Ни факты, ни объяснения никогда не даны историку изолированно, отдельно, как некие атомы. Историческая материя никогда не предстает перед ним в виде вереницы отдельных маленьких камешков; она похожа скорее на тесто, на некую разнородную и изначально смутную материя. Неудивительно, что логикам не удастся найти логическое сочленение в истории причин и следствий в строгом смысле: они пытаются выяснить существование каузальных отношений между вещами, которые не существуют или, по крайней мере, не существуют как индивидуализируемые атомы.

Рассматриваемый Вебером вопрос о роли Бисмарка в развязывании войны 1866 г. никогда не вставал перед историками в такой форме. Он всегда оказывался включенным в некоторые дискурсивные системы: лекции, книги, посвященные, например, “объединению Германии”, “международным отношениям” или же “политической жизни Европы в XIX в.”. И если рассуждения Вебера или Арона по поводу этого примера, несомненно, заслуживают внимания, то именно потому, что в них, помимо двух сравниваемых “фактов”, представлена также разветвленная сеть альтернативных гипотез, ирреальных вариантов развития, которые конструирует историк, чтобы показать весомость *данной* причины *среди* прочих. Тем не менее этот пример, как и вообще любой пример, является искусственным.

Здесь вновь может пригодиться ремесленная метафора. В отличие от промышленного производства, где все детали – стандартные, ремесленник никогда не может представить себе одну деталь независимо от будущего ансамбля¹. За своим вер-

¹ Duroselle J.-B. La Décadence: 1932–1939. Paris: Impr. nationale, 1979; L'Abîme: 1939–1945. Paris: Impr. nationale, 1982; Braudel F. Civilisation matérielle, Économie et Capitalisme XV^e – XVIII^e siècle. 3 vol. Paris: Armand Colin, 1979.

¹ Что демонстрирует пределы коллективного творчества в истории.

стаком историк напоминает краснодеревщика; он никогда не станет соединять вместе две любые деревянные детали: он строит мебель и поэтому выбирает для выдвижных ящиков соединение на пазах, для дна — на штырях и т. д.: целое определяет части. Итак, чтобы понять действия историка, мы будем отныне двигаться от целого к части, т. е. мы будем исходить из уже готовых трудов, рассматривать их как законченные тексты и пытаться понять сначала, как они сочиняются, а затем — как пишутся.

Рассказы, картины, комментарии

Заглянем в раздел истории книжного магазина: разнообразие стоящих на полках книг просто поражает. Чтобы внести некоторую упорядоченность в это разношерстное собрание, мы будем исходить из внешних критериев — таких, как заголовки или оглавления. Они позволяют выделить три типа книг: рассказы (или повести), картины и комментарии.

Рассказы представляют собой обозрения во времени. Их композиция, а иногда и их название в основном вписываются в определенные хронологические рамки. В простейшем случае они начинаются с некоего первого элемента, доходят до второго, более позднего по времени, и объясняют, как мы пришли от первого ко второму. Иными словами, для рассказа необходимо, чтобы было два события или две ситуации, упорядоченные во времени. С той точки зрения, которой мы в данном случае придерживаемся¹, этих формальных черт вполне достаточно, чтобы дать определение рассказу.

Рассказ может охватывать очень разные временные отрезки. Так, подборка “Сто дней, которые создали Францию” ставила себе целью объединить рассказы, повествующие об единственном дне, но это могут быть и более длинные периоды: чье-то царствование, целый век, несколько веков, а иногда и несколько тысячелетий — как, например, издаваемые время от времени курсы по истории Франции с глубокой древности до наших дней. Рассказ, как видим, предполагает хронологическое измерение, однако его можно приспособить к любой хронологии.

Кроме того, рассказ может быть посвящен какому угодно историческому объекту. Здесь надо рассеять часто допускаемое

смешение рассказа с событийной, или политической, историей. В этом смысле не совсем правильно говорить о “возврате к рассказу”¹: он никогда не исчезал, и сам Бродель, который с легкостью отождествлял историю-рассказ со столь ненавистной ему событийной историей, придумал даже выражение “речитатив конъюнктуры” для того, чтобы обозначать им те рассказы, о которых он был высокого мнения. Экономическая история, как, впрочем, и история культурных практик и представлений могут требовать обращения к рассказу точно так же, как и политическая история. Например, в своей книге “Желанное побережье” А. Корбен анализирует то, каким образом одно представление о береговой линии пришло на смену другому и каково было значение этого изменения. Эта работа, без всякого сомнения, должна быть отнесена к уровню рассказа². И наоборот, как мы увидим в дальнейшем, некоторые историки, например Ж. Дюби в книге “Битва при Бувине”, избирают форму рассказа вовсе не потому, что они возвращаются к внешним событийным сюжетам.

Наконец, рассказ совсем не обязательно бывает линейным; было бы неправильным ограничивать этот жанр только теми текстами, где полностью соблюдается хронологический порядок. С одной стороны, такое соблюдение, как правило, невозможно, в том числе и в самой что ни на есть традиционно событийной и политической истории. Попробуем, например, представить себе рассказ о 13 мая 1958 г.³ Если мы хотим ясности, мы не будем без конца перемещаться из Парижа в Алжир и обратно, а постараемся, придерживаясь в целом определенных хронологических рамок, изложить последовательно параллельные события в Алжире и в Париже, так как, если их свалить в одну кучу, они станут непонятными. С другой стороны, в рассказе используются многообразные литературные приемы, делающие его более живым, а иногда и более значимым.

Рассказ хорошо подходит для объяснения причины изменений (“Почему то-то произошло?”). В нем как бы естественно заложен поиск причин и намерений. Но рассказ не является единственной формой исторического изложения. Есть и другие жанры. Книжки, выдержанные в этих жанрах, представляют собой описания, располагающиеся в пространстве и времени. Я условно называю их картинами.

Картина — это способ исторического изложения, при котором выявляются взаимосвязи, *Zusammenhang*. Она отвечает на

¹ Этим анализом мы во многом обязаны Ф. Каррарду: Carrard P. Poetics of the New History. В следующей главе мы увидим, что можно сказать о классическом противопоставлении рассказа и дискурса.

¹ См.: Stone L. Retour au récit.

² См.: Corbin A. Le Territoire du vide: L'Occident et le désir du rivage: 1750–1840. Paris: Aubier, 1988.

³ Военно-фашистский мятеж в Алжире. — Примеч. пер.

вопрос: “Каково было положение вещей?” Картина, разумеется, располагается во времени, иногда в очень долгом времени: неподвижная история позволяет создавать многовековые картины. В центре картины находятся не изменения, а характерные особенности ее объекта и то, что обеспечивает его внутреннее единство; она связывает воедино множество относящихся к одному времени фактов и таким образом конструирует некую совокупность, ансамбль, в котором вещи “пригнаны друг к другу”, не давая ему распадаться.

Как и рассказ, картина не обязательно ассоциируется с каким-либо одним типом исторического объекта. Конечно, она особенно подходит для презентации того или иного общества, той или иной конкретной общественной группы в определенный момент времени — как в “Феодальном обществе” М. Блока¹. Но иногда потребность в картинах возникает и у культурной истории. “Рабле” Л. Февра² — не рассказ, не биография, прослеживающая жизнь своего героя от рождения до смерти; это картина ментального инструментария XVI в.

Картины можно также посвящать событиям, и даже таким самым что ни на есть событийным событиям, как битвы. Все зависит от того, какой вопрос считать главным. В “Битве при Бувине”³ Ж. Дюби посвящает рассказу о битве лишь первую часть. Во второй же части, самой длинной, битва берется в качестве исходного пункта для постановки таких вопросов, которые не поддаются рассмотрению средствами рассказа, а именно: чем были война, битва, мир в начале XIII в.? Таким образом, битва как бы “денарративизируется”⁴. Картина здесь преобладает над рассказом.

Комментарии встречаются реже. Они рассматривают свой сюжет под углом зрения интерпретаций, предложенных историками или современниками событий. Это — эссе о других текстах, взятых в их контекстах. Примерами комментариев могут служить книга Ф. Фюре “Постижение Французской революции” или телевизионная программа М. Ферро “Параллельная история”, задача которой — показ войны на базе кинохроники воюющих сторон. Так как этот исторический жанр пока еще не очень распространен, мы не будем на нем задерживаться.

¹ См.: Bloch M. La Société féodale. Paris: Albin Michel. T. 1: La Formation des liens de dépendance. 1939. T. 2: Les Classes et le Gouvernement des hommes. 1940.

² См.: Febvre L. Le Problème de l'incroyance au XVI^e siècle: la religion de Rabelais. Paris: Albin Michel, 1942.

³ См.: DUBY G. Le Dimanche de Bouvines: 27 juillet 1214. Paris: Gallimard, 1973.

⁴ Этот пример важен, так как именно его приводит Л. Стоун в поддержку своего утверждения о возврате к рассказу. Совершенно прав в своем анализе Ф. Каррард: Carrard P. Poetics of the New History. P. 64–65.

Разумеется, в рассказах встречаются картины, а в картинах — рассказы. В “Битве при Бувине” можно найти рассказ о битве и другие событийные разделы. Точно так же в “Феодальном обществе” есть несколько рассказов, в которых объясняется возникновение важнейших элементов структуры: приемов метания копья или обряда приведения к присяге. И наоборот, рассказы включают в себя описательные и структурные секвенции. Иногда даже эволюция тех или иных структур или конфигураций описывается раньше, чем будут описаны они сами. Иначе говоря, причинное объяснение рассказа нередко предполагает обращение к закономерностям, обнаруживаемым на уровне структур, в то время как описание структур может прибегать к персонализации, превращающей их в действующие лица рассказа другого типа. Таким образом, эти категории — рассказ и картина — различаются между собой, но вовсе не исключают друг друга.

Это позволяет понять существование более сложных форм. Есть форма, в которой части картины перемежаются с частями рассказа. Так, первая часть диссертации представителя лабруссовской школы обычно посвящена географическим, демографическим и экономическим структурам: это картина. Затем автор переходит к анализу экономической конъюнктуры, потом — политической жизни, и тогда картина уступает место рассказу¹.

Еще одна форма — поэтапный рассказ, состоящий из последовательных сцен². Хороший пример — книга Ф. Арьеса “Смерть на Западе”³, каждая из четырех глав которой посвящена смерти в данную конкретную эпоху. Глава “Прирученная смерть” охватывает долгое время — от Средневековья до XVIII в.; “Смерть самого себя” — вторую половину Средних веков; “Смерть тебя” начинается в XVIII в. и уступает место “Запрещенной смерти”. Речь, конечно же, идет о рассказе, поскольку мы переходим от одной ситуации к другой. К тому же план построения — хронологический. Но это — рассказ без событий, в очень медленном темпе. В каждой из рассматриваемых конфигураций анализируются внутренние связи, и можно было бы сказать, что Арьес предлагает нашему вниманию четыре последовательные картины. Однако черты, характерные

¹ Однако возможно и обратное. Если взять мою собственную диссертацию, то первая ее часть, озаглавленная “История”, — это рассказ, а две последующие, озаглавленные соответственно “Социология” и “Ментальности и идеология”, — это картины. Prost A. Les Anciens Combattants et la Société française: 1914–1939. 3 vol. Paris: Presses de la FNSP, 1977.

² “Сценических нарративов”, как говорит Ф. Каррард.

³ Ariès P. Essais sur l'histoire de la mort en Occident du Moyen Age à nos jours. Paris: Éd. du Seuil, 1975.

для каждой данной эпохи, являются значимыми лишь относительно предшествующих и последующих конфигураций, так что описание направляется и структурируется глобальным анализом изменения отношения к смерти вплоть до наших дней. Картины здесь организуются рассказом.

История как вычленение интриги

Будь то рассказ, картина или смешанная форма, книга по истории — это обособленный текст, элемент, произвольно вычлененный в безграничном целом бесконечного континуума истории. Любой исторический труд можно определить как некое обособление. История, как мы говорили выше, исходит из вопроса. Недостаточно показать социальную, научную и личностную укорененность вопросов и понять, что для того, чтобы вопрос стал историческим, ему обязательно должно сопутствовать хотя бы приблизительное представление о тех документах, которые позволят на него ответить, и о тех действиях, которые следует предпринять, чтобы суметь это сделать. Надо еще провести различие между теми вопросами, которые ведут к конструированию фактов, и теми, которые вводят в повествование некую интригу.

Ведь далеко не одно и то же — выяснять, имел ли место саботаж на заводах во время Странной войны, или спрашивать, почему распалась Франция в 1940 г. Первый вопрос — сугубо операциональный: я знаю, в каком архиве я найду ответ¹, и проблема, таким образом, здесь чисто фактологическая. Второй же — гораздо более претенциозный и не является операциональным как таковой. Прежде чем его рассматривать, его нужно подвергнуть сложной обработке, позволяющей выделить в нем вопросы первого типа, т. е. определить последовательные этапы анализа, и неизбежно возникающие подчиненные вопросы (вполне уместен здесь был бы и вопрос о саботаже), а также определить период (до какой даты в прошлом мы собираемся дойти?) и территорию (что будем делать с колониями?). Вся эта работа по конструированию исторического объекта, находящаяся в центре споров, которые ведут в начале исследования научный руководитель с диссертантом, является, несомненно, определяющей. Труд по истории создается прежде всего путем вычленения его объекта.

¹ Он — отрицательный. См.: *Crémieux-Brilhac J.-L.* Les Français de l'an quarante. 2 vol. Paris: Gallimard, 1990.

Действительно, объектом истории может быть все: материальные предметы, общественные группы, институты, символы, техники, сельскохозяйственное или промышленное производство, формы обмена, территории, виды искусства и т. д. И я перечисляю все это не просто для красного словца: даже самый обыкновенный каталог книжного магазина или доска объявлений с графиком предстоящих защит — все это перечни, от которых сюрреализмом веет сильнее, чем от стихов Превера. Пожалуйста: вот питание, вот болезни, экономический рост, контрацепция, проституция, праздники, семья во всех своих ипостасях; вот фольклор, общительность, обучение грамоте, дехристианизация — естественно, каждый раз с уточнением места и времени. А вот здешнее крестьянство и тамошняя буржуазия, имущественные состояния и города, рабочие и стачки, колокола и рыбная ловля. Вот, наконец, наука и техника, книги, газеты и журналы, тысячи разных форм искусства. Могу поклясться чем угодно, что нет такого сюжета, который не мог бы стать объектом истории.

Тем не менее историк не может заниматься историей всего сразу: он должен выбирать. Его выбор является отчасти произвольным, ибо все происходит в континууме истории, где нет ни абсолютного начала, ни абсолютного конца. Но выбор этот неизбежен, ведь иначе история просто растворяется.

Именно это обособление и эта организация исторического текста вокруг того или иного вопроса, который его структурирует, и описываются, в первом приближении, понятием интриги, которое мы заимствовали у П. Вейна и Х. Уайта, хотя у них это понятие имеет несколько иной смысл. Оставим на минутку вопрос о его применимости к картинам и воспользуемся им для того, чтобы показать, как общее видение будущей книги выступает и принципом конструирования, и принципом объяснения истории.

Историческая интрига

Интрига как конфигурация

Для историка определить интригу значит прежде всего очертить контуры своей темы. Он никогда не находит последнюю в готовом виде: ему приходится ее конструировать, формировать с помощью некоего первоначального и основополагающего акта, который можно обозначить как построение интриги (*emplotment* — в американской литературе).

Создание интриги начинается с вычленения объекта, с определения его начала и конца. Выбор хронологических границ — это не отмежевание возделываемого поля, а определение тех изменений, которые мы намерены объяснять, и, следовательно, того вопроса, на который собираемся отвечать. От вычленения интриги зависит смысл истории. Рассказ о войне 1914 г., который начинается в 1871 г. и кончается в 1933 г., не может считаться историей той же самой войны, что и рассказ, начинающийся 1914-м г. и заканчивающийся мирными договорами 1919 г. Точно так же при изучении истории браков во Франции с начала века до 1960-х гг. мы должны ставить вопрос о переходе от брака по выбору родственников (но было ли так всегда и везде? и как вообще это делалось?) к браку по любви. А если бы мы дошли в изучении этого вопроса до 1990-х гг., то тогда наша история стала бы историей кризиса этого института. Иными словами, хронологическое вычленение является также выбором в пользу той или иной интерпретации. Когда Ф. Фюре решает поместить историю Французской революции в рамки целого века, и даже с лишним, с 1770-го по 1880 г.¹, то уже тем самым он предлагает другое видение этого события.

Создание интриги касается также персонажей и сцен. Интрига и есть выбор актеров и эпизодов. В любой истории имплицитно заключены список персонажей и перемена декора-

ций. Если говорить все о той же войне 1914 г., то очевидно, что интрига не может быть одинаковой, если мы рассматриваем тыл, женщин, стариков, детей или же если мы ограничиваемся одними солдатами. Точно так же генеральская интрига не тождественна солдатской. И история будет иметь несколько разный смысл в зависимости от того, что мы решим обследовать: госпитали и кладбища или же только траншеи и министерства.

Построение интриги позволяет также судить о том уровне, на котором располагается историк: он может видеть свою интригу с более или менее близкого расстояния. Ему приходится выбирать, так сказать, фокусное расстояние и разрешающую способность своих линз. Действительно, любая история всегда может быть рассказана с большим или меньшим количеством деталей. Ее всегда можно пересказать по-другому; к ней всегда можно добавить какие-то уточнения, подобно тому как можно расширить или сократить сцену в спектакле и ввести дополнительных актеров. В этом смысле «нарративный дискурс [...] по сути своей неполон, поскольку любое повествовательное предложение допускает возможность пересмотра его последующим историком»¹. Или, если воспользоваться географической метафорой П. Вейна, мало сказать, что историк никогда не составляет полной карты всего событийного среза, довольствуясь картой своих собственных маршрутов, к этому нужно добавить также, что он выбирает и ее масштаб.

Конструирование интриги есть основополагающий акт, с помощью которого историк вычленяет особый объект в бесконечной событийной канве истории. Но в этом выборе заключено гораздо большее: он участвует в создании фактов как таковых.

Изолированный факт не существует. Именно в процессе изучения он изолируется и одновременно конструируется в качестве отдельного факта, рассматриваемого под особым углом зрения. Событие — не место, где можно побывать; оно представляет собой пересечение нескольких вероятных маршрутов, и поэтому к нему можно подходить с разных сторон, придавая ему всякий раз разное значение. Один и тот же факт, участвуя в создании разных интриг, имеет разную ценность, значимость и значение. П. Вейн берет в качестве примера войну 1914 г. Если я беру военную историю войны, то оборона Вердена, без сомнения, является для меня важнейшим событием. Но она оказывается включенной в серию других сражений, куда входят также Марна, Шампань в 1915 г., Сомма, Шенен де Дам,

¹ См.: Furet F. La Révolution: de Turgot à Jules Ferry (1770–1880). Paris: Hachette, 1988.

¹ См. А. Данто (A. Danto) в изложении П. Рикёра: *Ricoeur P. Temps et Récit*. [Т.] 1. Р. 254. (См. также: Рикёр П. Время и рассказ. С. 167. — Примеч. пер.)

и вместе с ними свидетельствует о бесперспективности некоей стратегии. В этой истории грипп “испанка” является побочной сюжетной линией. Напротив, в демографической истории войны “испанка” была бы важнейшим фактом; тогда встал бы вопрос о том, как именно она была связана с войной, а битва при Вердене фигурировала бы уже только в плане ее потерь, в целом меньших, чем потери при Шарлеруа и на Марне. В социально-политической истории войны Верден, наоборот, вышел бы на первый план: символическое значение, сразу же закрепившееся за этим городом, державшим на правом берегу Мёзы оборону, к которой военных вынудили политики; место этого сражения в общественном мнении; мясорубка, через которую одна за другой прошли все французские армии, а это значит, что ни одно другое сражение не было пережито столькими фронтовиками, — все это придает данному событию поистине решающее значение. Отбор фактов, их конструирование, та сторона, с которой они рассматриваются, а также значение, которое им придается, суть переменные, зависящие от избранной интриги. Событие, как говорит П. Рикёр, есть переменная величина интриги.

Разворот интриги, таким образом, определяет конфигурацию исторического произведения и даже его внутреннюю организацию. Отобранные элементы включаются в общий сценарий через серию тщательно разработанных эпизодов и мизансцен. Проще всего расставить эти элементы по хронологии, но в таком хронологическом расположении нет ничего необходимо заданного. Его можно усложнить за счет обращения к *flash-back*¹, можно сыграть на множественности времен и провести обследование различных областей, которые объединены этой хронологией, создать широкую панораму, последовательно представляющую различных актеров и различные сцены. Та или иная история войны 1914 г. прекрасно может, к примеру, сначала рассмотреть по очереди армию и тыл, выяснить соотношение наличных сил, стратегических концепций, морального состояния фронтовиков, а затем обратиться к экономике военного времени, снабжению, солдатским семьям, наконец, к культуре военного времени. В какой-то момент этой истории придется связать вместе все эти элементы, показать совпадения или конфликты между ними и соотнести их с перипетиями внутренней политики, дипломатии и исходом сражений. Однако это лишь один из возможных сценариев, один из вариантов интриги в числе прочих.

¹ Обратный кадр (англ.). — Примеч. пер.

Интрига и нарративное объяснение

В определении исторического произведения как интриги объяснение вытекает уже из самой конфигурации. При этом следует проводить различие между рассказом и картиной.

Ясно, что в рассказе история является интригой в литературном смысле этого слова: как в романах, театральных пьесах и фильмах. Давайте в этой связи обратимся к П. Вейну, который в порыве критики количественного сциентизма утверждает, что всякая история есть событийный рассказ.

Поль Вейн: История есть рассказ о реальных событиях

История есть рассказ о событиях: из этого вытекает все остальное. Поскольку она изначально — рассказ, то не заставляет переживать все заново, так же, как и роман. Пережитое, в том виде, в каком оно выходит из-под пера историка, — это не то, что переживалось самими участниками; это повествование, что позволяет устранить некоторые недоразумения. Как и роман, история перебирает, упрощает, организует, умещает один век на одну страницу, и этот синтез рассказа является не менее спонтанным, чем синтез нашей памяти, когда мы вспоминаем последние из прожитых нами лет. [...]

Событие выделяется на фоне однообразия; это нечто иное, нечто, чего мы не могли знать *a priori*: история — служанка памяти. Люди рождаются, едят и умирают, но лишь одна история может поведать нам об их войнах и их империях; они жестоки и живут сегодняшним днем, они не слишком добры, но и не так уж злы, но лишь история скажет нам, что было для них важнее в данную эпоху — бесконечно заботиться об увеличении своих доходов или, сколотив состояние, уйти на покой, — и как они воспринимали и классифицировали цвета. [...] История является анекдотической, она увлекает ходом повествования, как роман. Только она имеет одно существенное отличие от романа. Предположим, что мне рассказывают о каком-то мятеже, и мне известно, что речь идет об истории и что этот мятеж действительно имел место. В моем представлении он будет тем, что произошло в определенный момент времени в жизни определенного народа; я сделаю из этой древней нации, которая еще минуту назад была мне неизвестна, главного героя, и она станет для меня центром рассказа или, точнее, его необходимой опорой. Так же поступает и любой читатель романа. Только здесь роман настоящий, что избавляет его от необходимости быть увлекательным: история мятежа может себе позволить быть скучной, при этом не теряя своей ценности.

Comment on écrit l'histoire, p. 14–15, 22.

История рассказывает и именно по ходу своего рассказа — объясняет. Вспомним пример с дорожным происшествием и свидетелем, который встречает дежурного полицейского и говорит ему: “Сейчас я вам объясню...”. Что делаем мы в повседневной жизни, когда хотим “объяснить”? Мы рассказываем. Говорить о рассказе, что он объясняющий, — это плеоназм. Можно отделить рассказ от документального аппарата, на котором он основывается, от доказательств, которые в нем приводятся, но нельзя изолировать его от той объяснительной связи, которую он устанавливает между событиями и которая как раз и делает его рассказом в отличие от простого списка фактов, даже если последний составлен в хронологическом порядке. Рассказать значит объяснить. “Объяснение того, почему нечто произошло, и описание того, что произошло, совпадают. Рассказ, который не может объяснить, — меньше, чем рассказ; рассказ, который объясняет, — это просто рассказ”¹. Надо сказать, что этому меня учили мои учителя. Так, Г.-П. Пальмад, подготовивший к агрегации несколько поколений выпускников Эколь Нормаль, не допускал, чтобы они отделяли изложение фактов от их объяснения; в истории, говорил он, объяснение должно рождаться из самого изложения фактов.

Если объяснение неразрывно связано с рассказом, то это происходит потому, что оно заключено в самих фактах. Они являются вместе со своим объяснением. Об этом очень хорошо сказал П. Вейн: факты обладают объективным сцеплением. “Факты имеют естественную организацию, которую историк, выбрав для себя тему, находит уже готовой и которая является неизменной: усилия историка как раз и направлены на обнаружение этой организации”².

Такое объяснение посредством рассказа, по сути, не выходит за рамки здравого смысла, как об этом шутливо говорит П. Вейн:

...Король выступил в поход и был побежден — что ж, такое действительно иногда случается. Продолжим наше объяснение: итак, из любви к славе, что совершенно естественно, король выступил в поход и был побежден по причине численного превосходства противника, ибо понятно, что малочисленные батальоны, за редким исключением, отступают перед крупными. История никогда не выходит за рамки этого очень простого уровня объяснения; по большому счету, она всегда остается рассказом, и то, что называют объяснением, — не более чем

способ, с помощью которого рассказ выстраивается в понятную читателю интригу¹.

Мы вновь сталкиваемся здесь с вышеупомянутой преемственностью экспликативных схем, применяемых в повседневной жизни, и тех, которыми пользуется история, т. е. с естественным рассуждением. Преемственность рассказа о действиях, совершающихся на наших глазах, и рассказа истории очевидна. Например с лингвистической точки зрения и тот и другой характеризуются широким употреблением проективных глаголов и глаголов действия.

Тем не менее повествование отличается от рассказа, современного действию, тремя чертами. Прежде всего, нарратор не является непосредственно ни участником, ни зрителем действия; он приходит много позже и уже знает развязку. Он не описывает действие, как радиокomentатор спортивную встречу; он о нем повествует, поскольку отделен от него временным отрезком, который сам вписывается в канву его изложения. Возьмем, к примеру, повествовательное предложение: «В 1713 г. родился автор “Племянника Рамо”»². В этом высказывании можно выделить три временные позиции. Прежде всего, имеется дата: 1713 г., но пока еще никому не известно, что родившийся только что ребенок однажды напишет книгу. Говоря: “автор такой-то книги”, рассказчик обнаруживает тем самым знание последующей истории и помечает вторую временную позицию. Но для того чтобы знать, что “Племянник Рамо” — это важная книга, заслуживающая упоминания даты рождения ее автора, необходимо явиться намного позже времени ее публикации: третья временная позиция. Темпоральность повествовательного высказывания четко отграничивает его от непосредственного описания действия.

Вторая черта: в повествовании уже заключено предварительное знание развития интриги и ее развязки; оно не выясняет их постепенно, шаг за шагом. В силу этого особое внимание в нем уделяется расхождению между первоначальными планами и конечным результатом (объяснение причинами и намерениями) или между наблюдаемой ситуацией и той, которую можно было ожидать, исходя из известных закономерностей (силы и границы структур): то, что случается, может быть, а может и не быть тем, что предсказывалось или было предсказуемым. Для П. Вейна история является познанием “характерного”, т. е. не того, что бывает лишь однажды, не события или индивида в их уникальности, а того, что делает их

¹ Ricoeur P. [Temps et Récit.] P. 264. (Рикёр П. Время и рассказ. С. 172.)

² Veyne P. Comment on écrit l'histoire. P. 45.

¹ Veyne P. Comment on écrit l'histoire. P. 111.

² Этот пример см.: Danto A. Analytical Philosophy of History. P. 18.

умопостижимыми и наделяет смыслом и интересом для историка. Хлебные кризисы Старого порядка показательны уже в силу самой их повторяемости. Другие, возможно, будут говорить об истории как о познании различий. Но прав П. Вейн, отмечая, что, пожалуй, лучше всего позиция историка проявляется в словах: “Это интересно”.

Из этого вытекает третья черта: повествовательное описание строится как аргументация. Поскольку в отличие от непосредственного участника рассказчик знает все перипетии сюжета и его развязку, поскольку он уделяет большое внимание тому, что социологи называют “побочными эффектами”, т. е. последствиям, которых участники событий не желали и даже не предвидели — в истории полно таких примеров, — он ведет свой рассказ избирательно, как гид, показывающий туристам город. Некоторые места проходит быстро, втискивая на одну страницу целый век или целый год (все зависит от выбранного масштаба) по той причине, что здесь не происходит ничего интересного: все развивается так, как можно было предвидеть... А то, наоборот, начинает вдаваться в подробности, если событие вызывает недоумение и требует объяснений или же если кто-нибудь из его предшественников дал этому эпизоду такую трактовку, которая кажется ему неприемлемой. Повествование содержит в себе как эллипсисы, так и, напротив, стоп-кадры и крупные планы.

Таким образом, рассказ составлен из единиц, темп и масштаб которых неодинаковы. Он сочетает в себе фиксирование закономерностей, с одной стороны, и событийные эпизоды, всевозможные элементы доказательства, служащие для аргументации, — с другой. Рассказчик иногда прерывает нить рассказа, чтобы дать необходимые объяснения: он может указать, на какие закономерности опирается, еще раз сослаться на причины и условия, которые только что проанализировал, чтобы расположить их в иерархическом порядке, а также заняться диахронным сравнением и привлечь китайское право для объяснения того или иного аспекта права римского. В качестве аргументации повествование пользуется всеми доступными ему средствами, если только они помогают ему достичь желаемого эффекта.

Здесь следует различать аргумент и его доказательство. Историческое объяснение включает в себя доказательства. Но последние, каковы бы они ни были, не совпадают с аргументами. Это демонстрируют некоторые адвокаты, когда, готовясь к защите, отводят по отдельной папке на каждый аргумент и кладут внутрь этих папок соответствующие элементы, как то: статьи законов, показания свидетелей, проверенные вещественные доказательства, на которые они будут ссылаться в под-

тверждение своего аргумента. Различие это немаловажно: оно означает, что природа доказательства не предопределяет логически природу исторического объяснения. Так, например, количественные методы и статистика представляют собой весьма мощный механизм доказательства, который, однако, не в состоянии изменить природу — историческую — аргументации.

Нарративное объяснение и картины

То, что было сказано выше об интриге, справедливо для рассказа. Но можно ли распространить это и на картину, т. е. можно ли говорить об интриге, коль скоро автор в зависимости от вопроса устанавливает границы некоего исследовательского поля, организует его смысловые центры и объясняет, как изучаемые им вещи “уживаются вместе”?

Для доказательства того, что любая история содержит повествовательное измерение, П. Рикёр приводит в пример “почти” неподвижное “Средиземноморье” Ф. Броделя. В действительности оно отнюдь не находится вне времени, в нем тоже происходят изменения, медленно, но верно. Это пространство пересечено столкновениями и изменениями. Фактически у Броделя представлены три интриги, вписанные в одну большую. Это не просто политическая интрига в третьей части, квазиинтрига конъюнктуры — во второй и статическая картина — в первой. С одной стороны, внутреннее море, которое привычно бороздят корабли, с его портами, куда заходят караваны судов, — это изъезженное вдоль и поперек, разбитое на квадраты, полное людей пространство, пространство живое, где все время что-то “происходит” и которое уже само по себе требует повествования. С другой стороны, три уровня книги составляют в своем наложении друг на друга большую интригу заката Средиземноморья как основного театра мировой истории. Это оно — герой истории. Конец этой интриги есть конец столкновения двух больших империй, разделивших между собой данное пространство, — Османской и Испанской, — и смещение центров экономической и политической тяжести в сторону Атлантики и Северной Европы. Мы ничего не поняли бы в развязке, если бы не увидели тесной связи всех трех частей книги между собой и внутри этой большой интриги.

Тогда вполне обоснован следующий эпистемологический вывод: поскольку конструируемый историком объект находится в динамике, то интрига, в том числе хронологическая, присутствует даже в описании структуры. Любая история повествовательна, потому что она всегда включает некое изменение.

Этот аргумент, однако, оставляет за пределами интриги то, что характеризует картину как таковую: ее синхронную сторону, то, что мы обозначали термином *Zusammenhang*. Рискую ослабить понятие повествовательности и свести его к тем множественным темпоральностям, которые заключены в самих повествовательных высказываниях («В 1713 г. родился автор “Племянника Рамо”»), мы все же можем говорить о повествовательности в объяснении структур: ведь описание внутреннего единства или анализ структуры предполагают некую интригу. В кино, например, не только художественные фильмы, но и документальные строятся вокруг интриги.

В пользу этого мнения можно привести два аргумента. Первый состоит в том, что и диахронное и синхронное объяснения принадлежат к одному и тому же пространству естественного рассуждения. Когда мы поясняли, что собой представляет каузальное объяснение, мы приводили пример дорожного происшествия. В качестве примера объяснения конкретной структуры, рассматриваемой в ее контексте, я возьму довольно многочисленную семью, которую “объясняют” приехавшему погостить на несколько дней знакомому. Чтобы объяснить, “кто есть кто”, ему описывают дядюшек, племянников, свояков, структуры родства или брака, а также разнообразные признаки, черты, характеристики каждого: профессию, радости и горести и т. д. Все это имеет целью “сориентировать” гостя в данном семействе.

Описание такого типа строится по тому же принципу, что и описание рассказа. Вопросы, конечно, ставятся другие, но мы имеем дело с тем же самым членением, в данном случае не столько хронологическим, сколько территориальным или секторальным, с тем же выбором персонажей — в широком смысле — и уровней анализа. Когда представляют членов семьи, обычно опускают тех родственников, которых знакомый не увидит или с которыми больше нет отношений — например со всеми рассорившуюся тетушку. Но не исключено, что расскажут и о них — для того чтобы подчеркнуть связи, поддерживаемые с родственниками по боковой линии. Точно так же мы были бы шокированы документальным фильмом по географии, в котором отснятый материал показывался бы в алфавитном порядке: здесь требуется более толковая руководящая нить, позволяющая выявить смысл, расположить избранные эпизоды по их значению и правильно произвести их монтаж. Короче говоря, нужна интрига.

Второй аргумент заключается в продолжении анализа, начатого П. Рикёром, и обнаружении повествовательного измерения, имеющегося в любой картине, именно потому, что она — картина. Как и рассказ, картина всегда вычленяется и структу-

рируется вопросами, и среди этих вопросов всегда фигурирует вопрос об изменении во времени. Это хорошо заметно в обыденной жизни. Когда дедушка “объясняет” внукам, какой была его деревня до войны, он сообщает им обо всем том, что с тех пор изменилось: его картина, таким образом, строится на различии между “вчера” и “сегодня”. Историк, по сути, ничем не отличается от этого деда. Почитайте “Неподвижную деревню”¹: в этой книге речь идет не о некоем месте, которое будет подробно описано, — в ней ставится вопрос о постоянстве социальных, культурных и религиозных структур, делающих эту деревню XVIII в. столь непохожей на сегодняшнюю деревню под тем же названием. Помимо имплицитной ссылки на настоящее историк может выбрать и другие пункты сравнения, связанные, например, с историческими датами. Так, картина Франции кануна Революции 1789–1793 гг. всецело определяется именно революцией, даже если о ней прямо не говорится, потому что эта картина так или иначе занята поиском ответа на двойной вопрос: о причинах революции и о тех изменениях, которые она должна была вызвать. Но без какого бы то ни было диахронного сравнения синхронный анализ невозможен: иначе исчезает специфика реальности, то, что делает ее интересной для изучения. Не может быть исторической картины без темпоральности: самой минимальной интригой картины является переход от прошлого к настоящему.

¹ Bouchard G. Le Village immobile: Sennely en Sologne au XVIII^e siècle. Paris: Plon, 1971.

Интрига как синтез

Дискурсивный синтез

Итак, мы пришли к тому, что противоположность события и структуры перешла в новое качество. Событие и структура уже не ассоциируются с двумя разными порядками явлений — политическим, с одной стороны, и социально-экономическим — с другой, каждый из которых определял бы собою способ изложения. Дело обстоит как раз наоборот: событием является все, что случается, все, что изменяется, на каком бы то ни было уровне реальности. Событие конструируется рассказом в ответ на вопрос “Что произошло?”. Структура же конструируется картиной в ответ на вопрос “Каково было состояние дел?”. Из этого следует, что одни и те же фактические данные могут быть реконструированы историком и как событие, и как элемент структуры — в зависимости от избранного типа интриги: мы это видели на примере битвы при Бувине.

Преобладает ли поиск диахронных последовательностей или синхронных взаимосвязей, или же рассказ и картина переплетаются — в любом случае история принимает форму, т. е. определяется, моделируется и структурируется, под действием интриги, которая неизбежно содержит в себе временное измерение. В конечном счете рассказ обгоняет картину, или, если хотите, событие (в смысле того, что изменяется и из чего делают рассказ) — структуру. Иначе говоря, структура, в том виде, в каком ее способны уловить историки, всегда бывает очень непрочной, временной. Событие как бы подрывает ее изнутри. Оно находится в самом центре структуры, как дрожжи в тесте или червь в яблоке — оставляю за каждым выбор своей собственной метафоры, смотря по тому, оптимист он или пессимист.

Мы считаем это ответом на один из вопросов, поставленных в начале этой главы: вопрос о различии между историей и такими дисциплинами, как социология или антропология, так же, как и она, практикующими естественное рассуждение. Часто говорят, что для истории характерна постановка диа-

хронных вопросов, выяснение того, откуда происходят реалии, которые она изучает. Это верно, но этого мало. Было бы неправильно ассоциировать историю с рассказом, а социологию — с картиной. Историк тоже должен конструировать картины, но не такие, как социолог, ибо для него невозможно мыслить структуру, какой бы прочной она ни была, не задумываясь над тем, что приведет к ее изменению, к ее преобразованию в более или менее отдаленной перспективе. Уже сама устойчивость структуры вызывает вопросы: она кажется подзрительной истории, который выясняет, какие силы, какие акторы, иногда даже бессознательно, уже задействованы внутри этой структуры ввиду ее грядущего изменения. В истории событие всегда на чеку или даже уже в действии.

Отсюда второй вывод. Интрига как конфигурация позволяет понять, как в законченном историческом произведении соединяются различные уровни объяснения. До сих пор мы пользовались несколькими понятиями: объяснение по ходу повествования, объяснение через причины и намерения, объяснение через закономерности и взаимосвязи, аргументация, конфигурация. Но как они сочетаются друг с другом?

Ответ располагается на двух уровнях. Во-первых, он находится в самой структуре текста, написанного историком. Рассказать и значит объяснить, а хорошо рассказать — тем более. Это нарративное объяснение очень часто включает в себя объяснение через причины и намерения. Историк не прерывает своего рассказа или своей картины для того, чтобы сказать о причинах, условиях, намерениях, закономерностях, соотношениях; он вставляет их в сам рассказ. Если он пишет о кануне войны, то описывает силы воюющих сторон, что избавляет его в дальнейшем от необходимости открыто ставить вопрос о том, был ли побежденный слабее. Гибкость рассказа как раз и позволяет ему в подходящий момент обнаружить действие невидимых сил, побудительные мотивы, причины. Внутреннее сцепление текста выражает реальные наслоения причин, условий, мотивов и закономерностей.

То же самое можно сказать и об аргументации. Она инкорпорируется в рассказ или картину. Обычно она определяет их план, и потому не так уж неправильно судить о книгах по истории по их плану. Аргументация — это не объяснение, а аналитическое развитие, пункт за пунктом, тех доводов, которыми обосновывается объяснение.

Однако текст историка не может полностью сохранить эту своего рода текучесть, очевидность, эту видимость естественности, которая становится возможной благодаря интегрированию объяснения и его аргументации в рассказ или описание. Текст все время наталкивается на разные неожиданности: уди-

вительные события (всевозможные), новые интерпретации, противоречащие тем, что выдвигались прежде другими историками, какое-нибудь трудное для понимания объяснение. Тогда текст вынужден прервать свое течение для дискуссии, чтобы затем возобновить его. Таким образом, историю нельзя считать нарративной во всех ее проявлениях. В ней есть секвенции, таковыми не являющиеся.

Интрига как конфигурация обеспечивает связность и непротиворечивость всего этого ансамбля. Она в состоянии это сделать, поскольку все элементы текста так или иначе относятся к естественному рассуждению, какие бы доказательства ни приводились в поддержку аргументов. Интрига также обеспечивает то, что П. Рикёр называет «синтезом разнородного». Она «охватывает», пишет он, в умопостижимом итоге обстоятельства, цели, взаимодействия, непредвиденные результаты. Тем не менее интрига остается одной и той же и единственной. Она представляет собой те рамки, внутри которых разнообразным элементам, составляющим ткань текста, отведено определенное место.

Во-вторых, интрига как общая конфигурация текста историка сама доставляет возможность объяснения. В широком смысле она есть нечто гораздо большее, чем канва истории. Х. Уайт называет это «линией», нитью истории¹. Ею определяется тип истории, которую конструирует историк.

Не следует считать, что на один и тот же вопрос, поставленный в совершенно определенных фактологических рамках и построенный внешне аналогичным образом, два историка дадут в точности один и тот же ответ. Каждый из них конструирует свою собственную интригу и создает вполне оригинальную историю. В связи с этим интересно рассмотреть более внимательно, на чем зиждутся интриги. Как историк разрабатывает свою интригу?

Допущения интриги

Если мы рассматриваем законченное историческое произведение, то прекрасно видим, что оно имеет свое лицо, обладает своеобразием, отличающим его от других. Спутать Гизо с Мишле так же невозможно, как Джеймса Хэдли Чейза с Агатой Кристи. И это для истории — так же, как и для детективов — вопрос не только стиля, но и самого замысла, или, точнее, интриги.

¹ Story-line.

Подобная констатация обязывает нас задаться вопросом о допущениях интриги, о том, из чего исходит историк, когда лепит свою интригу. Х. Уайт пытался на основе изучения творчества четырех историков и четырех философов прошлого века¹. Его исследование является слишком формально-систематическим, чтобы выглядеть вполне убедительным, но ход его мысли открывает интересные перспективы для эпистемологии истории.

Чтобы формализовать различия между типами истории, которую пишут историки, Х. Уайт стремится выявить исторические стили. Первый шаг в этом направлении совершается с переходом от хронологии к истории в смысле такого хронологического членения, которое ставит одни события в начало, а другие — в конец. Но настоящая история предполагает объяснение. Для Х. Уайта история фактически сочетает три способа объяснения: посредством интриги, посредством аргументации и посредством идеологической подоплеки. Их сочетанием и определяются исторические стили.

В соответствии с этим на первом уровне Х. Уайт различает четыре способа построения интриги: романтический, сатирический, комический и трагический. История, написанная в романтическом стиле, — это история героя, который в конце концов торжествует и приводит к торжеству добра над злом. Комический тип характерен для историй с хорошим концом; их счастливая развязка содействует примирению человека с человеком, миром и обществом. В трагическом стиле нет ни победы героя, ни всеобщего примирения. Это не значит, что общий тон рассказа должен быть непременно мрачным: трагическое берется здесь в своем литературном смысле, когда развязка истории возвещается еще в начале повествования и когда история ставит себе целью вскрыть природу конфликтующих сил. В этом смысле можно сказать, что Токвиль стал воплощением трагического стиля, тогда как Мишле является собой пример стиля романтического. Сатирический стиль показывает человека — пленника вселенной, а не ее повелителя; читатель чувствует себя обманутым, так как и история и объяснение остаются незавершенными.

На втором уровне Х. Уайт выделяет четыре типа формальной аргументации, или, так сказать, четыре общие объяснительные парадигмы: формистская, органическая, механистическая и контекстуалистская. Формистская аргументация настаивает на уникальности различных акторов и на том, что отличает их друг от друга; она отдает предпочтение цвету, жи-

¹ См.: White H. Metahistory. Ими стали: Ранке, Мишле, Токвиль и Буркхардт, с одной стороны, Герель, Маркс, Ницше и Кроче — с другой.

вости и разнообразию исторического поля. К этому типу аргументации можно отнести Мишле, как и вообще всю романтическую историю. Органическая парадигма является более синтетической и интегрирующей; в ней индивиды соединяются вместе для того, чтобы составить целое; история становится консолидацией или кристаллизацией поначалу разрозненного ансамбля; она, таким образом, устремлена к достижению некоторой цели. Механистическая парадигма более склонна к упрощениям: факты обнаруживают существование механизмов, они подчиняются действию причин и даже законов; эмпирические данные лишь выявляют эти закономерности. Типичным представителем подобного типа аргументации был Маркс, но Х. Уайт обнаруживает ее признаки также у Токвиля. Правда, у последнего механизмы имеют иную природу и обусловлены скорее самой природой институтов. Наконец, контекстуалистская аргументация стремится сопоставить каждый из элементов со всеми остальными и показать их взаимозависимость; она уделяет большое внимание духу времени.

На третьем уровне необходимо учитывать типы идеологической подоплеки, т. е. общее отношение историка к обществу. Х. Уайт обозначает их терминами, которые он, однако, употребляет не в их прямом политическом смысле. Это — анархизм, консерватизм, либерализм и радикализм (в англосаксонском понимании). Либералы мыслят приспособление индивидов к обществу в рамках устойчивой структурной связи, реализующейся через посредство различных общественных институтов; их взоры обращены в будущее, но они откладывают осуществление своей утопии до очень отдаленных времен, чтобы ее не пришлось осуществлять прямо сейчас. Разумеется, Токвиль выступает здесь как фигура либеральная. Консерваторы мыслят эволюцию по аналогии с природным миром; они больше обращены к прошлому и сосредоточены на постепенном усовершенствовании современного общества. Радикалы и анархисты в большей степени склонны допускать катастрофические изменения (или даже желать их), но если первые считают осуществление утопии неминуемым, то вторые усматривают ее в отдаленном прошлом, хотя, по их мнению, она может в любое время осуществиться вновь. В этом смысле Мишле был бы для Х. Уайта анархистом, но не потому, что мечтал о революционном беспорядке, а потому, что ни одно из последующих обществ не в состоянии воплотить в жизнь его идеал.

Исторический стиль, как уже говорилось, проистекает из сочетания типов интриги, аргументации и идеологической подоплеки. Однако не будем слишком углубляться в формализм этих перекрестных четвертичных делений. Анализ можно было

бы усложнить или, наоборот, упростить, ибо различие этих типов носит не логический, а фактологический характер: Х. Уайт лишь оформляет те различия, которые он эмпирически наблюдает в произведениях разных авторов. К тому же он не устанавливает жесткого соответствия между тремя типологиями: какой-либо один тип интриги вовсе не обязательно соотносится с каким-то определенным типом аргументации; сочетания остаются гибкими, а сами типы скорее можно считать тенденциями — они не существуют в чистом виде. Х. Уайт отмечает также, что в среде профессионалов формистский и контекстуалистский способы аргументации слышат обычно более легитимными, чем прочие, ибо в них меньше ощущается влияние философии истории. Тем самым моделирование исторического произведения возвращается в лоно традиции и увязывается с научной и одновременно социальной практикой историков. Но главное не в этом: Уайт показывает, что еще до того, как историк определил свою интригу, он уже выбрал для себя своего рода интерпретационную стратегию, в соответствии с которой и будет ее конструировать.

Хейден Уайт: Префигурация

Прежде чем историк сможет доставить, чтобы затем применить его к данным исторического поля, концептуальный аппарат, который он будет использовать для изображения и объяснения последнего, он должен сначала мысленно представить себе это поле, т. е. сделать из него объект мысленного восприятия. Этот поэтический акт неотличим от лингвистического акта, посредством которого поле подготавливается для интерпретации как область особого типа. Это означает, что до того, как данная область сможет быть интерпретирована, она должна быть сначала сконструирована как территория, населенная некими поддающимися идентификации фигурами. Эти фигуры, в свою очередь, должны быть задуманы таким образом, чтобы их можно было отнести к различным порядкам, классам, родам и видам явлений. [...]

Короче говоря, проблема, стоящая перед историком, заключается в том, чтобы сконструировать лингвистический протокол, включающий лексический, грамматический, синтаксический и семантический уровни, который позволял бы описывать поле и его элементы в *его, историка, собственных терминах* (а не столько в тех терминах, в которых они фигурируют в самих документах) и, таким образом, подготовить их для того объяснения и представления читателю, которые затем он даст в своем рассказе (*narrative*). Этот допонятийный лингвистический протокол, в силу его сугубо опережающей, предваряющей

природы, будет, в свою очередь, основываться на господствующей образной системе, в которой он интерпретируется. [...] Следовательно, чтобы представить себе, “что в действительности произошло” в прошлом, историк должен начать с префигурации в качестве возможного объекта познания всего того набора событий, о которых говорится в документах. Этот акт префигурации поэтичен в той же мере, в какой он является допознавательным и докритическим в структуре самосознания историка. [...] Поэтическим актом, предшествующим формальному анализу поля, историк создает свой объект изучения и одновременно определяет разновидности концептуальных стратегий, которыми он будет пользоваться для его объяснения.

Metahistory, p. 30.

Заслуга этого анализа состоит в демонстрации того факта, что, придавая форму своей интриге, историк исходит из допущений, из предварительного мнения. Еще до того, как вычленив объект и окончательно выбрать способ изложения, он уже предварительно конструирует его посредством выбора (причем этот выбор редко бывает эксплицитным), касающегося одновременно видения мира (идеологическая подоплека), предпочтительности того или иного способа объяснения и типа интриги. В этом смысле можно говорить о *поэтической* деятельности историка в этимологическом смысле этого слова, т. е. деятельности *творческой*. Чтобы историк мог начать писать, он должен сотворить себе некий универсум, в котором его история становится возможной и постижимой.

В приведенных рассуждениях об истории говорится как о литературном жанре. Чем она, без сомнения, тоже является, однако не исключительно и не всецело.

Когда историю рассматривают под таким углом зрения, ее тем самым сближают с романом, вымыслом. П. Вейн прямо говорит: история — это роман. Но, добавляет он, роман правдивый. В этом-то и вся проблема. Ибо как быть с отношением истории к реальности и к истине, если она есть чистая интрига? Ведь если ограничиваться тем, что было сказано до сих пор, то это неизбежно приводит к ослаблению претензий истории на истинность и достоверность. Поэтому необходимым выводом из проделанного анализа был бы тот, что в истории нет окончательной истины, поскольку нет окончательной истории: “Есть лишь частичные истории”¹. Любая истина соотнесена с интригой.

Тот факт, что аргументация интриги основывается на доказательствах, что история пускает в ход разнообразные средства логического обоснования, недостаточен для преодоления этой трудности: истины все равно остаются частичными. А это означает, что они не могут складываться и накапливаться. Историк, следовательно, пришлось бы отказаться от мечты о более или менее кумулятивном знании, мечты, которую он всегда лелеет, что бы ни говорил, — подобно тому как географы рассчитывают, что карты различных регионов, приведенные к одному масштабу, можно будет склеить и сделать из них общую карту.

В этом и заключается важнейшая эпистемологическая проблема, к которой мы еще вернемся. Но, может быть, мы найдем то, что укореняет историю в реальном и в истинном в самом процессе ее написания?

¹ Veyne P. Comment on écrit l'histoire. P. 41.

История пишется

То, что отличает исторический текст от публицистического, не имеет отношения к интриге. Тем не менее, чтобы выяснить, в чем заключается различие между ними, достаточно просто открыть книгу. Дело в том, что научная история обнаруживает себя гораздо более очевидными признаками, и в частности наличием справочного аппарата и постраничных сносок.

Сноски — неперемный атрибут истории: они представляют собой вполне осязаемый признак аргументации. Ведь доказательство приемлемо лишь постольку, поскольку оно поддается проверке. Истина в истории, говорили мы, — это то, что доказано. Но то, что доказано, — это то, что может быть проверено. Исторический текст предстает закованным в сноски потому, что он не ссылается на авторитеты. Историк не просит,

чтобы ему оказывали безусловное доверие: ему достаточно уже одного согласия следовать за ним по ходу выстроенной им интриги.

“Отметины историчности”¹ выполняют в историческом тексте специфическую функцию: они отсылают читателя за пределы текста, к представленным в нем документам, которые и позволили реконструировать прошлое. Они, эти отметины, являются своего рода программой контроля.

Кшиштоф Помян: Историческое повествование

Повествование, следовательно, имеет вид исторического, когда оно несет на себе отметины историчности, удостоверяющие намерение автора дать читателю возможность покинуть его текст и предусматривающие операции, позволяющие проверить сделанные ссылки либо воспроизвести те познавательные акты, итогом которых рассчитывают стать его утверждения. Короче говоря, повествование имеет вид исторического, когда оно открыто демонстрирует свое намерение предстать для проверки своего соответствия прошлой экстратекстуальной реальности, о которой в нем говорится. Но для того, чтобы повествование было историческим, надо, чтобы заявленное намерение не было пустым; это значит, что те контрольные операции, которые оно предусматривает, должны действительно быть осуществимыми для компетентного читателя, если только невозможность их осуществить не возникла вследствие событий, произошедших уже после того, как было составлено это повествование (например уничтожение архивов, пропажа, кража или иные происшествия такого рода).

Histoire et fiction, p. 121.

Вот почему так трудно принести сноски в жертву, хотя к этому вынуждают многие публикующие историческую литературу издательства, для того чтобы не обескураживать своих покупателей. Но разве книга по истории, выходящая по случаю Нового года, богато иллюстрированная, но не снабженная критическим аппаратом, имеет что-либо общее с историей? Чтобы можно было ответить утвердительно, надо допустить, что все необходимые сноски все же где-то существуют, например — в рукописи автора или в его черновиках. Нужно, чтобы критический аппарат, по крайней мере, сохранял, так сказать, виртуальное существование. При чтении его присутствие ощущается тогда, когда историк дает точные примеры в под-

¹ Pomian K. Histoire et fiction.

тверждение того, что он говорит, или когда он берет под сомнение цитируемый источник.

Тем не менее критический аппарат — не такая уж яркая отличительная черта исторического текста, как это могло бы показаться с первого взгляда. Его присутствие или отсутствие, а также его полнота больше зависят от адресата этого произведения, чем от его автора. Данные характеристики не столько подчеркивают различие между любителями и профессионалами, сколько соответствуют двум покупательским рынкам. Однако обстоятельное изучение вопроса без особого труда позволяет выявить между историческим и другими текстами более тонкие и одновременно более глубокие различия¹.

¹ Первая часть этой главы во многом основывается на критических рассуждениях Мишеля де Серто: Certeau M. de. L'Écriture de l'histoire.

Особенности исторического текста

Насыщенный текст

Текст историка предстает прежде всего как цельный текст. Это — следствие самого его построения, придания ему формы интриги. Он обладает внутренней связностью, структурой, которая сама по себе уже является аргументацией и указывает на то, какие именно положения будут развиваться. План книги по истории является одновременно канвой повествования и канвой аргументации: это главное, и в каком-то смысле можно сказать, что сам текст служит лишь тому, чтобы доставить необходимые доказательства и облечь плотью имеющийся скелет. Именно поэтому у студентов вырабатывают привычку начинать чтение книги с ее оглавления.

Указанная черта не свойственна самой истории. Но зато текст историка предстает перед нами напичканным фактами, уточнениями: в нем учитывается буквально все. Это цельный, насыщенный текст, в котором нет дыр, нет пробелов. Не то что их вообще не существует: они неизбежны, но они либо незаметны, так как касаются незначительных деталей, либо историк их маскирует, либо, наконец, он берет на себя ответственность за них. Есть два способа это сделать: показать, что данные пробелы не имеют большого значения для его темы, или отметить, что они подлежат восполнению будущими исследованиями, выразив сожаление по поводу невозможности сделать это за недостатком времени и источников. Примеры такой самокритики весьма многочисленны: они являются распространенным общим местом в нашей специальности и встречаются в изобилии, в частности в заключительном слове на защите диссертаций, а также в конце предисловий к книгам...

Замкнутость исторического изложения на самом себе, закрытость цельного текста противостоят открытости исследования, где ссылки свидетельствуют о наличии и неизбежности недостатков и о бдительном отношении к ним автора, причем внутри законченного текста. Исследователь идет от пробела к пробелу, он всегда неудовлетворен и с каждым шагом все

больше осознает свое невежество. Он не может закрыть дело, не открыв при этом сразу несколько других. Отсюда, кстати, проистекают те трудности, которые связаны с переходом от исследования к написанию, и неудовлетворенность историка законченной книгой. Ведь ему-то, как никому другому, известны все те мосты, которые он перекинул над зияющими пропастями незнания, в то время как в его тексте они в лучшем случае лишь намечены, ибо что сказал бы читатель, если бы на каждой странице он встречал признание в невежестве?

Замкнутость исторического текста носит также хронологический характер: книга начинается с одной даты и с неумолимостью идет к другой, каковы бы ни были отклонения от заданного направления, предпринимаемые историком для того, чтобы сделать интригу интереснее. Исследование было более извилистым, двигаясь во времени во всех направлениях. Обосновав хронологию своей темы (если, конечно, он это сделал, хотя ему следовало бы всегда это делать), историк пишет так, как если бы завязка и развязка разумелись сами собой. В исследовании же конец и начало представляются весьма проблематичными, и исследователь знает, что возможны были также и другие точки отсчета, которые по каким-то причинам он отменил.

Наконец, с открытостью исследования контрастирует замкнутость текста на избранной интриге. Ведь приходится ограничиться рассмотрением одной темы: историк знает, что он вынужден пойти на вычленение, и ищет доводы для обоснования правомерности такого членения. Но в ходе исследования он видел и все те смежные темы, которые примыкали к избранной им и которые он также мог бы, а иногда и желал бы рассмотреть.

Это означает, что между, собственно говоря, историческим исследованием и работой, ставшей его результатом, существуют большие различия, хотя последнее и несет на себе отпечаток первого. Перейти от исследования истории к ее написанию — все равно что перейти Рубикон... Делать это необходимо, ибо зачем нужны исследования, если нет книг? Но не следует представлять себе преемственность исследования и письменного изложения абсолютно линейной.

Объективированный и авторитетный текст

Вторая достойная упоминания особенность исторического текста состоит в том, что он берет в скобки личность историка. «Я» упраздняется. Самое большее, оно иногда появляется в предисловии, когда автор — хотя бы даже и Сеньобос — раз-

ясняет свои намерения¹. Но как только доходят до сути дела, “я” исчезает. Высказывания, которые историк представляет в качестве фактов (А есть В), исходят от него самого (Н говорит, что А есть В), но он держится в тени и появляется лишь изредка — либо в каких-то определенных местах (начало или конец главы, сноски и споры с другими историками), либо в смягчающей форме: “мы”, объединяющее автора и читателей или адресуемое ко всей корпорации историков, либо неопределенно-личные и безличные конструкции. Кроме того, историк старается не вмешиваться в свой текст, не занимать чью-то сторону, не возмущаться, не волноваться и не восхищаться. Это те приемы, к которым обычно прибегают авторы, и чтобы считать себя от них свободным, надо, по-видимому, добиться совершенно исключительной институциональной и мультимедийной легитимности². По существу, законченное произведение предлагает читателю одни лишь объективированные высказывания, анонимный дискурс Истории; оно состоит из высказываний без высказывания.

Дело в том, что историческое произведение пишется с точки зрения самой ее величества Истории (здесь напрашивается употребление прописной буквы); оно этого требует или это подразумевает, что видно из целого ряда признаков в самом тексте. Во-первых, частота посвящений другим историкам, помещающая автора новой книги в длинную когорту профессионалов, которая, как и Человечество, по О. Конту, состоит больше из мертвых, чем из живых. Скромность, настоящая или напускная, историка-ремесленника требует, чтобы он был всего лишь подмастерьем, который трудится на огромной стройке Истории.

Второй признак: бесчисленные отсылки к другим историкам. Этим автор новой книги хочет не только обозначить свою принадлежность к профессии; он дает понять, что его текст является частью своего рода коллективного гипертекста, который он призван в некоторых отношениях дополнить, в некоторых — оспорить, а в ряде случаев — обновить. Чаще всего он ограничивается тем, что по-своему воспроизводит этот кол-

лективный дискурс, не добавляя в него, по существу, ничего нового, но при этом непременно ссылаясь на его авторитетность. Текст историка — нечто большее, чем *просто текст*: это элемент превосходящего и поглощающего его целого. Новая книга разделяет накопленный престиж и влияние дисциплины в целом.

Таким образом, до того, как стать книгой Петра или Павла, сочинение историка является книгой Истории. Оно претендует на объективность и действительно ее достигает, по крайней мере, до определенной степени: это высказывающее себя или постепенно разворачивающееся знание, ибо ему требуются пространство и время для того, чтобы развить свою интригу и свою аргументацию. Это уже не точка зрения, неизбежно спорная, Петра или Павла, это — дискурс самой Истории.

Историк не обращается за советом к своему читателю, даже если предположить, что тот — вполне образованный человек; он не спрашивает его мнения, так как, по определению, отрицает за читателем даже самую возможность его сформулировать по причине его относительного невежества. В самом крайнем случае историк берет его в свидетели, чтобы еще вернее увлечь за собой. Он не вступает с ним в спор, противопоставляя свое авторское “я” читательскому “вы”: в противном случае это означало бы для текста дать слабину.

Итак, мы видим, какую роль предназначает историк сам себе: он помещает себя с более или менее полным правом на место того самого объективного знания, которое учреждено профессией, и именно оттуда говорит со своим читателем. Претензия на такую компетенцию выставляется к тому же на обороте титула или на обложке вместе с официальными званиями автора, характеризующими его как историка, и с указанием уже опубликованных им книг. Особенно это притязание заметно в популярных изданиях, где возможность недоразумения заставляет специально подчеркивать легитимность авторов: так, журнал *L'Histoire* помещает рядом с каждой статьей заметку об авторе, примечания и краткую библиографию. Чтобы пользоваться авторитетом, дискурс историка должен опираться не только на знание, носителем которого он себя называет, но и на то, как это знание вписывается в общий созидательный труд корпорации ученых. А это в свою очередь, порождает наставническое отношение автора к своим читателям, присутствующее даже в самой структуре текста: кто знает, тот и объясняет, а кто не знает — пусть учится! Другими словами, всякий историк — так или иначе педагог: он всегда более или менее вызывающе относится к своим читателям как к ученикам.

¹ Часто утверждают, что представители методической школы, претендовавшие на формулирование объективного знания, исключали любую ссылку на субъективную позицию историка. Это не совсем так. Даже Сеньобос в предисловии к своему первому большому учебнику, целиком написанном от первого лица, чувствовал необходимость предупредить читателя о своих “личных симпатиях к либеральному, светскому, демократическому и западному строю”: [Seignobos Ch.] Histoire politique de l'Europe contemporaine: Évolution des partis et des formes politiques: 1814–1896. Paris: Armand Colin, 1897.

² Об этом см.: Carrard P. Poetics of the New History. P. 99.

При таком раскладе справочный аппарат играет двойную роль (чтобы не сказать — ведет двойную игру). С одной стороны, он делает возможной проверку того, о чем говорится в тексте; и в этом смысле из-за него текст как бы проигрывает в своей авторитетности. Наличие справочного аппарата означает: “То, что я говорю, изобрел не я; пойдите и посмотрите сами, и вы придете к тем же выводам”. Но, с другой стороны, оно является наглядным свидетельством научности и выставлением напоказ учености автора и в этом смысле может служить доводом в пользу его авторитетности. Некоторые историки обращаются с критическим аппаратом, как с оружием утешения: он служит им для того, чтобы запугать читателя, показать ему масштабы его незнания и внушить тем самым уважение к такому ученому автору. Бывает также, что изобилие ссылок служит для предупреждения критики со стороны коллег: автор выказывает им свое уважение или демонстрирует, что он в курсе всех ведущихся споров. Но когда делаются ненужные ссылки, то это уже свидетельствует о том, что автор не уверен в своей компетентности, что ему нужно укрепить свой недостаточно прочный авторитет, без чего, по его мнению, невозможно представление исторического текста на суд публики.

Мишель де Серто: Поучительный дискурс

[...Дискурс] функционирует как назидательный дискурс, тем более если он скрывает, откуда исходит (стирает “я” автора), если он облекается в форму референциального языка (с вами говорит само “реальное”), если он больше рассказывает, чем рассуждает (рассказ не оспаривают) и если он застает своих читателей там, где они находятся (он говорит на их языке, хотя иначе и лучше, чем они). Семантически насыщенный (в интеллигентности нет дыр), “сжатый” (благодаря “максимальному сокращению взаимных переходов и расстояния между функциональными центрами повествования”, Ф. Амон) и плотный (сеть катафор и анафор обеспечивает беспрестанные ссылки текста на самого себя как на направленную целостность), этот дискурс не оставляет лазеек. Его внутренняя структура строго выдержана. Она порождает определенный тип читателя: это адресат, к которому обращаются, как к знакомому, и поучают его именно за счет того, что он помещен в ситуацию хроники перед лицом некоего знания.

L'Écriture de l'histoire, p. 113.

Многослойный текст

Третья черта исторического текста: он разворачивается на двух различных уровнях, которые тем не менее постоянно смешиваются.

Первый уровень — уровень дискурса историка: его интрига и его аргументация. Это непрерывный, сплошной текст, структурированный и управляемый. В нем говорится о ходе и значении истории, устанавливаются факты, обсуждаются возможные объяснения.

Тем не менее этот дискурс без конца прерывается на более или менее короткое время ссылками и цитатами. Таким образом, в историческом тексте эпизодически появляются фрагменты чужих текстов, иногда взятые из работ других историков, но чаще всего — из документов того времени, хроник и свидетельств. Текст историка включает в себя (*comprend*) в двойном смысле — материальном и интерпретационном — слова другого или даже нескольких других. Но эти слова вырезаются, расчленяются, разбираются и вновь собираются историком, находящим им новое применение в том месте, которое он сам для себя выбрал в соответствии с нуждами собственного дискурса. Он ничтоже сумняшеся присваивает себе дискурс очевидцев и персонажей своей интриги и использует его по своему усмотрению.

Мишель де Серто, за ходом рассуждения которого мы следим, показывает тот двойной эффект, который производит использование цитат. Прежде всего — эффект правды: цитаты служат удостоверению или подтверждению: то, что говорит историк, берется им не из собственного запаса знаний, это уже было сказано до него очевидцами событий. Цитаты служат ему щитом, защищающим от возможных опровержений. Кроме того, они выполняют представительскую функцию: вместе со словами другого в дискурс вводится реальность удаленного времени. Цитата, как говорит М. де Серто, производит эффект реального.

Выступая гарантией правдивости и реальности того, что говорит историк, цитата тем самым служит подтверждением его авторитета и его знания. Историк выбирает только те фрагменты, которые кажутся ему наиболее важными. Он знает больше самих очевидцев, насколько их рассказы соответствовали действительности; он знает лучше них самих, что из сказанного ими важно; причем его мнение не всегда совпадает с тем, что в этой связи думали или что имели в виду они сами. Историк напоминает расиновскую Агриппину: “И буду слышать я, для вас немые, взгляды...” Он расшифровывает подразумеваемое и невысказанное. Короче говоря, он ставит себя

над ними, он их судит. Удостоверяемое цитатой чужое знание — это знание чужой “правды”.

Мишель де Серто: История как чужое знание

Историографическим является дискурс, “включающий в себя” (comprendre) другого — хронику, документальное свидетельство, экспрессию, т. е. такой дискурс, который образует многослойный текст, одна половина которого, непрерывная, опирается на другую, прерывистую, и таким образом присваивает себе полномочие сказать за другого, что тот имел в виду, сам того не подозревая. С помощью “цитат”, примечаний, сносок и всего аппарата постоянных ссылок на первоначальный язык (который Мишле называл “хроникой”) он делает себя чужим знанием, или знанием другого. Он строится по аналогии с судебным заседанием или вызовом в суд, способным “пригласить” референциальный язык, который выступает здесь как реальность, и в то же время судить его с позиций знания. Причем отбор фактов подчиняется ходу судебного разбирательства, которое в рамках историографической сценической постановки выносит о них свое суждение. Поэтому стратификация дискурса не имеет формы “диалога” или “коллажа”. Она сочетает в себе единственное число цитирующего знания со множественным числом цитируемых документов. В этом взаимодействии демонтаж исходного материала (посредством анализа, или деления) всегда имеет условием своей возможности и своим пределом уникальность его последующего текстуального монтажа. Роль цитируемого языка, таким образом, состоит в подкреплении дискурса: являясь референциальным языком, он производит в последнем эффект реального, а своей распыленностью незаметно указывает на его авторитетность. Таким хитроумным способом раздвоенная структура дискурса функционирует как система механизмов, извлекающая из цитирования правдоподобие рассказа и легитимность знания. Она становится источником достоверности.

L'Écriture de l'histoire, p. 111.

Но, как замечает Ж. Рансьер¹, оба взаимопереплетающихся рассказа — рассказ историка и рассказ текстов, которые он цитирует, — указывают на то, что знание противостоит двойному незнанию: “Знание исследователя, открывшего шкаф, противостоит незнанию читателя или ученика; знание ученого, который расставил в шкафу документы, чтобы сказать, что в них выражалось языком их авторов, но без их ведома, противо-

¹ См.: Rancière J. Les Mots de l'histoire. P. 108 sq.

стоит незнанию этих неосведомленных рассказчиков. Разрыв между знанием и этим двойным незнанием и есть то пространство, где происходит игра скрытого и видимого, посредством которой наука обнаруживает свою истинную сущность”.

Уже простое употребление имен собственных свидетельствует о таком двойном знании историка: если роман должен постепенно наполняться содержанием имени персонажей, введенных в повествование в самом начале, то история получает свои персонажи уже готовыми, отягощенными всеми знаниями, которые накопила традиция и историография. Сказать: Филипп II, Робеспьер, Наполеон или, теперь уже, Мартэн Герр — значит отослать читателя к каталогу библиотеки. Но это значит также предложить синтетическое видение этих персонажей, в котором все их существование освещается по-новому, исходя из их исторической роли, и резюмируется по такой схеме, на которую сами они были бы абсолютно неспособны.

И все же цитата, разложенная на части и вновь собранная, остается чужими словами, словами другого. Такой автор, как М. де Серто, вдохновляемый критическим течением, связанным с именем Мишеля Фуко, видел в этом обстоятельстве серьезную угрозу. Дело в том, что эта чуждая, а иногда и странно звучащая речь, каковой является цитата, может вторгнуться в дискурс историка и начать звучать в нем громче или иначе, чем его собственная. Вероятно, это и есть та цена, которую приходится платить за эффект реальности и правдивости, ожидаемый историком от цитирования.

Это есть литературная техника судебного процесса, позволяющая дискурсу в качестве знания занять положение, из которого он может высказать другого. Однако вместе с цитированием другого в этом дискурсе появляется нечто чуждое. Цитата остается двойственной; она может вызвать ощущение странности, искажающей знание переводящее или комментирующее. Цитирование несет в себе угрозу недосказанности. Инаковость, которую себе подчиняет (которой владеет) дискурс, сохраняет в скрытом виде способность оказаться неким фантастическим привидением и даже выйти из повиновения¹.

Но точно так же в тексте другого можно видеть дружбу и соучастие. В той мере, в какой историк уважает свой предмет и не навязывает ему произвольной трактовки, что является вопросом метода, а также личного расположения, слова другого выступают уже не как угроза, но как богатство и правдоподобие.

¹ Certeau M. de. L'Écriture de l'histoire. P. 256.

бие приводимого подтверждения¹. Но правда и то, что этот непрекращающийся контрапункт речи другого и речи историка является выражением, в том числе и письменным, той невозможной диалектики “я” и “другого”, которую пытается постичь история. Это хорошо видно, когда мы переходим с точки зрения читателя, имеющего перед собой законченный текст, на точку зрения автора, собирающегося этот текст писать.

¹ Я неоднократно цитировал “моих” ветеранов. Мне кажется, что в некоторых отношениях (вот оно, самомнение историка!) я лучше них видел, что собой представлял их опыт. Но я видел это вместе с ними и благодаря им, после долгого знакомства с их разнообразными текстами. Поэтому, глядя на эти тексты, я не столько испытываю страх увидеть, как взорвется речь другого, которую я решил бы насильственно включить в какую-нибудь произвольную интерпретацию, сколько предвижу возможность подтверждения и обогащения своей собственной.

Проблемы историописания

Мыслимое и пережитое

Мы только что признали двойной эффект реального и правдивого, который историк ожидает от использования цитат. Этот эффект тем более интересен, что одно с другим трудно примирить. Чаще всего между ними существует напряженность — такая же, как в тексте, пытающемся соединить вместе мыслимое и пережитое.

Текст историка входит в область познания: это знание, которое разворачивается и экспонируется. Он стремится дать отчет в том, что произошло; он объясняет, он аргументирует, он прибегает к помощи в разной степени разработанных концептов, во всяком случае — к помощи понятий. Это относительно абстрактный текст — иначе он утратил бы всякую претензию на определенную научность. С другой стороны, этот текст анализирует: различает, разлагает на части, очищает от шелухи с тем, чтобы лучше видеть общее и особенное, чтобы сказать, в чем и чем объект изучения отличается от других, подобных и все же отличных от него объектов. Абстрагирование не только неизбежно: оно необходимо. История мыслит сама себя, и писать ее — занятие интеллектуальное.

Но в то же время историк стремится сделать так, чтобы читатель представил себе то, о чем он говорит. Для этого он обращается к его воображению, а не только к рассудку. Никто, без сомнения, не настаивал на необходимости делать это больше, чем холодный, суровый Сеньобос. Его навязчивой идеей были люди, использующие такие абстрактные слова, как *народ*, *нация*, *государство*, *обычай*, *общественный класс* и т. д., не вкладывая в них никакого смысла. А ведь в истории, говорил он, содержится риск гораздо больший, чем в географии, где учащиеся знают, о чем говорят: “Они знают, что такое река, гора, утес. В истории же, наоборот, говоря о парламенте, конституции, представительном строе, большинство из них совершенно не знают, что все это значит”¹. Он приписывал

¹ *Seignobos Ch. L'enseignement de l'histoire comme instrument d'éducation politique. P. 117.*

эту разницу “психологическому или социальному” характеру политических фактов. Насчет географии он ошибался, ибо она тоже оперирует абстрактными понятиями, которые могут превратиться в ничего не значащие слова. В качестве предостережения я храню воспоминание об одном кандидате в бакалавры, который рассказывал о химической промышленности во Франции и на вопрос: “А что производит химическая промышленность?” простодушно ответил мне: “Железо...”. Но насчет истории Сеньобос был совершенно прав: оперирование бессодержательными словами очень рискованно.

Поэтому так важно “подключать воображение, для того чтобы представить себе вещи, которые в противном случае рискуют остаться просто словами, ибо их невозможно представить себе непосредственно”:

Исходный пункт — это *образы*, прежде, чем предпринимать какое-либо другое действие, учащийся должен *представить себе* людей и вещи — их внешний вид, физическую наружность, черты лица, походку, костюмы отдельных персонажей или целых народов, форму жилища или памятников. Он должен вообразить также и внутренние феномены — чувства, верования, идеи (насколько позволяет это его опыт). Сначала, следовательно, его нужно снабдить представлениями¹.

К этой педагогической необходимости добавляется логическое основание. Понятия истории — это эмпирические понятия, обобщения, сжатые описания. Их нельзя полностью отделить от обозначаемых ими контекстов. Учащийся или читатель не могут, следовательно, надлежащим образом обращаться с ними без знания их конкретного содержания: понять их значит быть в состоянии описать те ситуации, которые в них обобщены. Отсюда необходимость добавить к интеллектуальному посланию, заключенному в историческом тексте, как можно более красноречивое воскрешение реальности, которую читатель должен себе представить. Как говорит Ж. Рансьер, нужно “придавать словам плоти”².

Написание истории, таким образом, обращено одновременно и к мыслимому и к пережитому. Вот почему вопрос о том, как пишется история, — эпистемологического, а не литературного порядка. “Вопрос о словах, которыми пользуется история, — это не вопрос стиля историков; он затрагивает саму историческую реальность”; вопрос стиля касается в первую оче-

редь не самого историка, а его объекта. “Вопрос написания [истории] — это также вопрос о том, что в конце концов значит говорить о некоем существе, делающем историю”, и к тому же о существе говорящем¹. Стремясь заставить читателя заново уловить, понять, представить себе силой воображения пережитое в прошлом, писание заставляет пережить его заново. Вот почему после Мишле историографическая литература постоянно возвращается к теме истории как “воскрешения” прошлого.

Это воскрешение, разумеется, невозможно: историю читают, но не переживают; она есть мысль, представление, а не эмоция в своей непосредственной данности и внезапности. И все же нужно “придавать словам плоти”. Этому могут содействовать многие средства, например те, которые могут дать воображению читателя точку опоры — использование с виду бесполезных мелких деталей, интерес к местному колориту. Обращение к прошлому как к ставшему вновь настоящим обнаруживается и в употреблении глагольных времен. Начиная с Бенвениста историки проводят различие между дискурсом, который объясняет, и рассказом, который рассказывает; в первом, по идее, используется настоящее и будущее время, во втором — прошедшее, как в цитирувавшемся выше тексте Гизо (с. 223–224). Но это противопоставление восходит к уже отжившей свое традиции. Ж. Рансьер показывает, что особенность исторического рассказа — у Мишле, а также у Февра, Блока или Броделя — именно в том и состоит, чтобы писать его в настоящем времени, нивелируя тем самым различие между рассказом и объяснением. Это рассказ, имеющий форму дискурса.

Жак Рансьер: Рассказ в системе дискурса

На деле научная революция в истории проявляется в революции системы времен рассказа. [...] Известно, как он (Бенвенист) в ставшем классическим тексте противопоставил друг другу систему дискурса и систему рассказа по двум основным критериям: употребление времен и употребление лиц. Неся на себе отпечаток личной вовлеченности говорящего, стремящегося убедить того, с кем он говорит, дискурс свободно пользуется всеми личными формами глагола в отличие от рассказа, чье излюбленное лицо, третье, воспринимается фактически как отсутствие лица. Он использует также, за исключением аориста, все глагольные времена, но главным образом — настоящее,

¹ Seignobos Ch. L'Histoire dans l'enseignement secondaire. P. 15–18.

² Rancière J. Histoire et récit // L'Histoire entre épistémologie et demande sociale. P. 186 (по поводу манеры письма, свойственной “Анналам”).

¹ Здесь я присоединяюсь к Ж. Рансьеру, правда, в силу других соображений и немного в другом смысле. Rancière J. [Histoire et récit.] P. 184, 199.

перфект и будущее, относящиеся к моменту речи. Историческое же высказывание, наоборот, упорядочено вокруг аориста и прошедших времен и исключает настоящее, перфект и будущее. Временная дистанция и нейтрализация лица придают рассказу непреднамеренную объективность, которой противостоит утвердительное присутствие дискурса, сила его самозасвидетельствования. Научная история в соответствии с этим противопоставлением может быть определена как такая комбинация, где повествование оказывается обрамленным дискурсом, который его комментирует и объясняет.

Вся работа новой истории как раз и состоит в том, чтобы расстроить механизм этого противопоставления, чтобы строить рассказ в системе дискурса. Даже в “событийной” части “Средиземноморья” времена дискурса (настоящее и будущее) нередко соперничают с временами рассказа. В других местах они даже добиваются превосходства, придавая “объективности” рассказа силу уверенности, которой ему не хватало, чтобы стать “больше, чем историей”. О внезапном событии, как и о долговременном факте, говорится в настоящем времени, отношение предшествующего действия к последующему выражается будущим временем второго.

Les Mots de l'histoire, p. 32–33.

Хорошим примером использования этих приемов, анализируемым Ж. Рансьером, является смерть Филиппа II в конце “Средиземноморья”. Бродель как бы берет читателя за руку: “Войдем в кабинет Филиппа II и сядем в его кресло...”¹. Привлечение таких деталей, как почерк короля, как употребление настоящего времени, в конечном счете направлено на то, чтобы помочь читателю вообразить себе эту сцену.

Можно привести и другие примеры: для этого достаточно открыть первую попавшуюся книгу по истории на какой угодно странице. Все дело в том, что история — это еще и литературный жанр.

Верно выразить словами

Все авторы, писавшие об истории, неизменно посвящали несколько страниц обоснованию необходимости писать хорошо. Например, Марру: “Для того чтобы успешно выполнить свою задачу, чтобы действительно исполнять свои обязанности, ис-

¹ *Rancière J. [Histoire et récit.] P. 25 sq.*

торику необходимо также быть хорошим писателем”¹. Но удивительнее всего, когда этот совет выходит из-под пера Ланглуа и Сеньобоса, все наставления которых были направлены против слишком “литературной” концепции истории. Сам Сеньобос никогда не упускает случая особо отметить в предисловиях к своим книгам ту работу над текстом, которую он проделал для того, чтобы текст был простым и ясным. Впрочем, глава под названием “Изложение” в его “Введении в исторические исследования” этим предписанием заканчивается: “Историк должен всегда хорошо писать и никогда не давать себе послаблений (с. 257)”. Если эти историки-аскеты что-то и отвергают, так это метафору — сравнение, которое для большей понятности обращается к примерам из другой области и рискует затемнить смысл. Но тем не менее они прекрасно сознают, что история пишется и что хорошей история может быть, только если она к тому же хорошо написана.

Литературный дар и вкус к писательству более или менее заметно присутствуют у всех историков: как у Февра и Блока, так и у Ренувена и Броделя, чтобы не касаться ныне живущих. Хорошая книга по истории — это всегда наслаждение языком и стилем.

Это относится даже к произведениям количественной истории, таким, как работы Лабрусса. Ведь отказ от события, обращение к кривым и графикам не означает превращения истории в алгебру. В отличие от экономики история описывается не уравнениями и математическими символами, а словами, современным литературным языком. А раз так, историк не может уйти от литературы.

Жак Рансьер: Знать, какую литературу ты пишешь

...Подозрение, висящее над так называемой современной историей, слишком легко подтолкнуло ее к тому, чтобы цепляться за оружие и знаки отличия научности, вместо того чтобы пытаться очертить свойственный ее эпохе облик историчности. Противопоставление серьезной науки литературе совершенно естественно представляется как превращение этого отступления в доблесть. То, от чего отрешиваются с помощью заверений в упразднении “литературы”, состоит просто-напросто в следующем: отказываясь быть сведенной исключительно к языку цифр и графиков, история сочла возможным связать судьбу своих доказательств с судьбой тех приемов, с помощью которых обыденный язык порождает и распространяет смысл, т. е. доказывать с помощью обыденного языка, что документы и

¹ *Marrou H.-I. De la connaissance historique. P. 283.*

кривые составляют некий смысл и что такой-то смысл всегда будет предполагать выбор имеющихся в языке возможностей и их сцеплений. Не бывает соединения слов в целях логического доказательства, которое не осуществляло бы такой выбор, т. е. не занималось бы в этом смысле "литературой". Проблема, таким образом, не в том, должен ли историк заниматься литературой, а в том, какой именно. [...]

Les Mots de l'histoire, p. 203.

Действительно, историк должен представлять и делать понятным прошлое: для достижения цели у него нет ничего, кроме слов. А обращаться со словами не так просто, как многие полагают. Проблема в том, чтобы найти верное слово. Но что такое верное слово? Лингвисты имеют обыкновение различать денотацию и коннотацию. Денотация — это то, что обозначает слово. Коннотация — это аура смысла, которая с ним связана, обертоны, которые в нем слышатся. Например, фронтовик (букв. волосатый, *roïlu*. — Примеч. пер.) — это солдат войны 1914 г. Но этот термин дополнительно обозначает окопы, невозможность по многу дней вымыться и побриться, блох и грязь. Слово коммунист во времена Народного фронта в правых кругах во Франции содержало устрашающие коннотации: оно было заряжено всеми ужасами, с готовностью приписываемыми испанским революционерам, которые, однако, были скорее анархистами, взрывавшими кармелитов, чем коммунистами: это термин, красный от огня и крови. Его современные коннотации другие: в памяти возникают образы народных демократий, ГУЛАГ, ну а впоследствии экономический крах. Верное слово должно верно звучать, и не только в своем первоначальном значении, но и в своих коннотациях.

Прежде всего оно должно звучать одинаково и для читателя и для автора. Но слова несут в себе целую культуру. Это, кстати, то, что делает таким трудным перевод. А всякое чтение — это немножко перевод, ибо культура читателя редко совпадает с культурой автора. Отсюда и трудности преподавания и популяризации знаний. Писать историю для публики, состоящей из историков, относительно просто, ибо можно предположить наличие у читателя той же культуры: по крайней мере, так принято считать, и от этого писательские усилия становятся менее тяжелыми. С другой стороны, это приводит порой к бесцветным и скучным текстам, какие можно встретить в некоторых диссертациях, где слишком мало писательства. Но когда обращаешься к студентам или к широкой публике, необходима серьезная работа с целью избежать употребления коннотаций или аллюзий, рискующих быть непонятыми.

С этой точки зрения историописание не является частным случаем писания вообще. Литература, журналистика, политика сталкиваются с теми же проблемами. Один премьер-министр употребил однажды в интервью термин *stock* (запас, наличность, поголовье. — Пер.), заимствованный из словаря экономистов, для обозначения им штатных преподавателей — в отличие от *flux* (поток. — Пер.), тех, кого должны были взять на работу. Никто, перечитывая текст, не понял той неуклюжей попытки провести различие, которую представляло собой использование в данном контексте этого термина, привносящего в высказывание уничижительные коннотации, связанные с его использованием в коммерческой документации и его английским происхождением (обычно он употребляется в применении к скоту, к акциям и т. д.). В результате многие преподаватели почувствовали себя оскорбленными.

Однако писание истории имеет, кроме того, и свои специфические трудности, порожденные той дистанцией, которая отделяет прошлое от настоящего.

Верно выразить неверными словами

История постоянно играет на преемственности смысла слов. Если я говорю о рабочем начала XX в. или о средневековом крестьянине, современный читатель меня понимает, потому что в нашей стране все еще остаются рабочие и крестьяне (хотя, возможно, уже ненадолго). Кажется, что эти термины сохраняли на протяжении веков неизменный смысл. Историк называет прошлое словами, имеющимися в настоящем.

Но эта простота обманчива. Смысл слов в течение времени постоянно дрейфует. Обычно отклонение смысла бывает более сильным для отдаленных периодов, но зато для относительно близких по времени периодов оно оказывается более коварным, ибо оно менее явно. Есть подозрение, что средневековый "крестьянин" имеет очень мало общего с современным сельскохозяйственным производителем. А по поводу рабочего начала века можно даже не сомневаться, что под этим термином скрывается совершенно другой персонаж, нежели его ближайший и тем не менее уже отдаленный преемник. Когда мы говорим "рабочий", мы видим перед собой металлурга в синей рабочей блузе — и напрасно, так как этот образ уже устарел. Рабочий начала века носит кепку, блузу, часто фланелевый пояс¹;

¹ Внимательный читатель, вероятно, заметил, как замечая это я, перечитывая самого себя, что я спонтанно употребляю здесь настоящее время...

он чаще работает на стройке, в шахте или на текстильном станке, чем на предприятиях черной или цветной металлургии; он живет в перенаселенных квартирах, не имеющих удобств, по сравнению с которыми всеми ругаемое современное жилье для малоимущих кажется настоящими хоромами; он купается в народной культуре, слабым и искаженным подобием которой могут служить песни Брюана; он страдает от ныне исчезнувшей сезонной безработицы; он не имеет материального обеспечения на случай болезни и, чтобы выжить, должен работать на старости лет. Его мир не имеет ничего общего с тем, что могло бы вызвать в воображении читателя употребление этого термина в отсутствие тех комментариев, которые я только что набросал. Добавлю, что сегодня термин *рабочий* означает “неквалифицированный рабочий”, тогда как в начале века он обозначал скорее квалифицированного рабочего в отличие от *поденщика* или *подмастерья*.

Мы видим, какая дилемма стоит перед историком. Либо он употребляет сегодняшние слова, и его легко понимают, но это понимание неизбежно будет искаженным, а это уже анахронизм, т. е. “самый тяжкий грех” историка (Л. Февр). Либо он употребляет вчерашние слова, говоря о вилланах и ленниках, дружинниках и сублимах, и рискует быть непонятым, ибо эти слова являются для наших современников пустым звуком. Кто знает, кем был сублим во времена Дени Пуло?¹

Естественным решением в данном случае будет то, которое я только что применил: какие бы слова ни употреблял историк, сегодняшние или вчерашние, ему никуда не деться от необходимости дать комментарий. Расхождение между прошлым и настоящим смыслом используемых терминов и понятий должно быть восполнено либо описанием того конкретного смысла, который этот термин имел в прошлом, либо объяснением его отличия от современного смысла. Таким образом, рядом, на полях своего рассказа, историк дает пунктиром параллельный текст, *метатекст*, в котором объясняется смысл терминов — то через сноску внизу страницы, то через описание, включенное в сам текст, то с помощью вводного предложения при первом употреблении термина. Но от этого трудности только удваиваются, ибо метатекст, в свою очередь, пишется словами, поднимающими те же самые проблемы, — но ведь мы не можем отводить многие часы и страницы составлению исторического словарика.

Бег времени, таким образом, увеличивает трудности любого дискурса, стремящегося высказать другого: должен ли он высказать другого своими собственными словами или же словами этого другого? Проблема “я и другой”, находившаяся в центре исторического понимания, абсолютно логично встает вновь при переходе к письменному изложению.

Надо ли говорить, что эта проблема не имеет теоретического решения; она логически неразрешима. И все же историк должен решать ее в своей повседневной работе. Он делает это с помощью целого ряда более или менее удачных компромиссов, проходящих непрерывной нитью по всем его сочинениям и лекциям. Есть много весьма трудолюбивых историков, в работах которых, как рубцы, видны следы этих трудностей. Другие же, более искусные, заставили бы нас и вовсе забыть о них, если бы не необходимость, перед тем как перевернуть страницу, прояснить смысл какого-нибудь термина, напоминающая о дистанции, отделяющей нас от другого, и об удаленности прошлого. Литературная культура, писательская практика и художественный вкус способны оказать здесь неоценимую помощь. История не может обойтись без работы литературного свойства, имеющей, конечно, специфические черты особого жанра. Вот почему писание истории всегда будет искусством и трудом. И, возможно также, — удовольствием.

¹ См.: Poulot D. Le Sublime ou le Travailleur comme il est en 1870 et ce qu'il peut être. Paris: Libr. internationale, 1870; Réédition: Paris: François Maspero, 1980 (par Alain Cottureau).

Заключение

Истина и социальная функция истории

У того, кто решит писать об истории, есть две выигрышные позиции.

Первая — позиция новатора. Если говорить, что историю надо писать так, как ее всегда писали, то это никому не будет интересно, даже если это и правда. А вот заявление что ее надо писать по-другому и что об этом-то вы и хлопчете, может стать событием и может заставить о себе говорить, даже если здесь явное преувеличение. Я говорю вполне искренне, хотя являюсь новатором не меньше других¹. Но, как вы видели, я

¹ Я, без сомнения, был первым историком, использовавшим в 1967 г. факторный анализ соответствий, и одним из тех редких историков, которые импортировали в историю немного “жесткие” лингвистические методы. См.: [Prost A.] Vocabulaire et typologie des familles politiques // Cahiers de lexicologie. 1969/1. № 14. P. 115–126; [Prost A.] La Chambre des députés (1881–1885): analyse factorielle des scrutins // Revue Française de science politique. 1971, févr., P. 5–50; [Prost A., Girard L., Gossez R.] Vocabulaire des proclamations électorales de 1881, 1885 et 1889. Paris: PUF-Publications de la Sorbonne, 1974.

стою на других позициях: мой основной тезис — все истории хороши при условии, что они хорошо сделаны. Можно ведь и в до-мажоре написать еще много хорошей музыки.

Вторая престижная позиция — позиция демистификатора. Занять ее означает признавать за собой опыт, ум и трезвость взгляда, в то время как ваши оппоненты заранее отбрасываются в разряд наивных и отсталых. Общественное мнение легче следует за пресыщенным критиком, чем за простым человеком с твердыми убеждениями. Гиперкритический скептик высмеивает иллюзии, которым предаются менее умные или менее информированные авторы, — уж он-то не попадет на удочку, он не из тех простаков, которые верят еще в какую-то правду истории. Он с блеском доказывает, что она никакая не наука, а всего лишь более или менее интересный дискурс.

Позиция демистификатора во многом обязана тем идеям, которые развивались двумя интеллектуальными течениями последней трети XX в. Вдохновителем первого был Мишель Фуко, а дух 1968 г. еще более содействовал его усилению. Это течение во всем усматривает действие механизмов власти, и в соответствии с этим дискурс историков видится ему как заявка на господствующее положение, как своего рода акт насилия, посредством которого историки могли бы навязать читателям свое видение мира.

Это течение усилилось благодаря американскому *linguistic turn*, предоставившему существенные аргументы в его поддержку. Применяя к историческим сочинениям методы литературной критики, обновленной данными психоанализа, лингвистики и семиотики, представители этого направления заключали в скобки собственно исторический метод работы над источниками и конструирования объяснений и рассматривали тексты лишь сами по себе. При этом исчезала связь текста с той реальностью, о которой он [текст] намеревался рассказать, а вместе с ней — граница между историей и вымыслом. Что из того, что историк, как он утверждает, видел архивные документы? Он заявляет, что знает о существовании некой внешней по отношению к тексту и независимой от него реальности? Да все это — риторические приемы для завоевания доверия читателя; не нужно им доверять: разве не понятно, что историку важно заставить нас в это поверить? Короче говоря, с помощью перестановки, в результате которой критика источников заменяется критикой категорий и приемов письменного изложения, а вопрос: о чем говорится? — вопросом: кем говорится? — навязывается вывод о том, что в истории нет ничего, кроме текстов, еще раз текстов и всегда только текстов, уже, однако, не соотносимых ни с каким внешним контекстом; история — это вымысел, субъектив-

ные интерпретации, которые без конца пересматриваются и переписываются; история — это литература. Историки “не конструируют такое знание, которое могли бы использовать другие, они генерируют дискурс о прошлом”¹. Всякая история сводится к тому, что говорится автором.

¹ Х. Уайт, цитируемый Джойсом Эпплби: Appleby J. et al. Telling the Truth. P. 245. Этот анализ во многом основывается на цитируемых ниже статьях Р. Шартье, П. Бутри и К. Помяна.

История и истина

Последствия разочарования

Демистификаторская эпистемология предлагает историкам навсегда распрощаться и с тотальной историей, и с правдивой историей, что не может не сказаться как на самих историках, так и на читательской публике.

Так, траур по тотальной истории влечет за собой отказ от крупных обобщающих трудов. Издательские проекты, которые приходят им на смену, такие, как разнообразные истории — сельской Франции, городской Франции, частной жизни, вышедшие в издательстве *Seuil*, как большая «История Франции» в нескольких тематических томах, вышедшая в том же издательстве; как «История женщин», выпущенная издательством *Plon*, и многие другие, начиная с семи монументальных томов «Мест памяти» под редакцией П. Нора в издательстве *Gallimard*, — являются коллективными трудами, в которых собраны вместе подчас весьма разноречивые разделы, написанные разными авторами. Отважность Броделя с его трехтомником «Материальная цивилизация, экономика и капитализм в XV–XVIII вв.», смелость Марка Блока, представившего на нескольких сотнях страниц «Характерные черты истории сельской Франции» (1931), так же, как и дерзновенность Сеньобоса в его «Простодушной истории французской нации» (1933), — все это принадлежит к безвозвратно ушедшему прошлому.

Дело в том, что историки, хоть и не верят больше в грандиозные общие интерпретации, но продолжают тем не менее заботиться о верификации, сохраняют культ точности и полноты информации. Они отказываются присоединиться к опустошающей критике, сводящей историю к точке зрения автора. Они отвергают абсолютный релятивизм и продолжают верить, что то, что они пишут, — правда. Но верят они уже лишь в истины частичные и временные. Обобщение представляется не только иллюзорным и неосуществимым; заключенная в нем вера в то, что целое должно непременно иметь некий смысл, делает его опасным.

Этим обусловлен поворот в сторону тем, сочетающих исто-

рию представлений и микроисторию. Речь идет о том, чтобы расшифровывать общества «по-другому, проникая в хитросплетения составляющих их отношений и трений особым способом: через событие, малоизвестное или выдающееся, через жизнеописание, через сеть особенных практик — и полагая, что нет такой практики или структуры, которая не являлась бы продуктом противоречивых и сталкивающихся представлений, позволяющих индивидам и группам наделять смыслом мир, в котором они живут»¹.

Избрав такое направление, историки превращаются в ювелиров или в часовщиков. Они производят маленькие драгоценности, чеканные тексты, где сверкают и переливаются их знания и умения, необъятность их эрудиции, их теоретическая культура и методологическая изобретательность, но при этом речь идет либо о совершенно ничтожных, хотя и превосходно разработанных сюжетах, либо о сюжетах, не представляющих серьезного интереса для их современников. Бывает также, что «они игриво упиваются систематическим экспериментированием с бесконечно «пересматриваемыми» гипотезами и интерпретациями»².

Тем из коллег, кто читал их сочинения, остается лишь аплодировать этим упражнениям в виртуозности, а историческая корпорация могла бы в связи с этим стать клубом взаимного самопрославления, где с удовольствием и по достоинству оценивали бы эти маленькие кустарные шедевры. Ну а потом? And then, what? Куда ведет нас история, растрачивающая сокровищницу эрудиции и таланта на рассмотрение ничтожных предметов? Или, точнее, предметов, имеющих смысл и интерес только для историков, работающих в данной области?

Вопрос о социальной функции истории, отказавшейся заниматься нашими сегодняшними проблемами, встает с особой остротой при попытке выяснить, что из этой разочаровавшейся во всем исторической продукции можно было бы использовать в сфере образования. Дело в том, что преподавание истории в школе продолжает основываться на обобщающих трудах, которым уже четверть века: что же это за обновление истории, если оно не касается школы? Кто-то, без сомнения, отклонит этот вопрос: в конце концов, преподавание в школе не является первейшей задачей истории; выбор ее сюжетов подчиняется исключительно беспристрастному исследованию, и извлечение истории от этой паразитирующей на ней социальной функции только развязало бы ей руки.

¹ Chartier R. Le monde comme représentation. P. 1508.

² Boutry P. Assurances et errances de la raison historique // Passés recomposés. P. 67.

Эта точка зрения кажется мне несколько бесплотной, и мне бы не хотелось, чтобы историки подражали церковнослужителям 1960–1970-х гг., которые для того, чтобы сделать из торжественного причастия чисто религиозную церемонию, ополчились против сопровождающих его социальных и фольклорных традиций, таких, как специальные наряды или семейные застолья, и в результате медленно, но верно содействовали обезлюдению своих церквей.

Подобный скепсис рискует обернуться и другими опустошительными последствиями. Если повторять на всех газетных полосах, что в истории нет правды, а есть только субъективные и относительные интерпретации, то в конце концов публика этому поверит. Но тогда станет ли она обращать внимание на то, что говорят историки? Сила и значение истории проистекают из того факта, что она продвигается вперед во имя достижения подтвержденных жизнью истин; она является носителем знания общества о самом себе. То, что историки отвернулись от тем, центральных для той общности, которая их оплачивает, и с головой ушли в то, что интересует лишь их одних, уже само по себе угрожает положению истории в обществе. Если к тому же историки потеряют всякую надежду найти истину, то чем тогда можно будет оправдать обязательное преподавание этой дисциплины в школе?

Но фактически ни один историк не заходит так далеко в своем скептицизме; за модной позой разуверившегося скептика все продолжают оставаться убежденными в обоснованности своих исследований, все верят в истинность того, что пишут. Я уже не говорю об источниковедческой критике и установлении фактов, этом фундаменте всякой истории: ни один историк не допустит заявлений о том, что Герника была уничтожена испанскими республиканцами или что газовые камеры не существовали. Но я также имею в виду интерпретации: чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на споры, развернувшиеся вокруг истории Французской революции. Ясно, что историки не согласны друг с другом; но каждый утверждает, что его интерпретация является единственно верной, и каждый это аргументирует; никто не говорит, что все интерпретации друг друга стоят. Это семиотики полагают, что история представляет собой разновидность художественной литературы и что, как гласит сентенция Барта, которую Х. Уайт выбрал в качестве эпиграфа для одной из своих книг, «факт всегда имеет только лингвистическое существование»¹.

¹ См.: Chartier R. Philosophie et histoire: un dialogue // L'Histoire et le Métier d'historien / F. Bédarida (dir.). P. 149–169.

Следовательно, действительный ~~консенсус~~ исторической корпорации формируется не вокруг гиперкритических и даже нигилистических тезисов. Он устанавливается где-то посередине между сциентистской уверенностью начала века и релятивизмом, заверения в котором считаются сегодня хорошим тоном. История глаголет истину; но ее истины не являются абсолютными. Как понимать это присущее исторической дисциплине противоречие?

Объективность, истина, доказательство

Истины истории являются относительными и частичными по двум фундаментальным и тесно связанным между собой причинам.

С одной стороны, объекты истории всегда берутся в контексте, и то, что говорит о них историк, всегда является относенным к этим контекстам. Закономерности истории могут быть провозглашены лишь с оговоркой «при прочих равных условиях», а вещи никогда не бывают равными, но лишь родственными и сходными. Этот момент был подробно рассмотрен нами как в связи с идеально-типическими понятиями, так и в связи с тем, что вслед за Ж.-К. Пассроном мы назвали естественным рассуждением.

С другой стороны, объекты истории всегда конструируются исходя из некой точки зрения, которая, в свою очередь, также является исторической. Мы видели это, когда рассматривали укорененность — научную, общественную и личностную — вопросов историка, а также построение интриги и историописание. Вот почему история, которая претендует на объективность и стремится к ней, никогда не может ее достичь. Ведь объективность предполагает противоположение познающего субъекта познаваемому объекту, характерное для тех наук, где наблюдатель не вовлечен в свое исследование как личность. Так что, в строгом смысле, объективность в истории, как и в социологии или антропологии, невозможна.

Следовало бы говорить не столько об объективности, сколько об отстраненности и беспристрастности. Здесь было бы уместно сравнение историка с судьей. Судья не может быть совершенно объективным: в приговоре, который он выносит за убийство из ревности, неизбежно присутствуют его личные переживания. Но судебная процедура основана на состязательности сторон: мнения защиты и обвинения одинаково хорошо аргументированы, и репортеры называют беспристрастным того судью, который соблюдает равновесие между обеими сто-

ронами, непредвзято задает вопросы и придерживается фактов. То же должно быть и с историком, который обязан избегать одностороннего подхода.

Беспристрастность (а не столько объективность) историка имеет два источника: моральный и интеллектуальный. Сначала моральный: все авторы, писавшие об истории, от Сеньобоса до Марру, придерживались определенных этических взглядов. Они настаивали на необходимости для историка учитывать позицию всех действующих лиц, доказывать свою интеллектуальную честность, брать в скобки свое собственное мнение, унимать свои страсти, а для этого стараться прояснять и преодолевать свою личную заинтересованность. Несмотря на их морализаторский характер, эти советы небесполезны. Слишком много еще историков, которые под действием страстей совершают фактические ошибки и тем самым себя дискредитируют¹.

Но призыв к честности и строгости — это также призыв интеллектуального порядка. Это прежде всего выбор интеллектуальной, а не моральной или политической позиции. Историк, если он стремится к объективности, должен сопротивляться искушению заставить историю служить чему-либо, кроме нее самой. Ведь он хочет понять, а не преподать урок или прочесть мораль. Когда критикуют претензию истории на то, чтобы быть наукой, часто забывают, что это притязание исторически служило разрыву той связи, которая делала ее наставницей жизни, сборником поучительных примеров. Принято иронизировать над иллюзиями Ранке, полагавшего, что он рассказывает о том, “как реально происходили события”; но если рассматривать его слова в их контексте, они остаются вполне актуальными:

На историю возложили задачу судить прошлое, учить современный мир, чтобы служить будущим временам: наша скромная попытка не вписывается в столь высокие задачи; мы всего лишь стремимся показать, как все было на самом деле².

¹ Возьмем в качестве примера спор, развернувшийся вокруг режима Виши, в ходе которого один историк, Зеев Стернхелл, приводил в поддержку своего тезиса ложные факты. А тезис был следующий: “Команда журнала *Esprit* вплоть до последних дней 1942 г. разделяла идеи Национальной революции” (*Le Monde*, 21 сентября 1994 г.), в то время как этот журнал был запрещен адмиралом Дарланом в августе 1941 г., а его директор арестован в январе 1942 г., как возражает ему М. Винок (там же, 5 октября 1994 г.). Историки, позволяющие себе такую свободу обращения с истиной, подписывают собственный приговор.

² Цит. по: Koselleck R. *Le Futur passé*. P. 47.

Вопрос режима исторической истины выходит, однако, далеко за пределы вопроса о беспристрастности исследователя и о непредвзятости исследования. Это также вопрос метода: истина в истории — это то, что доказано. Какие методы делают возможным выведение доказательства?¹

Из того, что у истории нет специфического метода, не следует, что у нее вообще нет метода. Я называю методом определенную совокупность интеллектуальных операций, такую, когда кто угодно, выполняя эти операции и ставя один и тот же вопрос к одним и тем же источникам, неизбежно пришел бы к одним и тем же выводам. В этом смысле у истории много методов. Их можно разделить на две группы, которые я для краткости назову расследованием и систематизацией и которые основываются на двух типах доказательств — доказательстве фактическом и доказательстве систематическом.

Расследование, в том смысле, в каком говорят о расследовании журналиста или следователя, — это метод, используемый для установления фактов, взаимосвязей, причин и меры ответственности. То, что расследование ведет к выяснению истины, понятно на уровне здравого смысла; в противном случае исполнение правосудия было бы невозможно. В своих поисках истины судья действует, как историк: он выявляет целую гамму фактов — от побудительных мотивов, следов до формального доказательства. Так, отпечатки пальцев, генетический код доставляют порой доказательства, которые можно было бы назвать “научными”. Когда же, например, независимые свидетели, которым можно доверять, подтверждают, что в момент преступления подсудимый играл с ними в бридж в общественном месте, то это доказательство имеет совершенно иную природу — оно основывается на свидетельствах, — но невиновность обвиняемого тем не менее убедительно доказана.

Различие между судьей и историком заключается не в расследовании, а в приговоре. По завершении следствия судья должен вынести окончательное решение, и сомнение, безусловно, играет на руку обвиняемому. У историка же больше свободы: он может повременить с вынесением приговора и хорошенько взвесить все “за” и “против”, ибо на познание не распространяется принуждение, накладываемое действием. Но он никогда не освобождается от предоставления доказательств. В этом смысле любая история должна быть фактической. В английском языке имеется на этот случай слово, которого нет во французском: история должна основываться на *evidences*, извлеченных из данных (*data*). Во французском языке факты

¹ См. об этом мою статью “Histoire, vérités, méthodes: Des structures argumentatives de l'histoire”, продолжающую начатое здесь размышление.

являются одновременно и данными и доказательствами. Установить факты значит извлечь из данных то, что должно служить в качестве *evidence* в аргументации.

Фактическое доказательство не обязательно должно быть прямым, и искать его можно в незначительных с виду деталях. Здесь мы имеем дело с тем, что Карло Гинзбург называет “парадигмой признаков”, ссылаясь, помимо всего прочего, на Шерлока Холмса. Хороший пример в этой связи — установление авторства картины, когда деталь уха или пальцев порой оказывается более надежным признаком, чем подпись. Но историк, как и судья, заполняет свое досье доказательствами, полученными на основе материальных остатков (отпечатков пальцев, следов крови и т. д.), свидетельств, документов, и те выводы, к которым он приходит, обычно рассматриваются как точные. Хорошо проведенное расследование соотносится с режимом истины, который свойствен отнюдь не только истории; он является общепризнанным, и история пользуется им без колебаний.

Необходимость в систематизации возникает всякий раз, когда историк изрекает истины, касающиеся совокупности реалий — индивидов, предметов, обычаев, представлений и т. д. В книгах по истории полно выводов такого типа. В них утверждается, например, что в 1940 г. французы в массе своей были на стороне маршала Петэна, или что ветераны в период между двумя войнами были пацифистами, или что люди XVI в. не могли быть неверующими, или же что больше половины бюджета семей рабочих в годы Июльской монархии расходовалось на хлеб. Но что позволяет так говорить? Где доказательства?

Систематизации имеются не только в истории. Они встречаются в социологии и в антропологии. Но методы, которые позволили бы доказать их пригодность и законную силу, не являются в равной мере строгими.

Наименее строгий из них заключается в том, чтобы приводить примеры в поддержку предлагаемой систематизации. Его можно назвать экзemplификацией¹. Ценность этого метода основывается на количестве и разнообразии приводимых примеров и, следовательно, может быть неодинаковой: историк не всегда находит столько примеров, сколько бы ему хотелось. Чтобы доказать, что значительная часть французов поддерживала маршала Петэна, историк должен привести высказывания самых разных людей, представляющих все политические тече-

ния, а также сослаться на донесения префектов, газетные статьи и т. д. Если поиск примеров будет системным, он выявит на общем одобрительном фоне зоны противостояния (коммунисты) и, кроме того, покажет различия в мотивациях самих сторонников Петэна. Вряд ли он позволит измерить масштабы и интенсивность этой поддержки, но во всяком случае даст примерную оценку, правильное общее представление о ней. Точность выводов, основанных на экзemplификации, зависит от ее системности; поэтому было бы неплохо разъяснять и обосновывать, как именно вы собираетесь ее осуществлять.

Наиболее строгий метод основывается на конструировании численных показателей и статистическом подтверждении законности выводов. И тогда мы вплотную подходим (правда, все равно не достигая ее) к науке в попперовском понимании, где гипотеза должна быть опровержимой. Качество сделанных выводов зависит, однако, от того, как конструируются применяемые показатели, и от надежности тех данных, на основе которых они конструируются. Тем не менее при условии, что мы никогда не будем забывать о том, что количественные методы охватывают конкретные реалии, существующие лишь в контексте, этот демарш способен доставить такие доказательства, оспорить которые очень трудно.

Между этими двумя крайностями находится целый спектр всевозможных методов, разрабатываемых историками в зависимости от выбора источников и проблематики. Самое главное — чтобы метод был. Понять это позволит один пример.

Предположим, что историк занимается исследованием представлений некой общественной группы о самой себе в данную эпоху и делает это путем досконального изучения профессиональных газет. В своих выводах он опирается на цитаты. Вот здесь-то и становятся видны пределы экзemplификации: совсем не обязательно, что другой исследователь, читая те же самые газеты, придет к тем же самым выводам. Для этого нужно, чтобы экзemplификация была системной, чтобы автор указал, в соответствии с каким протоколом он искал свои примеры. Это был бы уже более строгий подход. Чтобы быть еще строже, нужно предложить точное определение метода и обратиться к анализу содержания или к одной из форм лингвистического анализа. Коль скоро метод определен и очерчен корпусом текстов, любой исследователь, применяющий этот метод к данному корпусу текстов, должен по идее прийти к тем же результатам, что и другие. И тогда режим истинности выводов окажется гораздо более сильным.

Я привел этот пример, потому что он стал предметом дискуссии. Один историк возразил, что достаточно изменить метод, для того чтобы прийти к другим результатам. Если это не

¹ Этот термин употребляет Ж.-К. Пассрон (см.: *Passeron J.-C. Le Raisonnement sociologique*), но в более общем смысле.

шутка, то явно не что иное, как сдача позиций, подрывающая претензии истории на истинность ее утверждений. Действительно, не все методы стоят друг друга. Чтобы быть пригодным, метод должен быть вдвойне правомерным: во-первых — по отношению к поставленным вопросам, во-вторых — по отношению к используемым источникам. В предложенном примере анализ содержания, вероятно, был бы менее плодотворным, чем какой-нибудь метод, заимствованный из лингвистики. Но важнее всего было бы следовать одному методу, т. е. определить, в чем он заключается, и обосновать свой выбор. В противном случае историк обрекает себя на то, чтобы произвести на свет литературный текст, сопровождающийся примерами, доказательная ценность которых весьма слаба.

Вопрос о методах выведения доказательства является, таким образом, центральным в истории. Отказываться ставить его из раза в раз, от исследования к исследованию значит отказываться от установления истины. По-моему, вместо того чтобы с готовностью повторять, что история — не наука, историки лучше подумали бы о том, как укрепить свои методы, сделать солиднее их базу, усилить их строгость. Историю превращают в литературу, когда считают себя свободными от размышлений над методами или даже просто — от метода. Историк должен полностью сообразовываться с теми методологическими требованиями, которые вытекают из его претензии на соответствующий режим истинности.

В самом деле, одно из двух: либо все методы стоят друг друга и история — это всего лишь интерпретация, субъективная точка зрения; либо в истории есть истины и они зависят от строгости методов. В первом случае история выполняет социальную функцию, которая аналогична функции эссе или романа, но, если уж на то пошло, общий смысл романа богаче и глубже. Во втором случае историк может законно претендовать на обладание верифицированным знанием. И тогда вопрос о социальной функции истории формулируется иначе.

Двойственная социальная функция

История, нация, гражданственность

Парадоксальным образом история XIX в., считавшая себя свободной от нравственности и политики, выполняла при этом в высшей степени политическую функцию: во Франции, как, впрочем, и в Германии или в Соединенных Штатах, чтобы не брать в качестве примера Богемию или Венгрию, она была плавильным тиглем национального самосознания.

Эта особенность обуславливала выбор в качестве наиболее распространенных внешних рамок истории нации или народа, а в качестве проблемы — конструирование этих воображаемых сообществ. Отсюда то значение, которое придавалось государственному строительству — как в утверждении внутренней власти государства, так и в укреплении его внешнего могущества или независимости.

Сегодня хорошо видна национальная установка этой исторической традиции и ее связь с образованием — как начальным, так и средним¹. Все эти “учителя” нации нашли свое воплощение в фигуре Лависса. Не следует, однако, чрезмерно преувеличивать значение этого обстоятельства: историки конца XIX — начала XX в. прекрасно осознавали риск националистического уклона. Сеньобос, например, являлся в этом отношении прямой противоположностью Бенвиллю с его “Историей”: если влияние “Аксьон Франсез” на историографию и было актуально, то лишь для истории, адресованной широкому кругу читателей, пользовавшейся в то время огромным успехом, но отнюдь не для университетской истории².

Тем не менее последняя выполняла совершенно очевидную социальную функцию, заключающуюся в формировании героического эпоса и самосознания нации. Причем сама она этого не осознавала, ибо обычно сохраняла подчеркнуто нейт-

¹ См., в частности: *Nora P. Lavissee, instituteur national; Citron S. Le Mythe national* (порой даже чересчур полемическая работа).

² См.: *Keylor W.R. Jacques Bainville and the Renaissance of Royalist History*.

ральный тон и избегала выносить суждения. “Научное” отношение заключалось для нее в истолковании фактов и объяснений, где она стремилась применять свой принцип беспристрастности. Университетская история не видела того, что определение темы никогда не бывает нейтральным¹. Слабость историографической мысли, пренебрежительное отношение историков к истории своей дисциплины соседствовали со слепотой французского общества в целом в вопросе о действительной социальной функции истории.

Это можно наблюдать в труде Мориса Гальбвакса “Социальные рамки памяти” (1925). Историк рассчитывает найти в этой книге размышления о роли истории в конструировании социальной памяти. Не тут-то было: такой вопрос в ней не ставится. Но дело также в том, что отсутствует национальная память: в обществе согласно Гальбваксу реально существуют семьи, религии, общественные классы, но не нации. Отсюда — отсутствие истории: ведь фактически ее функция состоит в том, чтобы формировать социальные рамки той национальной памяти, которую Гальбвакс исключил из своего исследования, даже не объяснив причины.

Университетская традиция истории во Франции характеризовалась еще одной, гораздо более глубокой установкой, которой и определялся выбор ее тем. Историки ставили себе целью объяснять политическое и социальное функционирование наций или народа: чем обусловлены переходы из одного состояния в другое? почему они становятся неизбежными? как формируются общественные и политические силы? как и почему принимаются решения?

Этот проект отличался гражданственностью и республиканизмом. Благодаря легендарному корпусу, саге о королях Франции, революционной и имперской эпохее история выступала фактором единения, но одновременно она пыталась присвоить себе также критическую функцию. Знание — это оружие, и история, объясняя, как формировалась нация, тем самым доставляла гражданам средства для того, чтобы они могли иметь собственное мнение о социально-политическом развитии своего времени. Она давала французам необходимые интеллектуальные инструменты, позволявшие занять независимую и мотивированную позицию в социально-политической области. И в этом смысле она несла им освобождение, что оправдывало преподавание ее в школе.

¹ Поколение историков-коммунистов 1945 г. имело более трезвый взгляд на вещи и выбирало темы, соответствовавшие своей партийной принадлежности. Однако все требования профессиональной этики при этом соблюдались.

Никому не удалось сформулировать эту сверхзадачу лучше, чем Сеньобосу. Он видел конечную цель в том, чтобы сделать учащегося “способным принимать участие в общественной жизни”, приветствовать необходимые изменения и содействовать им легальными средствами. Для этого он должен понимать то общество, в котором будет жить. В этом и состоит конкретный вклад исторического образования. Вот почему именно история, больше, чем какая-либо другая дисциплина, способна заниматься воспитанием граждан.

Шарль Сеньобос: Зачем нужно преподавать историю

История изучает события, в которые вовлечены люди, живущие в обществе. Каким образом изучение обществ может выступать инструментом политического воспитания? Это первый вопрос. История изучает смену времен, причем так, чтобы продемонстрировать последовательные состояния общества, а значит, и его трансформации. Каким образом может служить политическому воспитанию изучение трансформаций общества? Это второй вопрос. История изучает факты прошлого, непосредственно наблюдать которые у нас уже нет возможности; она изучает их свойственным ей косвенным методом — критическим. Как может быть применена к политическому воспитанию привычка к критическому методу? Вот третий вопрос. [...] История — это подходящий повод для того, чтобы показать великое множество социальных фактов; она позволяет дать точные знания об обществе. [...] Знакомство с фундаментальными понятиями политики и осторожное пользование политическим словарем делают ученика гораздо более подготовленным к пониманию общества, т. е. к тому, чтобы видеть отношения, соединяющие между собой людей, которые его образуют: деление на классы, образ правления, подбор кадров, распределение операций, механизм функций. [...]

Человек исторически образованный видел в прошлом такое количество трансформаций и даже революций, что уже не теряет, увидев нечто подобное в настоящем. Он видел, что многие общества претерпевали глубокие изменения, из числа тех, которые знающие люди объявляли смертельными, и тем не менее им не стало от этого хуже.

Этого достаточно, чтобы излечить его от страха перед изменениями и от упрямого консерватизма на манер английских тори.

Исторически образованный человек, вероятно, узнал также, что различные составляющие социально-политического строя подвержены трансформациям в неодинаковой степени. [...] Он узнал, что общественное устройство и частное право более ус-

тойчивы и видоизменяются медленнее, чем строй центральной власти. Когда он будет принимать участие в общественной жизни, он уже будет знать, что можно надеяться изменить быстро, а что видоизменяется лишь постепенно. [...] Изучение трансформаций избавляет нас от двух противоположных, но одинаково опасных для активной деятельности чувств. Первое из них — впечатление, что индивид бессилён сдвинуть с места эту огромную массу людей, образующих общество: это чувство беспомощности, ведущее к унынию и бездействию. Другое — впечатление, что человеческая масса эволюционирует сама по себе, что прогресс неизбежен, из чего делается вывод о том, что индивиду не нужно всем этим заниматься; результатом становятся общественный квиетизм и бездействие.

Наоборот, исторически образованный человек знает, что общество может быть преобразовано общественным мнением, что это мнение не изменится само по себе и что один-единственный индивид бессилён его изменить. Но он знает, что несколько человек, действующих вместе в одном направлении, могут изменить общественное мнение. Это знание даёт ему ощущение собственной силы, сознание своего долга и руководство к действию, которое состоит в том, чтобы помогать трансформации общества в направлении, которое кажется ему наиболее выгодным. Оно указывает ему самый эффективный метод, который состоит в том, чтобы договориться с другими людьми, побуждаемыми теми же намерениями, и сообща работать над трансформацией общественного мнения.

*L'enseignement de l'histoire comme instrument
d'éducation politique, passim.*

Такой проект пропедевтики республиканской гражданственности средствами истории предполагал выбор одних тем и отказ от других. Предпочтение отдавалось современной истории, с одной стороны, и политической — с другой, но не только. Приоритетными считались темы, позволявшие объяснить, как люди делали историю, темы, касавшиеся деятельности отдельных людей, групп, институтов в тех общественных ситуациях, преобразованием которых они занимались. История Средних веков или Древнего мира тоже могла по-своему содействовать формированию граждан, контрастно обнаруживая перед ними своеобразие настоящего и особенно приучая их применять в различных контекстах способ рассуждения, с помощью которого можно понять, как функционирует общество. История не ограничивается ближайшим прошлым, поскольку её рассуждение может быть перенесено с одной эпохи на другую.

Парадоксальным образом эту социальную функцию не затронул взлёт истории «Анналов» до их раскола в 1970-е гг.

Лабруссовский или броделевский варианты истории на самом деле не только не противоречили, но и обогащали патриотические замыслы Лависса и Сеньобоса. Для формирования сознательных граждан было весьма полезно объяснять реальность существования глубинных сил, в частности экономических, которые управляют общественным развитием. Живучесть этой патриотической функции истории, в частности, объясняется политическими симпатиями многочисленных историков этого поколения, сегодня сжигающих то, что ещё вчера превозносили¹.

Ситуация меняется, когда история поворачивается лицом к более ограниченному сюжетам, ставя себе целью описать субъективные виды деятельности, сугубо личностные представления либо такие общественные представления, которые не имеют прямого влияния на макросоциальное развитие. И тогда история присваивает себе функцию удовлетворения любознательности совсем другого рода, но эта любознательность уже никак не связана с нашим настоящим, — разве что она исходит от наших современников. На этот крен обратил внимание Пьер Нора, вскрыв его причины, которыми стали начиная с середины 70-х гг. серьёзные изменения, происходящие как в истории, так и в обществе: история утрачивает незыблемость своих истин и обращается к своей собственной истории, а общество, охваченное ростом, внезапно оказывается отрезанным от своих корней. Так что отношение и истории и общества к прошлому радикально меняется.

История, самосознание, память

Традиционная история строилась на непрерывности, преемственности: «Подлинное восприятие прошлого состояло в том, чтобы считать, что оно на самом деле вовсе не прошлое»². Прошлое продолжало присутствовать, жить в настоящем, и поэтому важно было его выявить: история естественным образом освещала настоящее. В своё время мы подробно излагали

¹ Поскольку я принадлежу к более молодому поколению и никогда не был коммунистом, то не чувствую себя обязанным совершать такой же мучительный пересмотр и не вижу причин отречься от убеждений, которые можно назвать просто и твердо республиканскими. Но я не понимаю также, каким образом факт вчерашних заблуждений позволяет сегодня учить других.

² Nora P. Entre Mémoire et Histoire. P. XXXI.

эту точку зрения, до сих пор сохраняющую известную законность, в частности в новейшей истории¹.

Но такому отношению настоящего к прошлому пришел конец. "Прошлое дано нам как радикально другое, это — мир, от которого мы навсегда отрезаны"². Теперь для историков история строится на обостренном сознании радикального разрыва и множественности препятствий. Что касается общества, то оно требует от них вернуть эти утраченные объекты, причем не столько в их логической правильности, сколько в их жизненной достоверности; на историков возлагается задача заставить вновь зазвучать голоса действующих лиц и оживить прошлый пейзаж, с его красками и экзотикой. Об удачном совпадении современных запросов истории и новой манеры ее написания весьма символично свидетельствует успех книги "Монтайю" (1975). Путь, который проделал ее автор, пролегал от макросоциальной фрески до монографии, повторяя собой маршруты многих его коллег³.

В силу этого радикально меняется соотношение между историей и памятью. История, которую мы для удобства назовем "традиционной", т. е. история, которая писалась до наметившегося в 70-е гг. "мемориального" уклона, подчиняла себе национальную и республиканскую память для того, чтобы ее структурировать и укоренять в долговременной преемственности. Современная же история скорее поставлена на службу памяти, как это ясно следует из адресованного историкам наказа о "долге" памяти, которым в настоящее время и определяется их социальная функция.

Между тем история и память противостоят друг другу буквально по всем пунктам. Лучше всех это обстоятельство сумел выразить П. Нора.

Пьер Нора: Память и история

Память — это жизнь, и носителями ее всегда являются группы живущих в данное время людей. В силу этого она находится в

¹ Я никогда не скрывал того, что мой интерес к истории образования был обусловлен стремлением прояснить современные проблемы этого института и желанием дать на них как можно более вразумительный ответ. История в данном случае выступала в роли наставницы жизни, что не мешало мне заниматься ею как профессиональному историку.

² Nora P. Entre Mémoire et Histoire. P. XXXI—XXXII.

³ Таков, например, путь Алена Корбена, пришедшего от глобальной истории региона (Corbin A. Archaisme et Modernité en Limousin au XIX^e siècle (1845—1880). Paris: Marcel Rivière, 1975) к истории деревни ([Corbin A.] Village des cannibales. Paris: Aubier, 1990), а затем и вовсе к истории колокольного звона ([Corbin A.] Cloches de la terre: Paysage sonore et cultures sensibles dans les campagnes au XIX^e siècle. Paris: Albin Michel, 1994).

постоянном движении, она открыта диалектике воспоминания и амнезии, она не осознает своих последовательных деформаций, она уязвима для всех использований и манипуляций и способна на долгие латентные периоды и внезапные оживления. История — это всегда проблематичная и неполная реконструкция того, чего больше нет. Память — явление всегда современное, это переживаемая связь с вечным настоящим; история же — представление о прошлом. Так как память эмоциональна и легковерна, ее устраивают только те детали, которые ее упрочивают. Она питается воспоминаниями, которые могут быть расплывчатыми или пронзительными, цельными или неопределенными, частными или символическими, оставаясь при этом чувствительной ко всем переносам, экранам памяти, цензуре или проекциям. История же, будучи операцией интеллектуальной и секуляризаторской, требует анализа и критического дискурса. Память помещает воспоминание в ряд священного, история же выгоняет его оттуда, она всегда говорит прозой. Источником памяти является группа людей, которую она сплавливает, а это равносильно тому, чтобы сказать, повторив за Гальббаксом: сколько групп, столько и вариантов памяти; память по своей природе является многосложной и делимой, коллективной, множественной и индивидуализированной. История же, наоборот, принадлежит всем и никому, что сообщает ей устремленность ко всеобщему. Память укореняется в конкретном, в пространстве, жесте, образе, предмете. История же связывается лишь с временной преемственностью, с изменениями и с отношениями вещей. Память есть некий абсолют, история же имеет дело лишь с относительным.

В самом сердце истории действует разрушительный критицизм спонтанной памяти. Память всегда подозрительна для истории, истинное предназначение которой состоит в том, чтобы ее разрушать и вытеснять. История есть развенчание законности пережитого прошлого...

Les Lieux de mémoire, I: La République, p. XIX—XX.

Заниматься историей означало освобождаться от памяти, приводить в порядок свои воспоминания, находить им новое место в рамках сцеплений и закономерностей, объяснять и понимать их, преобразовывать в мыслимое аффективное и эмоциональное пережитое. Мы видели это на примере воспоминаний о войне: память там находилась в гаубичных дулах, в укреплениях с казематами, сотрясаемыми бомбардировками; история же помещалась в учебных, мемориальных или исторических музеях, где посетитель, который уже не может испытать эмоций ветеранов войны, приобретает знание о сражении.

Традиционная история, следовательно, освобождала гражданина не только тем, что давала ему ключ к пониманию настоящего. Она также избавляла его от опеки воспоминаний. История была освобождением от прошлого. Человек, писал Марру¹, освобождается от прошлого, давление которого он смутно ощущает, не через забвение, “но через усилие, направленное на то, чтобы вновь обрести его, совершенно сознательно принять его, сделав своей составной частью”. В этом смысле “история оказывается школой, учебной площадкой и инструментом нашей свободы”. Точно так же думал и Л. Февр.

Люсьен Февр: История, забвение, жизнь и смерть

Инстинкт подсказывает нам, что забвение является прямой необходимостью для тех групп, для тех обществ, которые хотят жить. Суметь выжить. Не дать раздавить себя этой чудовищной массе, этому нечеловеческому скоплению доставшихся нам в наследство фактов. Этому неотразимому давлению мертвых, раздавливающих живых — расплющивающих своим весом тонкий слой настоящего, отнимая у него в конце концов всякую способность к сопротивлению. [...]

История [решает эту проблему. Она] представляет собой средство организации прошлого для того, чтобы не давать ему слишком сильно давить на плечи людей; история, которая, конечно же [...] не смиряется с незнанием и, следовательно, ухитряется все больше увеличивать груды “исторических” фактов, имеющихся в распоряжении наших цивилизаций для того, чтобы писать историю: но в этом нет противоречия. Ибо история преподносит людям не собрание изолированных фактов. Она эти факты организует. Она их объясняет, а для того, чтобы объяснять, объединяет их в серии, которым она уделяет весьма неравное внимание. Ибо хочет она того или нет, она упорно собирает, а затем классифицирует и группирует факты прошлого в зависимости от сегодняшних потребностей. Она исследует смерть не иначе, как применительно к жизни.

*Vers une autre histoire (1949)
in Combats pour l'histoire, p. 437.*

Наше же общество боится уже не потонуть в прошлом, а потерять его. Оно охвачено мощным мемориальным движением. Это продемонстрировало празднование тысячелетия династии Капетингов². Вначале, когда собирались отмечать восшествие на трон Гуго Капета (987), компетентная комиссия

¹ См.: Marrou H.-I. De la connaissance historique. P. 274.

² Мы приводим данные П. Нора: Nora P. L'ère de la commémoration. P. 989 sq.

CNRS заявила, что не считает эту дату достойной внимания, что об этом историческом лице нет достоверных сведений, а само событие не имеет реального значения. В итоге же — потрясающий успех, несанкционированные манифестации, сам президент республики и граф Парижский присутствуют на коронационной мессе в Амьене, выходят в свет четыре биографии. Такое не снилось и самому Моррасу! Точно так же, спустя два года, во время празднования двухсотлетия Французской революции, совершенно потрясающим было количество манифестаций на местах. По всей Франции прокатилась волна мемориальных мероприятий: важнейшее общенациональное событие отмечалось в первую очередь как событие, заложившее основы местной самобытности.

Охватившая нас “мемориальность”, требующая от историков компетентного и авторитетного участия¹, сопровождается беспрецедентным подъемом интереса к культурному наследию. Объявленный наугад в 1980 г. год охраны культурного наследия имел огромный успех, продолженный ставшими отныне ежегодными днями культурного наследия. Во всех районах страны увеличивается число самых разнообразных музеев. Почти каждую неделю то один, то другой мэр обращается в Министерство по делам ветеранов войны с просьбой оказать содействие в организации какого-нибудь музея, посвященного какой-нибудь битве, узникам, оружию и т. д. Люди сохраняют старые машины, старые бутылки, старые инструменты. Не обращать на это внимания уже просто невозможно.

Тем более невозможно это уничтожить. Закон 1913 г. об “исторических” памятниках распространялся на памятники, представлявшие национальный, художественный или символический интерес: например соборы, замки Луары и ренессансные постройки. Сегодня же рамки действия этого закона потрясающе расширились: в него уже включены мраморная стена кафе Круассан, где был убит Жорес, ясли XIX века и т. д. Для включения какого-нибудь места в число охраняемых государством достаточно, чтобы общественное мнение придавало ему некое символическое значение: именно таким образом был “спасен” фасад отеля дю Нор, набережная Жемап, в память о фильме Карне, хотя последний был снят на студии.

¹ Вчера, 17 августа 1995 г., в то время как я заканчивал эту книгу в удаленной от всего деревушке в окрестностях Юра, раздался телефонный звонок. Меня очень вежливо просили принять участие в организации празднования пятидесятой годовщины Органов социального обеспечения... Таков уж свет! Я отпраздновал в этом году два раза годовщину создания в 1895 г. Всеобщей конфедерации труда, годовщину возвращения депортированных из лагерей и годовщину социального обеспечения. А ведь я, да простят меня, всегда страшно отлыниваю от мероприятий по линии памятных дат...

И нужны долгие и трудные объяснения, чтобы срубить опасные старые деревья и посадить на их месте новые. В нашем обществе, таким образом, стал распространенным девиз: “Не тронь мое прошлое...”

Итак, мы охвачены, заполнены множащимся национальным достоянием, которое уже никоим образом не ведет к формированию какой-либо общей идентичности, какого-либо сознания нашей общности, но дробится на множество локальных, профессиональных, категориальных идентичностей, каждая из которых требует уважения к себе и поощрения. Национальная история уступила место мозаике частных случаев памяти, “этому семейному альбому, с умилением обнаруженному спустя тридцать лет и благоговейно дополняемому всеми находками, снятыми с чердака: огромный перечень дат, картинок, текстов, рисунков, любовных писем, слов и даже ценностей, власть которых, в прошлом мифическая, сделалась семейной мифологией...”¹. Опись или коллекция, хранящая следы прошлого и совсем не обязательно выясняющая их действительный смысл, приобрела ныне наивысшую легитимность. Три “доминирующих символа нашего современного культурного универсума” — это музей, энциклопедия и путеводитель².

Таким образом, все осязаемое становится потребностью в многоформенной истории, подтверждением чего является увеличение числа специалистов по генеалогии. Исследование корней, ввергающее наших современников в ностальгический культ прошлого, начинает размывать границу между профессиональными историками и их читателями. В качестве вполне оправданного ответного удара пора, видимо, поставить вопрос о том, что есть профессиональный историк.

Карл Беккер поставил его еще в 1931 г. в своем обращении к конгрессу Американской исторической ассоциации, хотя и в несколько иных выражениях. Он исходил из минималистского определения истории как “памяти о сделанном и сказанном” и утверждал, что Мг. Everyman, или М-г Tout-le-monde³, занимается историей, сам того не подозревая. Просыпаясь, он вспоминает о том, что делалось или говорилось накануне, и о том, что надо сделать в течение дня. Для того чтобы уточнить что-то, он обращается за справкой в свой личный архив — записную книжку — и констатирует, например, что должен заплатить за уголь. И вот он отправляется к торговцу углем, но

у того не было угля требуемого качества и он передал заказ своему напарнику. Торговец роется в бумагах, находит подтверждение этого факта и дает адрес напарника г-ну Обывателю, который идет к тому, чтобы отдать деньги. Вернувшись к себе домой, г-н Обыватель находит квитанцию о поставке угля и безо всякого удивления констатирует, что его поставил именно тот, второй торговец. Г-н Обыватель, констатирует теперь уже Беккер, только что совершил все основные действия историка: он установил факты на основе сохранившихся в архиве документов. Он применяет эти действия, даже не зная, что они исторические, по отношению ко всему тому, что в его повседневной жизни связывает прошлое с настоящим и с тем, что ему придется делать в будущем. А так как он живет не хлебом единым, то его чисто прагматическая деятельность в качестве историка служит ему для расширения его настоящего, для придания смысла его опыту.

В чем же тогда его отличие от профессионального историка? — спрашивает Беккер. Дело в том, что оно не является фундаментальным. Конечно, историку принадлежит функция расширения и обогащения настоящего данного общества. Но история — не наука; факты не говорят сами за себя, как считали очарованные наукой историки XIX в., такие, как Фюстель де Куланж, которого цитирует Беккер.

Карл Беккер: Голос историка — это голос г-на Обывателя

Спустя пятьдесят лет мы можем ясно видеть, что не история говорила через Фюстеля, а Фюстель говорил через историю. Мы видим также, хотя, возможно, менее ясно, что голос Фюстеля был голосом лишь усиленным [...] г-на Обывателя; то, чему восторженно аплодировали студенты [...] было не историей и не Фюстелем, но умело раскрашенной совокупностью избранных событий, которую Фюстель оформил тем более искусно, что ему и в голову не приходило, что он это делает для того, чтобы служить удовлетворению эмоциональных запросов г-на Обывателя, столь важному для французов того времени эмоциональному удовлетворению, состоявшему в обнаружении того, что французские институты не имели германского происхождения. [...] Г-н Обыватель сильнее нас, и рано или поздно мы должны будем приспособить наше знание к его потребностям. В противном случае он оставит нас нашим собственным занятиям, которые могут превратиться в культивирование этого сухого профессионального высокомерия, произрастающего на худосочной почве узкоэрудитского исследования.

Everyman his Own Historian, p. 234.

¹ Nora P. L'ère de la commémoration. P. 1010.

² Rancière J. Histoire et récit // L'Histoire entre épistémologie et demande sociale. P. 200.

³ Англ. everyman (фр.: tout-le-monde) — зд.: обычный, рядовой человек; обыватель. — Примеч. пер.

Наша функция, заключает он, не в том, чтобы повторять прошлое, но в том, чтобы его корректировать и рационализировать для повседневного пользования г-на Обывателя.

В послании Карла Беккера содержатся два наказа, еще вчера солидарных, но сегодня уже противоречивых. Я оставляю в стороне критику сциентизма, в свое время наделавшую много шума. Остановлюсь на социальной функции и понимании истории.

Беккер рекомендует своим коллегам прислушиваться к г-ну Обывателю и писать такую историю, которая была бы ему полезна. Это столь же совет, сколь и констатация факта: в конце концов историк создает тот тип истории, который требует от него общество; иначе оно от него отворачивается. А наши современники требуют истории, обращенной к памяти, к истокам, истории, которая бы отвлекала их от настоящего, заставляла бы их расчувствоваться или вознегодовать. И если историк не отвечает этим запросам, он замыкается в некоем академическом гетто.

Но, с другой стороны, история является для Беккера орудием, применимым к настоящему; “чтобы быть подготовленными к тому, что на нас надвигается, необходимо не только помнить некоторые прошлые события, но и предвосхищать (заметьте, я не говорю: предсказывать) будущее. [...] Воспоминание о прошлом и предвосхищение будущих событий шествуют вместе, идут рука об руку...”¹. А нынешние запросы как раз, наоборот, делают из истории место памяти: она становится бегством от настоящего и страхом перед будущим.

В этом, как мне кажется, заключается проблема не только для истории, но и для общества. Культ прошлого является ответом на неизвестность будущего и отсутствие коллективного общественного проекта. Крах крупнейших идеологий, представляющий собой несомненный прогресс с точки зрения политического здравомыслия, оставляет наших современников в полной растерянности. Это приводит к тому, что та историографическая традиция, которая объединяла Сеньобоса и Броделя в их отношении к настоящему, отходит на задний план. Но с другой стороны, нет такого коллективного общественного проекта, который был бы возможен без исторического воспитания его участников и без исторического анализа проблем. Наше общество, одержимое памятью, думает, что без истории оно утратило бы свою идентичность; правильнее, однако, было бы сказать, что общество без истории неспособно строить планы.

Вызов, который сегодня должны принять историки, состоит в том, чтобы превратить в историю спрос своих современников на память. По меткому выражению Л. Февра, смерть следует изучать с позиций жизни. Нам без конца внушают, как важен долг памяти: но напоминание о событии ничему не служит, даже тому, чтобы оно не повторилось вновь, если при этом его не объяснять. Надо разьяснять, как и почему происходят те или иные вещи. И тогда перед нами открываются все те сложности, которые несовместимы с очистительным манихейством торжественных поминовений. Прежде всего, мы вступаем в порядок рассуждения, который отличен от порядка чувств, в особенности добрых чувств. Память оправдывает себя в собственных глазах своей морально-политической правильностью и черпает силу в тех чувствах, которые она пробуждает. История же требует доводов и доказательств.

Это правда, я неисправимый рационалист — но разве университетский преподаватель может им не быть? И потому я думаю, что идти навстречу истории — это прогресс: лучше бы человечество вело себя в соответствии с доводами, а не с чувствами. Вот почему история не должна идти в услужение к памяти; она должна, конечно, считаться со спросом на память, но лишь для того, чтобы превратить этот спрос в историю. Если мы хотим быть ответственными участниками нашего собственного будущего, то наш первый долг — это долг истории.

¹ [Becker C.] Everyman his Own Historian. P. 227.

Библиографический указатель

Библиография книги, как и сама книга, всегда бывает одновременно слишком краткой и слишком длинной. Слишком краткой, так как ее без труда можно было бы еще удлинить, и есть какой-то произвол, какая-то несправедливость в том, что приходится ставить точку. Слишком длинной, так как не все, разумеется, из нижеприведенных названий представляют одинаковый интерес, и лишь десяток-полтора книг способны, как нам кажется, заинтересовать читателя-непрофессионала.

Для преодоления этих двусторонних трудностей мы нашли два решения. Во-первых, мы публично признаемся в ограниченности круга нашего чтения и просим извинить нас за то, что не прочли всего. Гораздо более подробную, хотя и не исчерпывающую библиографию читатель найдет в книге Ж. Ле Гоффа “История и память”. С другой стороны, мы оставили в виде постраничных сносок ссылки на некоторые из книг, которые не относились к нашей теме прямо, но которые мы тем не менее цитировали. Их можно найти с помощью указателя.

Во-вторых, мы позволим себе назвать около пятнадцати работ, которые, как нам кажется, составляют некий джентльменский набор и которые во всяком случае питали наше собственное рассуждение. Прежде всего это — “Апология истории” Марка Блока. Если бы надо было прочесть всего лишь одну книгу по методологии истории, то этой книгой должна была бы быть именно эта, хотя она и не закончена. Затем — учебник Анри-Ирене Марру “Об историческом познании”, при внимательном чтении оказывающийся гораздо более тонким произведением, чем при беглом знакомстве. Более поздний по времени учебник Эдварда Карра также весьма интересен, особенно его первые главы. Наконец, мы не без приятного удивления констатируем, что небольшая книжка Жозефа Урса, несмотря на свой солидный возраст, остается интересной и легко читаемой.

Все французские авторы находятся под влиянием фундаментальных положений диссертации Раймона Арона, но если у вас мало времени, то лучше из философов прочитать “Время и рассказ” Поля Рикёра. Три тома этой работы — достаточно трудное, но весьма увлекательное чтение. К тому же П. Рикёр взял на себя труд серьезно перечитать историков, что делает его рассуждение еще более убедительным. По крайней мере, необходимо прочитать вторую часть первого тома “История и рассказ”. Это капитальный текст.

Из методологических споров прошлого наиболее интересными кажутся мне дискуссии методической школы. В числе того, что нужно найти в библиотеке, мы назовем манифест Габриэля Моно для первого номера *Revue historique* и, помимо знаменитого “Введения в изучение истории” Ланглуа и Сеньобоса, работу самого Сеньобоса “Ис-

торический метод в применении к общественным наукам". Эту работу нужно сопоставить с критическими замечаниями Симиана, а также с "Методом социологии" Дюркгейма. Наконец, особую важность для нас представляет, несмотря на свое название, "Социологическое рассуждение" Жан-Клода Пассрона, особенно глава под названием "История и социология".

Историография прямо не является темой нашей книги. Самым полезным чтением по этому вопросу представляется учебник Ги Бурде и Эрве Мартэна. Заслуживает того, чтобы уделить ему время, и трехтомник "Заниматься историей" Жака Ле Гоффа и Пьера Нора, поскольку он стал незаурядным событием в переломный для истории момент. Добавлю к этому еще три работы: "История и память" Ж. Ле Гоффа, где можно найти весьма оригинальные суждения, "Написание истории" М. де Серто, глубокая и очень личная работа, и искрящийся и необычный очерк Поля Вейна "Как пишут историю".

Из иностранных авторов я испытываю нежность к Коллингвуду, этому из ряда вон выходящему деятелю, умеющему так хорошо, так остроумно и так твердо сказать то, что он думает. Но брошюру, в которой была бы полноценно изложена его концепция, во Франции достать невозможно, а переводов его трудов нет. Поэтому я не буду его рекомендовать. Зато мне кажется совершенно необходимым прочесть "Очерки по теории науки" Макса Вебера, а из современных авторов — Р. Козеллека, работа которого "Прошлое будущее" издана на французском языке, и, кроме того, к сожалению, не переведенную "Метаисторию" Хейдена Уайта.

- Amalvi Ch.* Les Héros de l'Histoire de France, recherche iconographique sur le panthéon scolaire de la Troisième République. Paris: Phot'œil, 1979.
- Appleby J., Hunt L., Jacob M.* Telling the Truth about History. New York; Londres: W.W. Norton, 1994.
- Ariès Ph.* Le Temps de l'histoire. Paris: Éd. du Seuil, 1986.
- Aron R.* Introduction à la philosophie de l'histoire: essai sur les limites de l'objectivité historique. Paris: Gallimard, 1938.
- Idem.* La Philosophie critique de l'histoire: essai sur une théorie allemande de l'histoire. Paris: Vrin, 1969 [1^{re} éd. 1938].
- Idem.* Dimensions de la conscience historique. Paris: Plon, 1961.
- Idem.* Leçons sur l'histoire / Texte établi, présenté et annoté par S. Mesure. Paris: Éd. de Fallois, 1989.
- Barthes R.* Michelet par lui-même. Paris: Éd. du Seuil, 1954.
- Idem.* Le discours de l'histoire // Social Science Information. VI. № 4. P. 65–75.
- Bailyn B.* On the Teaching and Writing of History. Hanover (N.H.): Univ. Press of New England, Dartmouth College, 1994.
- Becker C.* Everyman his Own Historian // American Historical Review. Vol. 37. 1932, janv. P. 221–236.
- L'Histoire et le Métier d'historien en France, 1945–1995 / F. Bédarida (dir).* Paris: Éd. de la MSH, 1995.
- Berr H.* La Synthèse en histoire: son rapport avec la synthèse générale. Paris: Albin Michel, 1953 [1^{re} éd. 1911].

- Bloch M.* Apologie pour l'histoire ou métier d'historien. Paris: Armand Colin, 1960 [1^{re} éd. 1949].
- Bloch M., Febvre L.* Correspondance. I: 1928–1933 / Éditée par B. Muller. Paris: Fayard, 1994.
- Boltanski L., Thévenot L.* Les Économies de la grandeur. Paris: PUF, 1987.
- Idem.* De la justification: Les économies de la grandeur. Paris: Gallimard, 1991.
- Bourdé G., Martin H.* Les Écoles historiques. Paris: Éd. du Seuil, 1983.
- Bourdieu P.* Sur les rapports entre la sociologie et l'histoire en Allemagne et en France: entretien avec Lutz Raphaël // Actes de la recherche en sciences sociales. 1995. № 106–107, mars. P. 108–122.
- Idem.* La cause de la science: Comment l'histoire sociale des sciences sociales peut servir le progrès de ces sciences // Actes de la recherche en sciences sociales. 1995, № 106–107, mars. P. 3–10.
- Bradley F.H.* Les Présupposés de l'histoire critique / Trad. par P. Fruchon. Paris: Les Belles-Lettres, 1965 [1^{re} éd. Oxford, 1874].
- Braudel F.* La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II: 2 vol. Paris: Armand Colin, 1976 [1^{re} éd. 1949].
- Idem.* Écrits sur l'histoire. Paris: Flammarion, 1969.
- Bruter A.* Enseignement de la représentation et représentation de l'enseignement: Lavis et la pédagogie de l'histoire // Histoire de l'éducation. 1995, janv. № 65, P. 27–50.
- Burguière A.* Histoire d'une histoire: la naissance des Annales // Annales ESC. 1979, nov.–déc. P. 1347–1359.
- Dictionnaire des sciences historiques / Éd. A. Burguière. Paris: PUF, 1986.
- New Perspectives on Historical Writing / Éd. P. Burke. Cambridge: Polity Press, 1991.
- Carbonell Ch.-O., Livet G.* Au berceau des "Annales": Actes du colloque de Strasbourg (11–13 octobre 1979). Toulouse: Presses de l'IEP, 1983.
- Carbonell Ch.-O.* Histoire et Historiens, une mutation idéologique des historiens français 1865–1885. Toulouse: Privat, 1976.
- Carr E.H.* Qu'est-ce que l'histoire? Paris: La Découverte, 1988 [1^{re} éd. en anglais, 1961].
- Carrard Ph.* Poetics of the New History: French Historical Discours from Braudel to Chartier. Baltimore; Londres: The Johns Hopkins Press, 1992.
- Certeau M. de.* L'opération historique // Le Goff J., Nora P. Faire de l'histoire. I: Nouveaux Problèmes. Paris: Gallimard, 1974. P. 19–68.
- Idem.* L'Écriture de l'histoire. Paris: Gallimard, 1975.
- Charle C.* Naissance des "intellectuels", 1880–1900. Paris: Éd. de Minuit, 1990.
- Idem.* La République des universitaires, 1870–1940. Paris: Éd. du Seuil, 1994.
- Histoire sociale, Histoire globale / C. Charle (dir). Paris: Éd. de la MSH, 1993.
- Chartier R.* Histoire intellectuelle et histoire des mentalités: Trajectoires et questions // Revue de synthèse. 1983. № 111–112. P. 277–307.
- Idem.* L'Histoire ou le récit véridique // Philosophie et Histoire. Paris: Centre Pompidou, 1987. P. 115–135.
- Idem.* Le monde comme représentation // Annales ESC. 1989, nov.–déc. P. 1505–1520.
- Idem.* L'Histoire Culturelle entre "Linguistic Turn" et "Retour au Sujet" // Wege zu einer neuen Kulturgeschichte / Hrsg. von H. Lehmann. Göttingen: Wallstein Verlag, 1995. P. 29–58.
- Idem.* Au bord de la falaise: L'histoire entre certitudes et inquiétude. Paris: Albin Michel, 1998.
- Chaunu P.* Histoire quantitative, Histoire sérielle. Paris: Armand Colin, 1978 [1^{re} éd. 1968].
- Idem.* Histoire science sociale, la durée, l'espace et l'homme à l'époque moderne. Paris: SEDES, 1974.
- Chervel A.* Histoire de l'agrégation. Paris: Kimé, 1992.

- Cité des chiffres (La), ou l'Illusion des statistiques / Sous la dir. de J.-L. Besson. Paris: Autrement. 1992, sept. № 5. (Série Sciences en société.)
- Citron S. Le Mythe national: L'histoire de France en question. Paris: Éd. ouvrières, 1987.
- Clark T.N. Prophets and Patrons: The French University and the Emergence of the Social Sciences. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 1973.
- Collingwood R.G. The Philosophy of History // Historical Association Leaflet. Londres, 1930. № 70.
- Idem. The Historical Imagination: An Inaugural Lecture Delivered before the University of Oxford on 28 October 1935. Oxford: Clarendon Press, 1935.
- Idem. An Autobiography. Oxford: Oxford Univ. Press, 1939.
- Idem. The Idea of History. Oxford: Clarendon Press, 1946.
- Colloque Cent Ans d'enseignement de l'histoire (1881–1981), Paris, 13–14 novembre 1981 // Numéro spécial hors série de la *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, 1984.
- Corbin A. "Le vertige des foisonnements": Esquisse panoramique d'une histoire sans nom // *Revue d'histoire moderne et contemporaine*. 1992, janv.–mars. P. 103–126.
- Cournot A. Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique. Paris: Vrin, 1975 [1^{re} éd. 1851].
- Idem. Considérations sur la marche des idées et des événements dans les temps modernes. Paris: Vrin, 1973 [1^{re} éd. 1872].
- Coutau-Bégarie H. Le Phénomène nouvelle histoire, grandeur et décadence de l'école des "Annales". Paris: Economica, 1989. 2^e éd. entièrement refondue [1^{re} éd. 1983].
- Dance E.H. Conseil de l'Europe // L'Éducation en Europe, la place de l'histoire dans les établissements secondaires. Paris: Armand Colin-Bourrelle, 1969.
- Dancel B. L'Histoire de l'enseignement de l'histoire à l'école publique de la III^e République: Le ministre, le maître et l'élève dans les écoles primaires élémentaires de la Somme, 1880–1926. Thèse de l'université René-Descartes-Paris-V (C. Lelièvre), 1994.
- Danto A.C. Analytical Philosophy of History. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1965.
- Desrosières A. La Politique des grands nombres: Histoire de la raison statistique. Paris: La Découverte, 1993.
- Digeon C. La Crise allemande de la pensée française. Paris: PUF, 1959.
- Dilthey W. L'Édification du monde historique dans les sciences de l'esprit / Traduit et présenté par S. Mesure. Paris: Éd. du Cerf, 1988.
- Idem. Critique de la raison historique: Introduction aux sciences de l'esprit / Traduit et présenté par S. Mesure. Paris: Éd. du Cerf, 1992.
- Dosse F. L'Histoire en miettes: Des "Annales" à la "nouvelle histoire". Paris: La Découverte, 1987.
- Idem. L'empire du sens. L'humanisation des sciences humaines. Paris: La Découverte, 1995.
- Duby G. L'histoire continue. Paris: Odile Jacob, 1991.
- L'Historien entre l'ethnologue et le futurologue: Actes du colloque international de Venise, 2–8 avril 1971 / J. Dumoulin, D. Moisi. Paris: La Haye: Mouton, 1972.
- Dumoulin O. Profession historien, 1919–1939, un métier en crise: thèse de l'EHESS (A. Burguière), 1983.
- Durkheim E. Les Règles de la méthode sociologique. Paris: PUF, 1950 [1^{re} éd. 1895].
- Idem. Le Suicide: étude de sociologie. Paris: PUF, 1985 [1^{re} éd. 1897].
- Écrire l'histoire du temps présent: Hommage à François Bédarida. Paris: CNRS-Éditions, 1993.
- Ehrhard J., Palmade G. L'Histoire, Paris: Armand Colin, 1964.
- Farge A. Le Goût de l'archive. Paris: Éd. du Seuil, 1989.

- Febvre L. Entre l'histoire à thèse et l'histoire-manuel: Deux esquisses récentes d'histoire de France // *Revue de synthèse*. 1933. № 5. P. 205–236. Une version abrégée de cet article a été reprise dans: *Combats pour l'histoire*. Paris: Armand Colin, 1953. P. 80–99.
- Idem. Une histoire politique de la Russie moderne. Histoire-tableau ou synthèse historique // *Revue de synthèse*, 1934. [№] 7. P. 27–36. Compte rendu de P. Milioukov, Ch. Seignobos, L. Eisenmann. Histoire de Russie. Paris: E. Leroux, 1932. Repris dans: *Combats pour l'histoire*. Paris: Armand Colin, 1953. P. 70–75.
- Idem. Combats pour l'histoire. Paris: Armand Colin, 1953.
- Fink C. Marc Bloch: A Life in History. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1989.
- Foucault M. L'Archéologie du savoir. Paris: Gallimard, 1969.
- Frédéricq P. (professeur à l'université de Liège). L'enseignement supérieur de l'histoire à Paris: notes et impressions de voyage // *Revue internationale de l'enseignement*. 1883, 15 juil. P. 742–798.
- Freyssinet-Dominjon J. Les Manuels d'histoire de l'école libre, 1882–1959. Paris: Armand Colin-Presses de la FNSP, 1969.
- Friedländer S. Histoire et Psychanalyse: Essai sur les possibilités et les limites de la psychohistoire. Paris: Éd. du Seuil, 1975.
- Furet F. De l'histoire récit à l'histoire problème. Paris: Diogenes, 1975.
- Idem. Penser la Révolution française. Paris: Gallimard, 1978.
- Idem. L'Atelier de l'histoire. Paris: Flammarion, 1982.
- Idem. La Gauche et la Révolution au milieu du XIX^e siècle. Paris: Hachette, 1986.
- Philosophie des sciences historiques / M. Gauchet (éd.). Lille: PUL, 1988.
- Gérard A. A l'origine du combat des *Annales*: positivisme historique et système universitaire // Carbonell Ch.-O., Livet G. Au berceau des "Annales": Actes du colloque de Strasbourg (11–13 octobre 1979). Toulouse: Presses de l'IEP, 1983. P. 79–88.
- Gerbod P. La place de l'histoire dans l'enseignement secondaire de 1802 à 1880 // *L'Information historique*. 1965. P. 123–130.
- Ginzburg C. Mythes, Emblèmes, Traces: Morphologie et histoire. Paris: Flammarion, 1989.
- Girault R. L'Histoire et la Géographie en question: Rapport au ministre de l'Éducation nationale. Paris: Ministère de l'Éducation nationale, Service d'information, 1983.
- Glénisson J. L'historiographie française contemporaine: tendances et réalisations // *La Recherche historique en France de 1940 à 1965*. Paris: Comité français des sciences historiques / Éd. du CNRS, 1965. P. IX–LXIV.
- Grenier J.-Y., Lepetit B. L'expérience historique: A propos de C.-E. Labrousse // *Annales ESC*. 1989, nov.–déc. P. 1337–1360.
- Guénée B. Histoire et Culture historique dans l'Occident médiéval. Paris: Aubier, 1980.
- Halbwachs M. Les Cadres sociaux de la mémoire. Paris: PUF, 1952 [1^{re} éd. 1925].
- Halphen L. Introduction à l'histoire. Paris: PUF, 1946.
- Hartog F. Le XIX^e Siècle et l'Histoire. Le cas Fustel de Coulanges. Paris: PUF, 1988.
- Hexter J. On Historians: Reappraisals of Some of the Makers of Modern History. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 1979.
- Histoire et ses méthodes (L') (Actes du colloque d'Amsterdam, novembre 1980). Lille: PUL, 1981.
- Histoire entre épistémologie et demande sociale (L') (Actes de l'université d'été de Blois, septembre 1993). Créteil: Institut universitaire de formation des maîtres, 1994.
- Histoire/géographie, 1: L'arrangement // *Espaces Temps: Les Cahiers*. Paris, 1998. № 66–67.

- Histoire sociale, sources et méthodes (L') (Colloque de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, 15–16 mai 1965). Paris: PUF, 1967.
- Hours J. Valeur de l'histoire. Paris: PUF, 1971 [1^{re} éd. 1953].
- Hunt L. French History in the Last Twenty Years: The Rise and Fall of the *Annales* Paradigm // *Journal of Contemporary History*. 1986. Vol. 21. P. 209–224.
- Jaubert A. Le Commissariat aux archives: Les photos qui falsifient l'histoire. Paris: Éd. Bernard Barrault, 1986.
- Joutard Ph. Une passion française: l'histoire // Burguière A., Revel J. (dir.). Histoire de la France: Les formes de la culture. Paris: Éd. du Seuil, 1993. P. 507–570.
- Julliard J. La politique // Le Goff J., Nora P. Faire de l'histoire. II: Nouvelles Approches. Paris: Gallimard, 1974. P. 305–334.
- Karady V. Durkheim, les sciences sociales et l'Université: bilan d'un demi-échec // *Revue française de sociologie*, avr.–juin 1976. Numéro spécial Durkheim. P. 267–311.
- Idem. Stratégies de réussite et modes de faire-valoir de la sociologie chez les durkheimiens // *Revue française de sociologie*, janv.–mars 1979. Numéro spécial Les Durkheimiens. P. 49–82.
- Keylor W.R. Academy and Community: The Foundation of the French Historical Profession. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 1975.
- Idem. Jacques Bainville and the Renaissance of Royalist History in Twentieth-Century France. Baton Rouge: Louisiana State Univ. Press, 1979.
- Koselleck R. Le Futur passé, contribution à la sémantique des temps historiques. Paris: EHESS, 1990 [1^{re} éd. en allemand, 1979].
- LaCapra D., Kaplan S. (eds.). Modern European Intellectual History: Reappraisals and New Perspectives. Ithaca; London: Cornell Univ. Press, 1982.
- Idem. L'expérience de l'histoire. Paris: Gallimard, Le Seuil, 1997.
- Lacombe P. De l'histoire considérée comme science. Paris: Hachette, 1894.
- Langlois Ch.-V., Seignobos Ch. Introduction aux études historiques. Paris: Hachette, 1897. Nous citons la réédition avec une préface de Reberieux. Madeleine, Paris, Kimé, 1992.
- Lautier N. Enseigner l'histoire au lycée. Paris: Armand Colin, 1997.
- Idem. A la rencontre de l'histoire. Lille: Presses universitaires du Septentrion, 1997.
- Leduc J., Marcos-Alvarez V., Le Pellec J. Construire l'histoire. Toulouse: Bertrand-Lacoste, CRDP Midi-Pyrénées, 1994.
- Lefebvre G. Réflexions sur l'histoire. Paris: Maspero, 1978.
- Le Goff J. Histoire et Mémoire. Paris: Gallimard, 1977.
- Le Goff J., Nora P. (dir.). Faire de l'histoire. I: Nouveaux Problèmes; II: Nouvelles Approches; III: Nouveaux Objets. Paris: Gallimard, 1974.
- Le Goff J., Chartier R., Revel J. (éd.). La Nouvelle Histoire. Paris: Retz, 1978.
- Lepetit B. (dir.). Les Formes de l'expérience: Une autre histoire sociale. Paris: Albin Michel, 1995.
- Le Roy Ladurie E. Le Territoire de l'historien. T. 1. Paris: Gallimard, 1977 [1^{re} éd. 1973]; T. 2. Paris: Gallimard, 1978.
- Le temps réfléchi: L'histoire au risque des historiens // *Espaces Temps: Les cahiers*. Paris, 1995. № 59–60–61.
- Lire B. Ouvrage collectif parm. Aymard et al. Paris: La Découverte, 1988.
- Luc J.-N. Une réforme difficile: un siècle d'histoire à l'école élémentaire (1887–1985) // *Historiens et Géographes*. 1985, sept.–oct. № 306. P. 145–207.
- Mabillon J. Brèves Réflexions sur quelques règles de l'histoire / Préfaces et notes de B.-K. Blandine. Paris: POL, 1990.
- Maingueneau D. Les Livres d'école de la République, 1870–1914: discours et idéologie. Paris: Le Sycomore, 1979.
- Mann H.-D. Lucien Febvre: la pensée vivante d'un historien. Paris: Armand Colin, 1971.
- Mantoux P. Histoire et sociologie // *Revue de synthèse historique*. 1903. P. 121–140.
- Marin L. Le récit est un piège. Paris: Éd. de Minuit, 1978.
- Marrou H.-I. De la connaissance historique. Paris: Éd. du Seuil, 1954.
- Mazon B. Aux origines de l'EHESS: École des hautes études en sciences sociales, le rôle du mécénat américain (1920–1960). Paris: Éd. du Cerf, 1988.
- Milo D.S. Trahir le temps (histoire). Paris: Les Belles-Lettres, 1991.
- Milo D.S., Boureau A. Alter histoire, essais d'histoire expérimentale. Paris: Les Belles-Lettres, 1991.
- Colloque national sur l'histoire et son enseignement, 19–20–21 janvier 1984. Ministère de l'Éducation nationale. Montpellier, Paris: CNDP, 1984.
- Momigliano A. Problèmes d'historiographie ancienne et moderne. Paris: Gallimard, 1983.
- Moniot H. Didactique de l'histoire. Paris: Nathan, 1993.
- Moniot H. (éd.). Enseigner l'histoire: Des manuels à la mémoire. Berne: Peter Lang, 1990.
- Moniot H., Serwanski M. (éd.). L'Histoire en partage. I: Le Récit du vrai. Paris: Nathan, 1994.
- Monod G. Du progrès des études historiques en France depuis le XVI^e siècle [éditorial du premier numéro de la *Revue historique*, 1876]. Réédité: *Revue historique*. 1976. № 518, avr.–juin. P. 297–324.
- Morazé Ch. Trois Essais sur histoire et culture. Paris: Armand Colin, 1948.
- Mucchielli L. Aux origines de la nouvelle histoire en France: l'évolution intellectuelle et la formation du champ des sciences sociales (1880–1930) // *Revue de synthèse*. 4^e s. 1995. № 1, janv.–mars. P. 55–98.
- Noiriel G. Pour une approche subjectiviste du social // *Annales ESC*. 1989, nov.–déc. P. 1435–1459.
- Idem. Sur la "crise" de l'histoire. Paris: Belin, 1996.
- Idem. Naissance du métier d'historien // *Genèses*. 1990. № 1, sept. P. 58–85.
- Nora P. Entre Mémoire et Histoire. La problématique des lieux // *Les Lieux de mémoire*. I: La République. Paris: Gallimard, 1984. P. XVII–XLII.
- Idem. Lavis, instituteur national // *Les Lieux de mémoire*. I: La République. Paris: Gallimard, 1984. P. 247–289.
- Idem. L'histoire de France de Lavis // *Les Lieux de mémoire*. II: La Nation. T. 1. Paris: Gallimard, 1986. P. 317–375.
- Idem. L'ère de la commémoration // *Les Lieux de mémoire*. III: Les France. T. 3. Paris: Gallimard, 1992. P. 977–1012.
- Nora P. (éd.). Essais d'ego-histoire. Paris: Gallimard, 1987.
- Passeron J.-C., Prost A. L'enseignement, lieu de rencontre entre historiens et sociologues // *Sociétés contemporaines*. 1990. № 1, mars. P. 7–45.
- Passeron J.-C. Le Raisonnement sociologique: L'espace non-poppérien du raisonnement naturel. Paris: Nathan, 1991.
- Idem. Homo sociologicus // *Le Débat*. 1994. № 79, mars–avril. P. 114–133.
- Passés recomposés: Champs et chantiers de l'histoire / Sous la dir. de J. Boulier, D. Julia. Paris: Autrement. (Série Mutations.) 1995. № 150–151, janv.
- Passion du passé, "les fabricants" d'histoire, leurs rêves et leurs batailles / Sous la dir. de N. Gautier, J.-F. Rouge. Paris: Autrement. 1987. № 88, mars.
- Périodes: La construction du temps historique: Actes du V^e colloque d'Histoire au Présent. Paris: EHESS et Histoire au Présent, 1991.
- Peschanski D., Pollak M., Rouso H. (éd.). Histoire politique et Sciences sociales. Bruxelles: Complexe, 1991.
- Piganiol A. Qu'est-ce que l'histoire? // *Revue de métaphysique et de morale*. 1955. P. 225–247.
- Piobetta J.-B. Le Baccalauréat. Paris: Baillière et fils, 1937.
- Pomian K. L'Ordre du temps. Paris: Gallimard, 1984.
- Idem. L'heure des Annales. La terre – les hommes – le monde // Nora P. (éd.). *Les Lieux de mémoire*. II: La Nation. Paris: Gallimard, 1986. T. 1. P. 377–429.
- Idem. Histoire et fiction // *Le Débat*. 1989. № 54, mars–avril. P. 114–137.

- Popper K. Misère de l'historicisme. Paris: Plon, 1956 [1^{re} éd. en anglais, 1944].
- Idem. La Logique de la découverte scientifique. Paris: Payot, 1978 [1^{re} éd. en anglais, 1959].
- Pour une histoire de la statistique. T. 1: Contributions; T. 2: Matériaux / J. Affichard éd., Paris: Economica, INSEE, 1987 [1^{re} éd. 1977].
- Prost A. Seignobos revisité // Vingtième siècle, revue d'histoire. 1994. № 43, juill.-sept. P. 100-118.
- Idem. Histoire, vérités, méthodes: Des structures argumentatives de l'histoire // Le Débat. 1996. № 92, nov.-déc. P. 127-140.
- Rancière J. Les Mots de l'histoire, essai de poétique du savoir. Paris: Éd. du Seuil, 1992.
- Rebérioux M. Le débat de 1903: historiens et sociologues // Carbonell C.-O., Livet G. Au berceau des "Annales": Actes du colloque de Strasbourg (11-13 octobre 1979). Toulouse: Presses de l'IEP, 1983. P. 219-230.
- Recherche historique en France de 1940 à 1965 (La). Paris: Comité français des sciences historiques, Éd. du CNRS, 1965.
- Recherche historique en France depuis 1965 (La). Paris: Comité français des sciences historiques, Éd. du CNRS, 1980.
- Rémond R. (dir.). Pour une histoire politique. Paris: Éd. du Seuil, 1988.
- Revel J. Les paradigmes des Annales // Annales ESC. 1979, nov.-déc. P. 1360-1376.
- Ricœur P. La Métaphore vive. Paris: Éd. du Seuil, 1975.
- Idem. Expliquer et comprendre: Sur quelques connexions remarquables entre la théorie du texte, la théorie de l'action et la théorie de l'histoire // Revue philosophique de Louvain. 1977. T. 75, févr. P. 126-147.
- Idem. Temps et Récit: 3 vol. Paris: Éd. du Seuil, 1983-1985.
- Rioux J.-P., Sirinelli J.-F. (dir.). Pour une histoire culturelle. Paris: Éd. du Seuil, 1996.
- Rosental P.-A. Métaphore et stratégie épistémologique: La Méditerranée de Fernand Braudel // Milo D.S., Boureau A. Alter histoire, essais d'histoire expérimentale. Paris: Les Belles-Lettres, 1991. P. 109-126.
- Sadoun-Lautier N. Histoire apprise, Histoire appropriée: Éléments pour une didactique de l'histoire: thèse EHESS (S. Jodelet), 1992.
- Samaran Ch. L'Histoire et ses méthodes. Paris: Gallimard, Encyclopédie de la Pléiade, 1973 [1^{re} éd. 1961].
- Sée H. Science et Philosophie de l'histoire. Paris: Félix Alcan, 1933.
- Seignobos Ch. L'enseignement de l'histoire dans les universités allemandes // Revue internationale de l'enseignement 1881.15 juin. P. 563-600.
- Idem. L'enseignement de l'histoire dans les facultés // Revue internationale de l'enseignement. I: 1883, 15 oct. P. 1076-1088; II: 1884, 15 juil. P. 35-60; III: 1884, 15 août. P. 97-111.
- Idem. La Méthode historique appliquée aux sciences sociales. Paris: Félix Alcan, 1901.
- Idem. L'Histoire dans l'enseignement secondaire. Paris: Armand Colin, 1906.
- Idem. L'enseignement de l'histoire comme instrument d'éducation politique // Conférences du Musée pédagogique. Paris: Imprimerie nationale, 1907. P. 1-24. Repris dans: Seignobos Ch. Études de politique et d'histoire. Paris: PUF, 1934. P. 109-132. Большие отрывки из этого текста были опубликованы: Vingtième siècle, revue d'histoire. 1984. № 2, avr.
- Idem. Histoire sincère de la nation française, essai d'une histoire de l'évolution du peuple français. Paris: Rieder, 1933; Nouvelle éd. avec une préface de G.P. Palmade. Paris: PUF, 1969.
- Idem. Études de politique et d'histoire. Paris: PUF, 1934.
- Simiand F. Méthode historique et science sociale // Revue de synthèse historique. 1903. P. 1-22, 129-157: Repris dans: Les Annales ESC. 1953. P. 83-119.

- Sirinelli J.-F. Génération intellectuelle: Khâgneux et normaliens dans l'entre-deux-guerres. Paris: Fayard, 1988.
- Stoianovich T. French Historical Method: The Annales Paradigm. Ithaca: Cornell Univ. Press, 1976.
- Stone L. Retour au récit ou réflexions sur une nouvelle vieille histoire // Le Débat. 1980. № 4. P. 116-142.
- Vendryès P. De la probabilité en histoire. Paris: Albin Michel, 1952.
- Idem. Déterminisme et autonomie. Paris: Armand Colin, 1956.
- Veyne P. Comment on écrit l'histoire. Paris: Éd. du Seuil, 1971.
- Idem. L'Inventaire des différences: leçon inaugurale au Collège de France. Paris: Éd. du Seuil, 1976.
- Vilar P. Une histoire en construction: Approche marxiste et problématiques conjoncturelles. Paris: Hautes Études, Gallimard, Le Seuil, 1982.
- Weber M. Essais sur la théorie de la science / Traduits de l'allemand et introduits par F. Julien. Paris: Plon, 1965.
- White H. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore; Londres: The Johns Hopkins Press, 1973.

Указатель текстов и документов

1. История во французском обществе XIX–XX вв.

Несколько вопросов из программы Виктора Дюрюи 21

2. Профессия “историк”

Пьер Бурдьё: Организация исторического поля 51

3. Факты и историческая критика

Марк Блок: Похвала сносам внизу страницы 60

Шарль Сеньобос: Критика противостоит естественна 67

Шарль Сеньобос: Историческими факты бывают только по своему положению 71

Поль Лакомб: Без гипотезы нет наблюдения 77

4. Вопросы историка

Робин Дж. Коллингвуд: Историческая постановка проблемы 82

Люсьен Февр: Все может быть документом 84

Робин Дж. Коллингвуд: Источником может служить все что угодно 86

Анри-И. Марру: Вскрывать причины его [историка] любопытства 100

Жюль Мишле: Меня создала моя книга... 101

5. Времена истории

Клод Леви-Строс: Нет истории без дат 104

Рейнгард Козеллек: Пророчество и прогноз 115

Марк Блок: У каждого явления — своя периодизация 121

Фернан Бродель: Три времени... 123

6. Понятия

Рейнгард Козеллек: Два уровня понятий 128

Макс Вебер: Идеальный тип — это мысленный образ 135

Пьер Бурдьё: Брать понятия историческим пинцетом 143

7. История как понимание

Люсьен Февр: Люди, единственные подлинные объекты истории 151

Марк Блок: Историк как сказочный людоед 152

Люсьен Февр: Жить историей 153

Антуан Курно: Шахматная партия как эмблема истории 157

Вильгельм Дильтей: Внутренний опыт и реальность 159

Анри-И. Марру: История как слушание 165

Анри-И. Марру: Историческое понимание как дружба 166

Робин Дж. Коллингвуд: Единственный предмет исторического познания — суть мысли 169

Робин Дж. Коллингвуд: Познание самого себя и познание мира людских дел 170

8. Воображение и причинно-следствие

Шарль Сеньобос: Мы вынуждены воображать... 174

Поль Лакомб: От случайного к необходимому 178

Поль Лакомб: Воображаемый опыт в истории 183

Раймон Арон: Взвешивать причины... 183

Поль Рикёр: Уважать неизвестность события 189

Анри-И. Марру: Теория предшествует истории 192

9. Социологическая модель

Шарль Сеньобос: Танец не разучивают без музыки 196

Эмиль Дюркгейм: Сравнительный метод 202

10. Социальная история

Франсуа Гизо: Класс буржуазии и классовая борьба 223

Карл Маркс: Я не изобретал ни классов, ни классовой борьбы 236

Франсуа Досс: Новый исторический дискурс 242

11. Построение интриги и нарративность

Поль Вейн: История есть рассказ о реальных событиях 257

Хейден Уайт: Префигурация 269

12. История пишется

Кшиштоф Помян: Историческое повествование 274

Мишель де Серто: Поучительный дискурс 280

Мишель де Серто: История как чужое знание 282

Жак Рансьер: Рассказ в системе дискурса 287

Жак Рансьер: Знать, какую литературу ты пишешь 289

Закключение: Истина и социальная функция истории

Шарль Сеньобос: Зачем нужно преподавать историю 309

Пьер Нора: Память и история 312

Люсьен Февр: История, забвение, жизнь и смерть 314

Карл Беккер: Голос историка — это голос г-на Обывателя 317

Оглавление

Введение	5	Историческая реконструкция времени	113
1. История во французском обществе XIX–XX вв.	11	Время, история и память	113
История во Франции: особое положение	14	Работа над временем. Периодизация	117
Общественное применение истории в XIX в.	18	Множественность времен	121
История в средней школе	18	6. Понятия	127
Историки и общественная жизнь	23	Эмпирические понятия	128
XX век: расколотая история	28	Два типа понятий	128
Начальное образование: другая история	28	От сжатого описания к идеальному типу	131
Перипетии второй половины XX в.	30	Понятия сплетают сеть	136
2. Профессия “историк”	35	Понятийный аппарат истории	140
Организация научного сообщества	36	Заемствованные понятия	140
“Анналы” и история-исследование	40	Единицы общественного устройства	141
Боевой журнал	40	Историзировать понятия истории	143
Институциональное оформление школы	44	7. История как понимание	147
Раскол профессии	47	Автопортрет историка в образе ремесленника	149
Поляризация влияния	47	История как ремесло	149
Рынок, который трудно регулировать	50	Люди — объекты истории	150
3. Факты и историческая критика	57	История и жизнь	153
Критический метод	58	Понимание и рассуждение по аналогии	154
Факты как доказательства	58	Объяснение и понимание	154
Техники критики	60	Понимание и порядок смысла	156
Критический дух историка	66	Внутренний опыт и рассуждение по аналогии	159
Основания и пределы критики	70	История как личное приключение	163
История: познание на основе следов прошлого	70	История и общественная практика	163
Нет фактов без вопросов	74	История как дружба	165
4. Вопросы историка	81	История как история самого себя	168
Что такое исторический вопрос?	82	8. Воображение и причиновменение	173
Вопросы и документы	82	В поисках причин	175
Легитимность вопросов	87	Причины и условия	175
Социальная укорененность исторических вопросов	90	Ретросказание	178
Общественная целесообразность и научная целесооб-		Воображаемый опыт	180
разность	90	Писать историю в сослагательном наклонении	180
Историчность исторических вопросов	92	Воображаемый опыт	182
Личностная укорененность исторических вопросов	95	Основания и импликации причиновменения	186
Груз обязательств	95	Прошлое, настоящее и будущее в прошедшем	186
Груз личности	97	Объективные возможности, вероятности, фатальная	
5. Времена истории	103	предопределенность	189
История времени	105	9. Социологическая модель	195
Социальное время	105	Метод социологии	198
Унификация времени: христианская эра	106	Отказ от субъективизма	198
Направленное время	110	Пример самоубийства	200
		Правила метода	201
		Метод социологии в применении к истории	205
		От типологии к статистике	205
		Конструирование показателей	210
		Пределы социологического метода	213
		Эпистемологические пределы	213
		Основные сферы применения	215

10. Социальная история	221
Гизо: классы и классовая борьба	222
Пример: появление буржуазии	222
Общественный класс	224
Лабрусс: экономическая база общественных классов	228
Пример: кризис французской экономики в конце эпохи Старого порядка	228
Экономика, общество, политика	230
Закат Лабруссовой парадигмы	235
Лабруссова парадигма и марксизм	235
Лабруссова парадигма и “новая” история	239
Закат коллективных сущностей	243
11. Построение интриги и нарративность	245
От целого к части	247
Рассказы, картины, комментарии	248
История как вычленение интриги	252
Историческая интрига	254
Интрига как конфигурация	254
Интрига и нарративное объяснение	257
Нарративное объяснение и картины	261
Интрига как синтез	264
Дискурсивный синтез	264
Допущения интриги	266
12. История пишется	273
Особенности исторического текста	276
Насыщенный текст	276
Объективированный и авторитетный текст	277
Многослойный текст	281
Проблемы историописания	285
Мыслимое и пережитое	285
Верно выразить словами	288
Верно выразить неверными словами	291
Заключение: Истина и социальная функция истории	295
История и истина	298
Последствия разочарования	298
Объективность, истина, доказательство	301
Двойственная социальная функция	307
История, нация, гражданственность	307
История, самосознание, память	311
Библиографический указатель	321
Указатель текстов и документов	330

Про А.

П 78 Двенадцать уроков по истории. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2000. 336 с.

ISBN 5-7281-0425-8

В основе книги лежат лекции, в свое время прочитанные автором в Сорбонне. Последовательно анализируя основные этапы развития исторического метода, А. Про по-новому определяет место истории и историка в современном обществе и в сообществе профессионалов. Эта книга — одновременно вводный курс и серьезный аналитический труд, основанный на обширном историографическом материале и оригинальном подходе к некоторым вечным темам. Обращает на себя внимание логически выдержанная и исключительно доходчивая интерпретация автором таких сложных сюжетов, как проблематика исторического времени, вопрос о понятийном аппарате исторической науки, соотношение методов естественных и гуманитарных наук в широком контексте научного познания и многие другие. Обилие цитат из трудов крупнейших историков и социологов делает эту книгу существенным подспорьем в преподавании ряда исторических и культурологических дисциплин.

Для студентов, преподавателей и всех, интересующихся проблемами исторического познания.